ЗАПИСИ ПРОШЛОГО

ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА

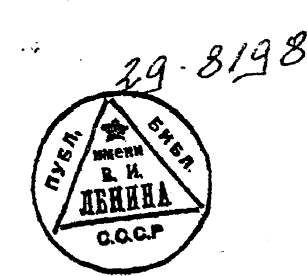
ПОД РЕДАКЦИЕЙ

С. В. БАХРУШИНА и М. А. ЦЯВЛОВСКОГО

ВОСПОМИНАНИЯ БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЧИЧЕРИНА

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
И ПРИМЕЧАНИЯ
С. В. БАХРУШИНА



ИЗДАНИЕ М. и С. САБАШНИКОВЫХ
1929

Обложка гравирована
на дереве А. Кравченко



Главлит № А 22434. Москва 192[illegible] г. Заказ № 6[illegible]. Тираж 4000.

[illegible] типография „[illegible]граф“, Бородинский мост, [illegible] гора, 8.

Громкое научное имя Б. Н. Чичерина, как юриста, историка и философа, тот громадный авторитет, которым он еще недавно пользовался в русской науке и общественности, и влияние, оказанное им на подрастающие поколения русских ученых второй половины XIX в. — в достаточной мере объясняют важность печатаемых записок.

Чичерин родился 26 мая 1828 года [1] в семье крупного тамбовского помещика и откупщика, составившего себе, благодаря откупам, очень большое состояние.

Окруженный с детства обстановкой самой утонченной усадебной культуры, Чичерин получил блестящее домашнее воспитание и 17 лет непосредственно поступил в Московский университет, по окончании которого защитил в 1857 г. диссертацию на тему: „Областные учреждения в России в XVII в.“ В начале 1861 г. он был избран Советом Московского университета исполняющим должность экстраординарного профессора по кафедре государственного права, и осенью того же года начал чтение лекций. Университетская деятельность Чичерина оборвалась, однако, уже в 1868 г., когда он демонстративно вышел в отставку вместе с С. М. Соловьевым, Ф. М. Дмитриевым, И. К. Бабстом, С. А. Рачинским и М. Н. Капустиным вследствие принципиального расхождения с большинством Совета. Устранившись от университетского преподавания, он освятил свой невольный досуг общественной деятельности Тамбовском земстве, в котором проработал в течение 20 эт, и мимолетно в Московской городской думе. Избранный конце 1881 г. в московские городские головы, он недолго

[1] Согласно собственным показаниям Б. Н. Чичерина; по родословным нным, напечатаным в „Изв. Тамб. Учен. Архивн. Комис.,“ вып. 56, 1915 25 мая.

стоял на этом посту и в июне 1883 г. был уволен по распоряжению Александра III, за речь произнесенную им во время коронационных торжеств на обеде городских голов 16 мая, с призывом к „единению всех земских сил для блага отечества“.

Последние годы жизни он провел в своем имении Караул в Кирсановском узеде Тамбовской губернии. Он умер 3 февраля 1904 г.

Научная работа Б. Н. Чичерина поражает богатством и разнообразием. На ряду с трудами по истории русского права („Областные учреждения России в XVII в.“, 1857; „Опыты по истории русского права“, 1859), он много писал по вопросам философии и теории государственного права („История политических учений“, 1869—1877, „Собственность и государство“, 1882-83; „Курс государственной науки“ в 3 томах, 1894—1898; „Философия права“, 1900, „Вопросы политики“, 1903); интересовался особенно представительными учреждениями на Западе в их прошлом и настоящем („Очерки Англии и Франции“, 1859; „О народном представительстве“, 1869); наконец, разрабатывал в многочисленных статьях и книгах чисто философские вопросы в духе своеобразного гегельянства.

Научные труды Чичерина в настоящее время устарели, но в момент выхода их в свет они представляли явление совершенно исключительное в русской научной литературе и „выдвинули его,—по выражению одного из его биографов,—в ряды наиболее выдающихся представителей не только русской, но и обще-европейской мысли“. Тонкость и точность юридической мысли, глубина философских обобщений при ясности и чистоте языка—все эти свойства научных работ Чичерина с особенной яркостью выступают на фоне того диллетантизма, который далеко еще не был изжит русской наукой середины XIX в. Общие концепции Чичерина (о государстве, о свободе и самоцельности личности и т. д.), основанные на отвлеченных философских построениях, не пережили их создателя; но специальные исследования в фактической своей части еще не утратили своего значения.

В сильных и слабых сторонах своей научной и общественной деятельности Б. Н. Чичерин, более чем кто-либо, зависел от полученного им воспитания и от социальной среды, из

которой он вышел. Умеренный либерал, поклонник „справедливых“ реформ Александра II и, вместе с тем, горячий поборник прав того сословия, к которому он принадлежал, убежденный проповедник законности и борец против революции, прослывший „красным“ в высших сферах и находившийся всю свою жизнь под подозрением, Чичерин, как ученый не может быть понят вне его биографии.

Воспоминания, отрывок из которых ныне публикуется, помимо своего общего интереса, дают богатейший материал для понимания научного мировоззрения Чичерина[1]. Свои воспоминания Чичерин писал уже стариком, на покое, в любимом им Карауле; он закончил их 22 октября 1894 г. Но время, протекшее с момента прекращения его общественной деятельности, не наложило умиротворяющего отпечатка на его произведение. Страстный, нетерпимый к чужим мнениям, Чичерин со всей страстностью юности переживает описываемые им события. В его мемуарах поэтому нельзя искать объективного изложения фактов. Несмотря на обилие подлинных документов, вносимых автором в текст, личные симпатии и антипатии, и классовые настроения придают Воспоминаниям характер политического памфлета. На отзывы Чичерина о людях нельзя никогда полагаться; его освещение фактов односторонне. Он всегда любуется собой, и это отражается на объективной ценности его записей. Но именно этот субъективизм Воспоминаний, вскрывающий действительную психологию автора, и делает его мемуары столь важными для характеристики его, как ученого, и для оценки его научной работы.

Печатаемые в настоящем выпуске „Записей Прошлого“ отрывки из Воспоминаний Чичерина представляют собой три главы из обширных его мемуаров, полная копия которых приобретена издательством у Н. А. Чичериной. В целом виде воспоминания Б. Н. Чичерина заключают в себе 15 глав следующего содержания: Предисловие—I. Мои родители и их общество.—II. Мое детство.—III. Приготовление к университету.—IV. Студенческие годы.—V. Москва и Петербург в последние

[1] Попытка поставить научные воззрения Чичерина в связь с его классовым происхождением и историческим моментом сделана М. Н. Покровским в брошюре: „Борьба классов и наука русской истории“.

годы царствования Николая Павловича.—VI. Литературное движение.—VII. Путешествие за границу.—VIII. Вступление на кафедру.—IX. Занятия и путешествие с наследником.—X. Выход из университета.—XI. Жизнь в провинции.—XII. Конец царствования Александра Николаевича.—XIII. Начало нового царствования.—XIV. Служба московским городским головою.—XV. Старость.

Вся рукопись в копии составляет 1138 страниц.

В виду невозможности печатать целиком весь текст сразу, издательство ограничивается сейчас выпуском в свет глав VIII, IX и X, посвященных профессуре в Московском университете и подробно описывающих условия, при которых автор был вынужден покинуть кафедру. Главы эти рисуют с особенной яркостью общее состояние и нравы Московского университета середины XIX в. и ту борьбу, которая шла в его стенах между большинством Совета и группой „молодых" профессоров. В рассказ об университете вплетается, как эпизод, приглашение Чичерина в преподаватели к тогдашнему наследнику престола, старшему сыну Александра II — Николаю.

Выпуская в свет отрывок из воспоминаний Б. Н. Чичерина издательство предполагает в будущем продолжить их печатание отдельными частями.

Копия, легшая в основу настоящего издания, сверена с подлинником А. А. Захаровым.

Примечания принадлежат редакции, за исключением отмеченных особо.

С. Бахрушин.

25 мая 1928 г.

ВОСПОМИНАНИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ НА КАФЕДРУ

Вернувшись в деревню после заграничного путешествия, я нашел в ней совершенно новую жизнь. „Положение 19 февраля“ вступило в силу и прилагалось рузумно и честно. Брат Владимир был мировым посредником, постоянно разъезжал, составлял и вводил уставные грамоты, и все шло как нельзя лучше. Раз в месяц посредники собирались на съезд. Предводителем дворянства в Кирсановском уезде был в то время Михаил Степанович Андреевский, человек вполне порядочный и преданный общественному делу. В числе посредников был Баратынский, сын Сергея Абрамовича, доктор как и его отец, человек самых высоких нравственных свойств. Брат, разумеется, всегда был с ним заодно. Остальные подчинялись общему духу и действовали в данном направлении. Помещики, даже не сочувствовавшие реформе, по русскому обычаю покорялись своей участи и не оказывали противодействия. Только со стороны крестьян кое-где обнаруживалось упорство, иногда даже в противность собственным их выгодам; но так или иначе все улаживалось. И у нас в Карауле произошло маленькое замешательство. При разверстании надо было перенести один поселок на другое место. Крестьяне не хотели согласиться; все попытки властей уговорить их были напрасны. Решили, наконец, привести роту солдат. Тогда сестра, в то время еще 22-летняя девушка, однажды утром пошла на село, собрала мужиков и стала их увещевать, представляя им, что после столь долгих и отличных отношений к помещикам, было бы стыдно,

---

[1] Александра Николаевна Чичерина.

если бы в Караул привели солдат для усмирения непокорных' Кончилось тем, что она всех их привела с собою, и они изъявили согласие на переселение.

Все, что я видел и слышал, исполняло меня самыми отрадными чувствами. Провинция во всех своих слоях, на верхних и нижних, спокойно и трезво исполняла великое дело, соблюдая обоюдные выгоды и руководствуясь идеею самой чистой справедливости. Это был залог светлого будущего.

Такой благоприятный ход преобразования, изменявшего весь строй русской жизни, конечно, делал честь дворянству, на плечах которого лежало все исполнение; но он свидетельствовал, вместе с тем, о прочности фундамента, на котором строилось новое здание.

Изучая „Положение 19 февраля", я исполнился благоговением к этому созданию созревшей русской мысли. Я видел в нем лучший памятник русского законодательства. Это не было просто сведение к единству накопившихся с течением времени и вызванных практикой положений. Тут все приходилось создавать вновь, вводить чуждые жизни начала, установлять неведомые практике отношения. И эти отношения охватывали самые коренные интересы важнейших элементов русской земли, первенствующего сословия и народной массы. Надобно было развязать веками затянувшийся узел, заменить свободою установившееся не только в силу закона, но, главным образом, вследствие жизненных условий, полновластие. Задача была самая сложная, трудная и обширная, какая могла представиться законодателю; а, между тем, она была решена с таким ясным разумением цели и средств, с таким твердым сознанием как теории, так и практики, в таком цельном и последовательном направлении, что нельзя было не питать глубокого уважения и к новому закону, и к его составителям. Все, кому приходилось прилагать на деле этот великий законодательный памятник, разделяли это убеждение. Станкевич, который был назначен от правительства членом губернского присутствия в Воронеже, говорил, что он благоговеет перед „Положением 19 февраля." Ни легкомысленные руки, которым вверено было верховное исполнение, ни бесчисленные, друг другу противоречащие циркуляры нового министра внутренних

дел, не могли поколебать крепкого его строя. Единственный существенный недостаток заключался в правилах о даровом наделе, введенных реакционерами Государственного совета. Это была печальная уступка притязаниям аристократии, окружавшей престол.

Против „Положения 19 февраля,“ предъявлялись возражения с разных сторон. Закоснелые помещики утверждали, что крестьянам дано слишом много; демократы, особенно в позднейшее время, уверяли, что крестьянам дано слишком мало. В действительности соблюдена была строгая справедливость. При разрешении вековых уз, крестьяне приобрели в среднем выводе то, чем они пользовались в то время, как их застигла реформа, а помещики за отходящие от них выгоды получили надлежащее вознаграждение. Конечно, невозможно было во всяком конкретном случае сохранить полную соразмерность. При бесконечном разнообразии условий русской земли, единственное, к чему можно было стремиться, это — соблюдение справедливой средней пропорции, что и было сделано. Землевладельцы черноземной полосы в сущности в данную минуту не потеряли ничего; они в большинстве местностей получили ту плату за земли, которая в то время существовала, и очень хорошо могли устроить свое хозяйство при вольном найме; крестьяне же, если в некоторых местах лишались земельного избытка, которым они пользовались у щедрых помещиков, зато получили всю выгоду от последовавшего затем возвышения ценности земель. В нечерноземной полосе помещичье хозяйство значительно более затруднилось; многие принуждены были даже совсем его прекратить. Но они в виде оброка получили за свои земли гораздо более того, что они стоили; сюда вошла и плата за отходящий труд. Если при новых условиях часть помещиков разорилась, то виновато в этом не „Положение 19 февраля,“ а неподготовленность значительной доли русского дворянства к правильной экономической деятельности вместе с неумением держать свои расходы в должных пределах. Многие дворянские имения перешли в руки капиталистов, но это во всяком случае было неизбежно и не может считаться злом: таково естественное последствие подвижности поземельной собственности. Только чисто искусственным

путем можно было удерживать земли в руках лиц, обремененных долгами, и помешать покупке их теми, у кого были деньги в руках. С другой стороны, и среди крестьян с течением времени обнаружилось ухудшение состояния. На первых порах благосостояние их поднялось,—однако, ненадолго. Народонаселение увеличивалось, а земля оставалась все та же, и привычки к сбережениям не было; отсюда всеобщее обеднение. К этому присоединялись и другие неблагоприятные условия: сохранение общинного владения, налагающего путы на первый и коренной источник всякого экономического благосостояния,—личную самодеятельность; железные дороги, которые, поднимая цены на землю и произведения, рядом с этим уничтожали значительные прибытки от зимнего извоза; семейные разделы, которые отныне могли совершаться беспрепятственно; наконец, развившееся безмерное пьянство вследствие свободной продажи удешевленного вина. Сельский быт, несомненно, требовал дальнейшего устроения. „Положение 19 февраля" положило этому только начало. Оно занялось главным делом—уничтожением крепостного права и заменою его новыми отношениями, основанными на свободе; все же остальное оно предоставило дальнейшему движению законодательства, по указаниям жизни. Оно установило даже 9-летний срок для пересмотра многих узаконений. Но когда этот срок истек, законодательная деятельность уже остановилась. Все работники, приложившие руки к „Положению 19 февраля", сошли со сцены. Место их заступила реакция, опирающаяся на бюрократическую рутину. В это время в петербургских высших сферах не оставалось уже ни одного человека способного начертать путный закон. Все было предоставлено на произвол судьбы, а то, что делалось, было ниже всякой критики. Русское правительство как-будто истощилось в громадном усилии и затем погрязло в полном бездействии.

В конце августа я уехал в Москву с самыми отрадными впечатлениями, полный светлых надежд. Но, боже мой, что нашел я в столице! Между тем, как страна спокойно и обдуманно совершала свое великое дело; между тем, как и помещики и крестьяне с сознанием своего долга работали усердно и неутомимо,—русская интеллигенция предавалась тому неисто-

вому беснованию, которое так возмущало меня в Герцене, и которое легкомысленно поддерживали петербургские его поклонники и приятели. Университеты были в полнейшем брожении; в литературе и в обществе господствовал невообразимый умственный хаос. Из Петербурга приходили известия, что там издаются подпольные газеты, печатаются прокламации, взывающие к истреблению всего высшего сословия в государстве. Зрелище было надрывающее сердце, но вместе и весьма поучительное.

Расстройство Московского университета началось давно. Еще в 1857 году случилась история, которая разом изменила дотоль мирное настроение студентов. Где-то в непотребном месте произошла драка между студентами и полициею. Студентов сильно поколотили. Полиция в этом деле вела себя нагло и неприлично. Как скоро весть об этом происшествии разнеслась между учащеюся молодежью, весь университет разом преобразился. Студенты вступились за своих товарищей, волнение было громадное; начались шумные сборища; обращались к начальству с просьбою о заступничестве. Это была искра, которая зажгла давно уже накопившиеся горючие материалы. Начальство, действительно, заступилось, и виновные полицейские были наказаны. Это внушило молодежи сознание своей силы. Начались походы против негодных профессоров, которых в печальную пору принижения университетов набралось не мало.

В это время между студентами был кружок так называемых консерваторов, к которому принадлежали мои младшие братья, и кружок социалистов; между теми и другими происходили иногда препирательства. Но инициативу движения приняли первые. На кафедру славянских наречий недавно был назначен совершенно бездарный Майков. Студенты словесного факультета решили, что надобно от него отделаться. На одной из его лекций первый встал, сделавшийся потом профессором истории, Герье и вышел вон; за ним последовала вся аудитория. Студенты объявили, что они к Майкову ходить больше не будут, потому что слушать его невозможно. Деканом был тогда Соловьев. Он уговорил их ходить и сам пошел на несколько лекций. Он убедился, что курс действительно был невозможный. Об этом было представлено начальству, и Майков лишился

кафедры. Разумеется, такой подвиг не остался без подражания. На других факультетах были еще более негодные профессора. У юристов Орнатский был общим посмешищем. Студенты и к нему перестали ходить. Он тоже принужден был покинуть университет. Математики не хотели отставать от других и тем же способом заставили выйти Варнека. Таким образом студенты стали хозяевами университета. Они делали, чтó хотели, завели у себя столовые и кассы. По всякому поводу собирались сходки, на которые иногда вызывались ректор и деканы, и те ходили, объяснялись, старались успокоить молодежь. Всякая власть исчезла. Попечители Ковалевский и после него Бахметев были люди мягкие и добрые, но совершенно чуждые университету, не имевшие понятия о том, как следует обращаться с молодежью: они старались только ей угодить. Разумеется, об исправном посещении лекций совершенно перестали думать. Вместо того, по рукам ходили беспрепятственно в оригинале и в литографированных переводах сочинения Фейербаха, Бюхнера, Молешотта и всякие социалистические издания. Кружок консерваторов исчез, а социалистические учения, напротив, приобретали все большую силу. Они выдавались за последнее слово науки.

Если таковы были порядки в Московском университете, то в Петербургском, подверженном непосредственному влиянию Чернышевского с компаниею, дело обстояло еще несравненно хуже. Те же явления повторялись и в провинции. Наконец, правительство испугалось и решилось положить конец безурядице. Вместо слабого Ковалевского, министром народного просвещения назначен был граф Путятин, адмирал, вовсе незнакомый с университетами, человек честный, но ограниченный, крутой и упорный. Вместе с тем, приняты были меры, которые должны были разом пресечь зло в самом его корне. Всякие сходки, депутации, прошения и адресы были строго воспрещены. Для преграждения посторонним лицам доступа в университет, студентам выданы были матрикулы, которые они должны были каждый раз предъявлять при входе. Ежедневно записывались имена приходящих. Наконец, чтобы остановить наплыв в университет демократических элементов, отменено было освобождение бедных от платы за слушание лекций.

Нельзя было придумать ничего более неловкого. Это значило прямо возбуждать студентов такими мерами, которые должны были привлечь к ним сочувствие общества. Как только открылся осенний семестр, начались сборища с целью поднести адрес об отмене новых порядков. Сперва волнения начались в Петербургском университете, а затем перешли и в Московский. Когда я приехал в Москву, я застал уже все в полном брожении. Новый попечитель, назначенный на место умершего Бахметева, Николай Васильевич Исаков, был в отпуску. Округом правил его помощник Василий Андреевич Дашков, совершенный младенец, неспособный ни к какому решению или действию. Все бремя пало на университетское правление. И ректор и деканы старались уговаривать студентов, убеждали их не нарушать закона недозволенными сходками. Все было напрасно. Тогда правление решило закрыть два первые курса юридического факультета, которые волновались более всех. Однако, и эта мера не подействовала. Студенты тем более могли надеяться на безнаказанность, что они находили поддержку, не только в обществе, но и в городских властях. Профессора в этом случае вели себя безупречно. И старые, и молодые единодушно стояли за водворение порядка. Молодые профессора в это время собирались в субботу вечером поочередно друг у друга. Никто из нас не одобрял новых мер, но все мы — от первого до последнего — были убеждены, что для восстановления правильной университетской жизни необходимо прекращение смут. В этом профессора старались убедить студентов, и старшие курсы в значительной степени склонялись на их увещания. Но с младшими, наиболее многочисленными, не было никакого ладу. При многолюдности сходок, университская инспекция была совершенно бессильна: оставалось прибегнуть к помощи полиции, а на это робкий В. А. Дашков тем менее мог решиться, что генерал-губернатор отнюдь не был склонен к такого рода мерам. В то время Москвою правил Павел Алексеевич Тучков, человек в высшей степени почтенный и благородный, но мягкий и даже слабый. Как у всех русских властей, первая его забота состояла в том, чтобы как-нибудь все уладить втихомолку и не дать разыграться скандалу. В этих видах, когда правление, исчерпав все средства, которыми оно могло

располагать, обратилось к нему с просьбою о полицейской помощи, он не только в этом отказал, считая употребление полиции мерою слишком крутою, но частным образом разрешил запрещенные законом сходки. Тучков сам даже втайне принимал студентов и поправлял составленный ими, вопреки новым правилам, адрес. Я слышал это своими ушами от В. А. Дашкова, у которого я был в начале волнений, и который действовал совершенно под влиянием генерал-губернатора. Через это, положение в крайности обострялось. С одной стороны, корпорация профессоров, не одобряя правительственных мер, твердо стояла за сохранение порядка; с другой стороны, правительственные власти мирволили нарушению закона. На что же можно было опереться?

В это время брат Василий, который из Турина был переведен в Петербург советником Министерства иностранных дел, просил меня уведомить его о том, что делается в Москве, а сам описывал то, что происходило в Петербурге. Он был хорошо осведомлен, и я привожу здесь нашу переписку, как любопытный памятник тогдашнего времени.

„Студенческие дела,—писал брат,—приняли довольно серьезный оборот. Лекции уже начались было, и в прошлый понедельник, 25 сентября, хотели раздавать матрикулы. Студенты объявили, что их не примут. Они, кроме того, в подражание привезенной из Лондона прокламации, стали сочинять свои, еще безумнее, с эпиграфом Рылеева, с требованием распространения мирских выборов на все управление и с провозглашением крайних коммунистических теорий. Под видом помощи бедным студентам, которые не в состоянии платить 50 рублей, они составили общую кассу, но деньги употребляли на запрещенные книги, перепечатывали прокламации и т. д. Кассу у них отняли, т. е. взяли в университетское правление, чтобы контролировать издержки. Наконец, на стенах университета появилась прокламация, и студенты выломали дверь в один зал, в котором хотели иметь сходку. Решено было временно закрыть университет, и объявление об этом студенты нашли на дверях в понедельник. Под объявлением один из них написал: „А в 11 часов сходка на дворе!“ Собралось их, говорят, до 1500, и тут же решено массой итти к попечителю за

объяснениями. Он живет на Владимирской, и процессия с Васильевского острова прошла через весь Невский. На Владимирской стоял батальон солдат, и были собраны жандармы верхом. Филипсона не было дома. Шувалов (обер-полицеймейстер) стал говорить студентам, что с толпою рассуждать нельзя, что надобно прислать депутатов. „А ручаетесь ли вы, что им ничего не сделают?“—„Нет, не могу.“—„Ну, так мы не можем прислать их, мы хотим все равно ответствовать.“ — Филипсон подъехал и объявил, что выслушает их в университете. Процессия потянулась назад. Один из очевидцев рассказал мне, что жандармы выхватили сабли и поехали шагом на толпу, которая побежала: в какую минуту, этого я не мог разузнать. Филипсон потерял голову; он пошел пешком вместе со студентами и перед тем спросил, итти ли ему в шинели. В толпе закричали: „без шинели“, и он повиновался. Потом он взял извощика, а студенты закричали: „смотри, улизнет“. Толпа остановилась на университетском дворе, а трое студентов пошли объясняться. Попечитель сказал, что университет закрыт только до 2 октября для внутренних переделок. Ему стали возражать против матрикул, и он обещал хлопотать. Вообще его критикуют: 1) потому что он должен был быть в университете, узнавши в 9 часов, что будет сходка, 2) что пошел пешком и позволил процессии вторично пройтись по Невскому, 3) что его объяснения имели вид извинений.

„Во вторник студенты ходили по улицам и приглашали гуляющих на сходку на следующий день в 10 часов. Опять у университета были поставлены солдаты. Генерал-губернатор приехал и увидал офицеров между студентами. Он приказал их арестовать, но студенты расступились и их скрыли, а над Игнатьевым стали подшучивать. И эта сходка разошлась без результата, но на следующий день явилось объявление, что всякие сборища студентов запрещены и университет закрыт впредь до приказания.

„В отсутствие государя (он был в Крыму), для экстраординарных случаев назначена им комиссия: Михаил Николаевич, Путятин, Валуев и Шувалов. Великий князь призвал в понедельник еще Горчакова, Строганова и Муравьева. Решено напечатать новое Положение об университете и объявить, что те, которые

2*

не примут матрикул, не считаются студентами. Но для этого нужно быть уверенным в профессорах. Их созвали и спросили мнения: 14 одобрили все распоряжения, 15 заступились за студентов. Тогда им сказали, чтобы они письменно изложили свои замечания. Кавелин написал записку, и четыре профессора ее подписали. Между прочим, в ней сказано, что сходки должны быть дозволены, потому что молодые люди привыкают говорить в публике и, таким образом, готовятся к свободным учреждениям. Чтобы объяснить такие невероятные требования, некоторые говорят, что умственные способности Кавелина со времени потери сына не совсем в порядке. Подписали записку: Утин, Спасович, Стасюлевич. Печальнее всего, что из остальных профессоров осталось только трое на стороне университетского начальства. Между тем, публикованные вчера новые правила решительно не подают повода к открытому неповиновению; в них даже есть хорошие распоряжения, как, например, уничтожение карцера и учреждение суда над студентами из профессоров. Совет, над которым председательствует Михаил Николаевич, призвал Ковалевского и просил указать, что́ есть дурного в университетских правилах. Ковалевский, как ни хотелось ему покритиковать, ограничился земечанием, что они писаны канцелярским слогом и что есть выражения слишком резкие, например, вместо: исключаются, следовало сказать увольняются.

„Университет закрыт, а студенты продолжают волноваться. Они объявили, что завтра будет демонстрация в Казанском соборе, и сегодня весь город только об этом и говорит. Вся эта история была бы ребячеством, если бы власти умели действовать разумно и с энергиею. Но чего ожидать от Игнатьева и К^0?

„Еще одно обстоятельство дает ей серьезный характер: волнения между студентами в связи с прокламациями, и студенты только ищут, к чему привязаться, чтобы выразить les opinions du jour.[1] В процессии и на сходках видели офицеров и, когда генерал-губернатор хотел их арестовать, они скрылись, что до сих пор было делом неслыханным. Один офицер сказал моему знакомому: „Мы пускаем вперед студентов,

[1] Злободневные мнения.

как представителей молодого поколения и интеллигенции, но если они ничего не добьются, мы выступим вперед". Следовало бы узнать, насколько такие мнения распространены между военными. Я не могу об этом судить, но мне давно уже говорили, что гвардейские офицеры очень неблагонадежны.

„Натурально, люди, которые заходят бог знает куда с своими требованиями, за очень немногими исключениями делают это не из убеждения, и в случае строгих мер едва ли будут приносить себя в жертву. Я даже думаю, что они болтают оттого, что не знают, чтó делать из относительной свободы, которою они пользуются. Это либералы, которые напрашиваются на железный гнет, люди, потерянные с тех пор, что их не держат на помочах.

„Отовсюду слышны вздохи о власти, которая смиренно скрывается. Чапский пишет: „Quand commencera-t-on à nous gouverner?" [1] Он уверяет, что волнения в Литве производятся очень немногими крикунами, которые пользуются полною безнаказанностью. Россия просто просит палки, и не только низшие классы, но и высшие слои общества. А искренним либералам, при виде этого коммунистического движения, остается поддерживать абсолютизм, который все же лучше анархии. Ты знаешь, что Михайлов во всем сознался, и что захвачено 28 студентов, из которых трое выпущены.

„Возвращение государя будет критическим временем. Петр Казимирович [2] говорит: „Des décisions qu'il prendra dépend le sort de son règne" [3]. Пессимисты,—а их много,—говорят, что пяти лет не пройдет без отречения от престола, другие идут гораздо дальше. Хотя эти страхи очень преувеличены, однако несомненно, что дело очень серьезное, если власти будут все так же неловки.

„Не можешь ли ты написать мне письмо, обдуманное и довольно пространное, которое я показал бы Горчакову?"

Из этого письма видно, что в Петербурге волнения приняли еще гораздо более острый характер, нежели в Москве.

---

1 „Когда же начнут нами управлять?"

2 Мейендорф, бывший посол в Берлине и Вене. Прим. Б. Н. Чичерина.

3 „От решений, которые он примет, зависит судьба его царствования".

Там находился самый центр политической пропаганды. В это самое время явилась безумная прокламация Михайлова,[1] которая взывала к истреблению не только царской фамилии, но и всех помещиков и высших чиновников. В Петербурге печаталась подпольная газета, которая рассылалась в значительном числе экземпляров, и полиция никак не могла напасть на следы преступления. Брожение в обществе было непомерное, войска были заражены; в литературе высказывались самые крайние мнения. В „Современнике" главный руководитель всего этого движения, Чернышевский, явно проповедывал социалистические и материалистические теории. Он был в это время на вершине своей популярности и выступал перед публикою с самыми наглыми изъявлениями. Незадолго перед этим умер другой выдающийся корифей этой школы, Добролюбов, и друзья его выпросили у правительства разрешение читать о нем публичные лекции. Между прочим Чернышевский рассказывал громадной, собравшейся на чтение публике первый визит к нему Добролюбова. „Когда он ушел,—говорил он,—я сказал своей жене, Ольге Сократовне: „Ты знаешь, душа моя, что я считаю себя самым умным человеком на свете; ну, представь себе, что я встретил человека, который еще умнее меня". И это отвратительное кривляние, показывающее ту степень самоуверенности, до которой дошли эти господа, и эта бессмысленная пропаганда, клонившаяся к разрушению всего существующего общественного строя, учинялись, в то время как правительство освобождало двадцать миллионов крестьян от двухвекового рабства. Сверху на Россию сыпались неоценимые блага, занималась заря новой жизни, а внизу копошились уже расплодившиеся во тьме прошедшего царствования гады, готовые загубить великое историческое дело, заразить в самом корне едва пробивающиеся из земли свежие силы.

В Москве был только отголосок петербургского движения, которое в университетской молодежи находило, разумеется, наиболее сочувствия. Масса публики недоумевала, а важнейшие литературные органы, к стыду их, молчали. Ни Катков, ни Аксаков, который в то время издавал „День", не давали ни малейшего отпора пропаганде „Современника" и компании.

[1] Известная прокламация М. Л. Михайлова—„К молодому поколению".

Катков все еще проповедывал свой отрицательный либерализм а Аксаков ратовал против правительства и высших классов, оторванных от народной почвы. В университетском вопросе оба держали себя двусмысленно. Стоять за закон и порядок печатно никто не дерзал. Были и такие журналисты, которые подзадоривали студентов. Нелепая графиня Салиас, издававшая тогда „Русскую Речь" и воображавшая себя созданною для журнальной деятельности, кипятилась за них со всею необузданностью своего рьяного либерализма. Рассказывали даже, что она на студенческие сходки присылала каких-то эмиссаров, которые ходили между молодежью и говорили: „Господа, держитесь. Евгения Тур [1] вам сочувствует". Это была ее лебединая песнь: вскоре ее постигло падение, воспетое Алмазовым [2] и предсказанное в острой эпиграмме Константина Рачинского:

В замке Турнемирском
Злоба и сумбур;
В гневе богатырском
Восседает Тур.

Пала героиня,
Стасова, в борьбе;
Подожди, графиня,
Будет и тебе!

В ответе брату я описывал все происходившее в Москве, бессилье университетского начальства, способ действий генерал-губернатора, и затем писал: „Между тем, не надобно ошибаться насчет характера здешнего студенческого движения. Прежде всего, в нем высшие курсы вовсе не участвуют. Четвертый курс юристов формально объявил на сходке, что он демонстраций не одобряет. Это, как ты понимаешь, чрезвычайно смелый акт. Между молодыми людьми, отстать от товарищей считается преступлением, и очень многие потому только участвуют в сходках, чтобы не отстать от других. Главные буяны—первокурсники. Я сам слышал от студента 3-го курса, что им отстать нельзя, а что 4-е курсы по существу своему консервативны. Из профессоров нет ни единого, который бы показывал студентам какое-либо одобрение. Все стараются удерживать их сколько могут, и все громко требуют призвания полицейской власти.

[1] Псевдоним гр. Салиас, рожд. Сухово-Кобылиной. Прим. Б. Н. Чичерина.

[2] „К портрету новейшей г-жи Сталь". (Сбор. сочинений Б. Н. Алмазова, т. II, стр. 484).

„Ты еще более поймешь значение этого воздержания, когда я тебе скажу, что требования умеренной партии студентов в сущности совершенно справедливы. Адрес этой партии — тот, который был показан Тучкову,—содержит в себе две статьи. Студенты просят: 1) отмены 50-рублевой платы; 2) позволения объясняться с начальством через депутатов.

„Что касается до первого, то ты должен знать, что в силу новых распоряжений студенты, представляющие свидетельство о бедности, не избавляются более от платы 50 рублей в год. Этим думали исключить из университетов слишком демократические элементы. Кто хоть немного знает университеты, понимает, что это совершенные пустяки. Однако правительство имело бы полное право сделать такое ограничение, если бы оно распространялось только на вновь вступающих. Мера осталась бы не только бесполезною, но и вредною и в высшей степени непопулярною; никто не мог бы назвать ее несправедливою. Но когда бедный студент вступил в университет в надежде на закон, который избавляет его от платы, и вдруг, после 2—3-летней работы принужден выйти, потому что ему нечем заплатить, то это идет против всех начал справедливости. Кто писал подобный закон, тот не имел ни малейшего понятия о том, что такое законодательство. Оттого у нас общее мнение все стоит за студентов. Нравственно они правы.

„Второй пункт столь же справедлив. Когда студентам говорят, что их сходки и адресы беззаконны, они отвечают, что они новыми распоряжениями лишены всякого законного средства объяснять начальству свои нужды, и потому поневоле должны прибегать к беззаконию.

„И, несмотря на это, мы все единогласно против студентов, потому что мы убеждены, что первое и главное дело состоит в восстановлении власти. Отсутствие всякой власти— вот единственная причина всех происходящих в университетах беспорядков. Я бы мог доказать это многими примерами. Тут не нужно никаких стеснительных мер, никаких ограничений. Все это положительно вредно. Нужно только усилить полицию и действовать энергически, когда нарушаются правила. Вообще, в настоящее время в России потребны две вещи: либеральные меры и сильная власть. Но когда думают прекратить

беспорядки мерами стеснительными, несправедливыми, раздражающими, и нет власти для их поддержания, то иного результата быть не может, как полная анархия. К этому мы и идем. Я просто прихожу в ужас от господствующего у нас ослепления. Ради бога, постарайся убедить князя Горчакова и других людей, имеющих значение в правительстве, что во всем этом движении, университетском, литературном, общественном, не только нет ничего опасного, но даже ничего нет сколько-нибудь серьезного. Все это копошится литературная дрянь и мелюзга, 20-летние офицерики, да студенты 1-го курса. В Петербурге можно еще найти несколько даровитых людей, которые увлекаются этим направлением; в Москве нет ни одного сколько-нибудь серьезного человека, который бы желал принять в нем малейшее участие. Недавно приезжал сюда Громека с проектом адреса о свободе слова; мы почти единогласно отвергли мысль о какой бы то ни было демонстрации. Москва, как и наши 4-ые курсы, по существу своему консервативна. Но, к несчастью, у нас решительно не имеют понятия о том, что происходит в обществе. Принимают меры неловкие и ненужные и боятся употреблять власть, когда она нужна. В министры народного просвещения сажают по чину, то горного чиновника, то моряка, и к совету призывают шефа жандармов и министра юстиции. На все смотрят преувеличивающими глазами и не подозревают собственной силы. Я все здесь твержу, что дело кончиться тем, что нас всех пересекут, и правых, и виноватых, что найдется же, наконец, в правительстве хоть один храбрый человек, который возьмет палку в руки, и тогда все возвратится к старому порядку. Не то могут случиться страшные несчастия. Русский человек любит, чтобы его изредка посекли; не нужно только держать его в постоянных кандалах.—Что будет, то будет".

На это письмо брат мне отвечал:

„Ты не можешь себе представить, какой эффект произвело твое письмо. От Горчакова оно ходило к Михаилу Николаевичу и другим властям, и переписано для государя, за исключением конца, где ты говоришь, что в министры назначают по чину, что кончат тем, что нас всех пересекут и т. д. Ты

имеешь репутацию одного из самых передовых людей, и из твоих уст слышать, что необходима крепкая власть, Горчакову очень драгоценно. Он формально поручил мне тебя благодарить за доставленные сведения и сказать тебе, что он с содержанием письма вполне согласен. „Либеральные меры и сильная власть это,—говорит Горчаков,—тема, которую я всегда проповедывал. Я рад, что с Вашим братом схожусь в этих мыслях, но, разумеется, не переговорив с ним, не могу знать, во всем ли так же схожусь".—Я ответил: „Чтобы дать некоторое понятие об общем направлении его мыслей, скажу, что он против конституции у нас".—„Oui, mais ne faut-il pas que les institutions y soient, sans le mot?" Я: „Pourvu qu' il n'y ait pas de contrôle par des assemblées délibérantes"[1].—Ему, очевидно, не хотелось ясно высказать своей мысли. Потом он сказал: „Je veux faire le plus haut usage de cette lettre sauf quelques omissions, mais je veux d'abord avoir votre assentiment.—Я: „Je n'y vois aucun inconvénient quant au sens gènèral, mais vous avez pû voir qu'élle est ècrite dans un style intime, de frère à frère".—Он: „J'ai fait omettre la fin, mais ce qui concerne Toutchkof est trop important. Je ne nommerai pas votre frère; cependant, si on l'exige, je cèderai; en fait il n'y a rien là dedans que je ne sois prêt à signer"—Я: „Je me permettrai de relever ce qui me paraît le plus important; de grâce insistez que l'autorité se montre ferme et ne se déconsidère pas. Mais en même temps qu'on ne fasse pas mine d'avoir peur et, qu'on n'ait pas recours à une sévèrité maladroite dictée par la peur"[2].—

[1] „Но не следует ли ввести учреждения, не употребляя слова?"—Я: „Только не надо допускать контроля совещательных собраний".

[2] „Я хочу воспользоваться этим письмом, с некоторыми пропусками, в очень высоком месте, но я желал бы предварительно иметь на то ваше согласие". Я: „Я не вижу никаких к тому препятствий, поскольку дело идет об общем смысле, но вы могли заметить, что оно написано в интимном стиле, как пишет брат к брату". Он: „Я опустил конец, но то, что касается Тучкова, слишком важно; я не назову вашего брата; однако, если будут настаивать, я уступлю; по существу, в письме нет ничего такого, под чем бы я охотно не подписался". Я: „Я позволю себе подчеркнуть то, что мне кажется наиболее важным; ради бога, настаивайте на том, что власть должна выказать себя крепкой и не ронять себя. Но вместе с тем, не надо показывать вида страха, ни прибегать к бестолковой строгости диктуемой страхом".

Г.: „Oui c'est nècéssaire. Vous pouvez dire à votre frère que l'une des mesures sévères que je proposerai, sera de renvoyer chez leurs parents tous ceux qui n'auront pas acceptè les matricules, pour purger la capitale de leur présense. J'espère que cette mesure ne sera pas désapprouvée par votre frère“ [1]. В заключение он изъявил надежду, что ты будешь продолжать сообщать свою оценку всего, что происходит.

„Перейду к разбору твоего письма. Я писал тебе вчера по почте, что из двух пунктов адреса умеренной партии, первый, касательно платы вступивших студентов, разрешен. Прибавляю, между нами, что начало необратного действия Положения было принято теперь только в правительственном Совете. Я тебе писал и повторяю просьбу изложить в умеренных выражениях, почему у нас такая мера бесполезна и вредна. На каких основаниях можно желать и требовать дарового высшего образования? (Тут советую быть осторожным). Что касается сходок, то также повторяю: 1) студентам остается право доносить о своих нуждах индивидуально; 2) правительство явно стремится уничтожить для студентов всякие корпоративные права и самую мысль о корпорации; 3) в эти последние годы сходками так злоупотребляли, что студенты сами виноваты, хотя бы даже это право было рационально. В прошлом году студенты вздумали сами в аудитории судить одного товарища за простую кражу, посадили его в карцер и т. п. Кроме того, произносили речи об общем ходе правительства и т. д. Итак ты можешь опять же с осторожностью развить свою мысль о корпорации.

„NB. Барон Петр Казимирович Мейендорф говорит, что студенты везде имеют корпоративные права, например форму? Он того мнения, что корпорации по факультетам лучше, нежели по национальностям, и что выбранные из студентов депутаты составляют залог спокойствия, потому что через них можно действовать на других. — Передаю тебе различные мнения,

---

[1] Г.: „Да, это необходимо. Вы можете сообщить вашему брату, что одна из мер строгости, которую я хочу предложить, заключается в отсылке к родителям всех, кто откажется принять матрикулы, чтоб очистить столицу от их присутствия. Я надеюсь, что ваш брат одобрит эту меру“.

чтобы ты мог ими руководствоваться. Но Петр Казимирович против демократизации университетов, в особенности против служебных привилегий".

„Я просил тебя о разборе новых правил. Поговори с товарищами, не говоря зачем, и передай общее суждение о них, в частности о проректоре, о педелях. Насчет педелей вот еще разговор. Кто-то сказал Горчакову: „Travaillez à ce qu'on les abolisse; c'est une mesure très impopulaire, et il faut la reprendre".—„Non, il ne faut pas en ce moment faire de changements; si c'est impopulaire, la mesure ne recevra pas son entière exécution, sans qu'on doive la rétracter". — „Mais on retombe dans la même erreur: pourquoi conserver une chose qui ne sera pas exécutée?" [1]. — Ответа не было. — Я не присутствовал, но, кажется, разговор передан довольно верно.

„Что ни говори об Горчакове, однако, он единственный человек из окружающих государя, который имеет либеральные поползновения. На практике он не выдерживает и говорит иногда: „Le pouvoir ne peut pas se passer sans un peu d'arbitraire" [2]. Кроме того, занятый политикой, он не ясно сознает, в чем могут заключаться либеральные действия. Но все же либерализм ему доступнее, нежели другим, и нужно только представить ему программу, которая дала бы более определенный ход его красноречию... Итак напиши мне, что ты ценишь одобрительные слова, которые мне поручено было передать тебе."

В письме, посланном по почте, брат говорит, что особенно подействовало выражение: „либеральные меры и сильная власть", и просил подробнее развить эту тему. В ответ на его вызов, я написал ему длинное письмо, которое привожу здесь целиком.

„Москва, 11 октября 1861.

„Ты желаешь, чтобы я подробнее развил тебе свое выражение: „либеральные меры и сильная власть". Оно не случайно

---

[1] „Добейтесь их отмены—это непопулярная мера, и от нее надо отказаться"—„Нет, сейчас не надо ничего переменять; если это распоряжение непопулярно, то оно и без отмены не будет осуществлено целиком"—„Но, в таком случае, допускается прежняя ошибка; зачем сохранять вещь, которая не будет исполнена?".

[2] „Власть не может обойтись без небольшой доли произвола".

попалось мне под перо. По моему мнению, оно должно быть лозунгом правительственно-либерального или, если хочешь, консервативно-либерального мнения в России. Это мнение едва зарождается. При невозможности печатно обсуждать наши внутренние вопросы, при том разгаре страстей, который возбужден освобождением крестьян, образование его встречает почти непреодолимые трудности. Тем не менее, либеральное мнение в России положительно раздвояется, хотя люди, которые ничего в этом не понимают, всех нас крестят названием красных. Различное обсуждение моего письма к Герцену[1] до очевидности показало это раздвоение. Особенно в Москве есть зерно людей, которые так уже и прозваны государственниками.

„В настоящее время первая наша потребность — предоставление обществу значительной доли самодеятельности. Без этого жить нельзя. Без этого мы вечно останемся в том положении, которое привело нас к бедствиям Крымской войны. Этого даже и уничтожить невозможно. Общество почувствовало свою самостоятельность и никогда уже не возвратится к тому полному подчинению, какое бывало в прежние времена русской истории. Это надобно сказать себе раз навсегда. Но это явление не печальное. Если правительство поймет свое положение и сумеет им воспользоваться, то Россия выиграет двойные силы от возбуждения энергии общественной. Правительство само всего делать не может. А покорные орудия сами ничего делать не в состоянии.

„Отсюда необходимость либеральных мер по всем отраслям общественной жизни. Надобно, чтобы везде человеку была предоставлена свободная сфера деятельности. В особенности же надобно избегать тех мелочных стеснений, которые раздражают людей и унижают начальство, ставя его в мелочные столкновения с гражданами. Правительство теряет через это свое высокое значение и становится ответственным за всякую глупость самого последнего исполнителя, как это до очевидности показывает нынешнее состояние нашей цензуры. Пусть

[1] Письмо Б. Н. Чичерина напечатано в „Колоколе“, 1 декабря 1858 г.

появляется множество бестолковых статеек, пусть студенты не ходят на лекции и толкуют между собой обо всяком вздоре. Государственный человек обращает внимание не на эти пустяки, а на общее направление умов. Тут нужен широкий взгляд на вещи, а не взгляд 3-го отделения.

„Но чтобы все это сделать совершенно безвредным, надобно, чтобы над всем этим господствовала сильная власть, которая всегда была бы готова сдерживать непокорных. Закон должен быть широк, но исполнение его должно быть строгое и непременное. Уверенность в непременном наказании — лучшее ограничение свободы. Но, как скоро можно явно и безнаказанно нарушать закон, так водворяется анархия. В настоящее время сильная власть нужнее, нежели когда-либо. Она одна может сдержать расшатавшуюся Россию. Только не надо смешивать сильной власти, сохраняющей возвышенное свое положение, с мелочным вмешательством во всякие дрязги. В особенности приложение власти должно соединяться с глубоким знанием русского общества. Иначе она всегда будет бить невпопад. Теперь, для управления всеми внутренними делами, как насущний хлеб, потребны нам государственные люди, которые бы соединяли в себе чувство власти с знанием общества и с ясным пониманием настоящего положения дел. Но где их найти?

„То, что я говорю о соединении либеральных мер с сильною властью, ты можешь видеть на освобождении крестьян. Вот мера вполне либеральная, которая соответствует самым существенным потребностям России, которая дает правительству право на вечную признательность со стороны всякого кто искренно любит отечество. Отчего же она сначала возбудила такие смуты? Оттого, что она была объявлена, когда управление не было еще устроено. Вблизи не было власти, которая бы могла ее поддерживать. Неповиновению позволили сначала распространиться. Поэтому впоследствии нужны были гораздо сильнейшие меры. Вообще строгие меры избавляют от строжайших. Когда явилась власть, водворилось спокойствие, и явилась вместе с тем возможность законного и гражданского развития этого вопроса. Там, где „Положение“ строго исполняется, где мировые посредники не льготят ни крестьянам,

которые отказываются от отбывания повинностей, ни помещикам, которые хотят захватить больше, нежели им предоставлено законом, там все идет хорошо. Ты сам мог это видеть у нас. Дурно идет дело только в тех местах, где есть послабление той или другой стороне.

„Посмотри же теперь, что сделано в университетах. Все происшедшие в университетах беспорядки суть только отражение того, что происходит в России. Вся Русская земля немного сбилась с толку. Взошло для нас весеннее солнце и произошла оттепель. Зелень еще впереди, если солнце будет продолжать греть, а пока только непроходимая грязь. Естественно, что это общественное состояние прежде всего отражается на молодых людях, которые увлекаются более других, и которых всегда следует сдерживать разумным употреблением власти. К несчастью, именно этого-то и не было сделано. Ты знаешь, что вся полицейская власть в университете находится в руках попечителя. Во многих отношениях это очень хорошо, но надобно уметь с нею обращаться. Мы на своих попечителей жаловаться не можем. Как предыдущий, так и настоящий, люди весьма благонамеренные, готовые на все хорошее. Но невозможно требовать от человека, который всегда служил на другом поприще, который не имеет никакого понятия о народном просвещении, чтобы он вдруг приобрел нужные для этого места знание и такт. Всякий благонамеренный человек сначала естественно остерегается и делает скорее менее, нежели более, чем нужно. Результатом этого было то, что в университете исчезла всякая полицейская власть. Студенты могли делать все, что им угодно, и, разумеется, нередко употребляли свою свободу во зло. Чтобы помочь этому, стоило только разбудить немного дремлющую власть, запретить сходки, прокламации, литографии и т. д., и дать университетскому начальству средства приводить в исполнение свои предписания, т.-е. усилить полицию и восстановить карцер, который один может заменить строгую меру исключения из университета. Больше ничего не было нужно.

„Вместо того приняли ряд мелочно-стеснительных мер. Студентам выдаются матрикулы и билеты, которые они всегда должны иметь при себе; университетская передняя загромождена

баррикадами, которые сторожатся солдатами; запрещены всякого рода объяснения с начальством и т. д. Когда же дело дошло до выполнения этих мер, то оказалось, что власти никакой нет, и когда университетское начальство обратилось к генерал-губернатору, то генерал-губернатор принял под свое покровительство явное сопротивление закону. Вот что я называю радикально-ложною политикой от начала до конца. Тут не либеральные меры с сильною властью, а стеснительные меры и слабая власть. Вот что ведет к анархии. Кто же тут виноват, студенты или начальство? Когда молодых людей с одной стороны раздражают, а с другой—позволяют им явно нарушать закон, то иных последствий быть не может как то, что мы видим в настоящее время.

„Мысль уничтожить корпорацию студентов совершенно фантастическая. Студенты корпорации не составляют, а всегда составляли и всегда будут составлять товарищество, вопреки всем постановлениям, ибо это естественно вытекает из их положения. В этом ничего нет дурного. Напротив, товарищество—лучшая сторона университетской жизни, и даже для человека зрелого это лучшее воспоминание молодости. Ты сам это знаешь. Дурно только то, что это товарищество употребляется иногда на недозволенные цели. Но для того, чтобы этого не было, нужно только, чтобы молодые люди знали, что над ними есть власть, которая непременно накажет всякое нарушение порядка. Свобода действий и карающая власть — с этим можно смело надеяться на успех.

„Но из всех принятых мер — самая в настоящее время неловкая, по единогласному мнению всех, весьма умеренных профессоров нашего университета, это — обязательная плата студентов. Мы на-днях намерены даже просить министра народного просвещения ходатайствовать об отмене этой меры, как уже оказавшей свои вредные последствия, и вот наши доводы: 1) Ты говоришь, что в Англии и Германии высшее образование не даровое. В Англии, точно, оно стóит очень дорого. Но зато Англия самая богатая страна в мире. Притом там общие средства образования, помимо университетов, несравненно доступнее, нежели у нас. В Германии же всякий студент, представляющий свидетельство о бедности, избавляется

профессором от гонорара и от пошлин за матрикуляцию. Во Франции академическое обучение большею частью даровое: платят за степени. Мы же страна самая бедная, средства образования самые скудные; помимо университетов и других высших учебных заведений, их даже вовсе нельзя иметь. Следовательно, другие страны не могут нам служить примером. 2) Опытом дознано, что работают именно беднейшие люди. Они должны пробивать себе дорогу трудом. Из них выходят учители, без которых нам обойтись невозможно. Из них же выходят хоть несколько образованные чиновники, которые для государства необходимы. Детям бедных чиновников просто деваться некуда, если закрыть им доступ в университеты. 3) И главное, эта мера, при настоящих обстоятельствах, в высшей степени неполитична. В том безграничном умственном хаосе, в который погружена теперь Россия, у нас есть одна живая струя, которая вынесет нас на берег. Это — жажда просвещения. Всякий русский человек и бедный и богатый, и образованный и дикий, чувствует, что наша первая и насущная потребность состоит в образовании. Оттого всякая мера, сколько-нибудь ограничивающая образование, возбудит всеобщее негодование и даст всякому протесту против нее опору в сочувствии общества. В этом сочувствии студенты находят себе главную поддержку. Не только в тверском дворянстве, но везде в клубах, в присутственных местах идут подписки на бедных студентов. Чиновник Казенной палаты или Опекунского совета жертвует на это часть своего скудного жалования. В этом явлении есть глубокий и отрадный смысл. Неужели же правительство пойдет против этих благороднейших и священнейших стремлений русского общества. Ты пишешь мне, чтобы я вообще об этой мере распространялся с крайнею осторожностью, я же, напротив, считаю долгом совести при всяком удобном случае говорить об этом с величайшею настойчивостью, потому что эта мера подкапывает значение правительства и составляет лучшую опору для той безрассудной оппозиции, которая слышится у нас со всех сторон. При этой мере разумным образом поддерживать правительство становится невозможным. Я прежде всего желаю сильной власти, но сильная власть не может

существовать без нравственного влияния на общество, а это влияние неизбежно исчезает, когда правительство теряет в глазах общества свое высшее значение — значение образователя народа, когда оно полиции жертвует просвещением.

„Вот тебе очень длинное письмо. Надеюсь, что я изложил все, что тебе нужно знать. Если в тебе родятся еще какие-либо недоумения, напиши.

„P. S. Внуши, пожалуйста, что заставлять студентов посылать прошения по городской почте и получать стипендии в частных домах — признак трусости, а это хуже всего".

На это брат отвечал:

„Когда я рекомендовал тебе величайшую осторожность, я не подозревал мягкости и, можно сказать, прямодушия Горчакова. По прочтении твоих замечаний на счет дарового университетского образования, он сказал: „C'est moi qui ai appuyé au Conseil les mesures restrictives quand aux universités; je l'ai fait sous l'impression de ce que j'avais vu en Allemagne, où les places manquent pour tous les jeunes gens qui ont fini leurs études; ils restent sur le pavé et deviennent un élement dangereux. En Russie les circonstances sont autres et je reconnais que j'ai pu avoir tort"[1]. Но, сознавшись, что мера могла быть неудачна, он думает, что теперь невозможно ее отменить. Заметь, что в Совете Горчаков составляет едва ли не крайнюю левую, и что если он считает отмену невозможною, то чего же ожидать от других? Впрочем, он не останавливается на отказе и вслед за тем начал развивать мысль о преобразованиях, которыми можно бы помочь делу. Он просил об этом не говорить, потому что его мысли еще недостаточно разъяснились. Во всяком случае несомненно, что человек самый благонамеренный и ум самый всесторонний не могут отыскать настоящего исхода в деле, которого не изучали. Оттого я повторяю, если тебе приехать нельзя, то следует обсудить с Дмитриевым и другими, как правительству

---

[1] „Это я поддерживал в Совете ограничительные меры в отношении университетов. Я это сделал под впечатлением того, что видел в Германии, где мест не хватает для всех молодых людей, оканчивающих свое учение; они остаются на улице и становятся опасным элементом. В России условия иные, и я признаю что, может быть, был неправ".

действовать, не исповедуя открыто, что оно ошиблось. Сделать новое Положение, на новом основании, ему легче, нежели из нынешнего Положения вычеркнуть несколько статей.

„Твое письмо я должен был почти целиком переписать для государя. 1) Личная форма в нем устранена, т. е. ты знаешь, ты желаешь и т. д. 2) Выпущен твой намек на письмо к Герцену, потому что иначе следовало бы объяснить, что такое это письмо, может быть, представить его и т. д. 3) Намек на цензуру вычеркнут. Это вопрос посторонний, который требует развития. „Обращать внимание на общее направление умов“, допуская, чтобы появлялось „множество бестолковых статеек“, это—такие мысли, которые здесь неясно понимают и которыми пугаются. Несмотря на безотчетную цензуру (а может быть и вследствие ее безотчетности), направление литературы самое крайнее и даже вредное на общество. Не легко убедить правителей, что дать ей большую свободу не даст нам последнего толчка в пропасть. Изменить нашу цензуру едва ли возможно; можно ее преобразовать на совершенно иных основаниях. Каким же образом действовать на общее направление умов, этого никто не подозревает, разве только барон Александр Казимирович. Не читавши даже твоего письма, но слышав от моего тестя, что ты защищаешь даровое образование, он привез мне листок, который просит тебе передать. Прилагаю его. Напиши мне (для меня), что́ ты об нем думаешь и прибавь несколько слов, которые я мог бы ему прочесть.

„Теперь здесь толкуют, кем бы заменить Путятина. Иные говорят о Титове, другие о Пирогове; вероятно ни тот, ни другой не будут назначены.

„Государь полон доброй воли, но надобно известным образом представлять ему вещи, чтобы его убедить. А именно: не должно касаться самодержавия. Либеральные меры и сильная власть, — кажется, должно понравиться. Едва ли можно убедить в необходимости изменить университетское Положение, но легче представить новую реформу и с точки зрения порядка, просвещения, общественного мнения. — Должно напирать на „расшатавшуюся Россию“ и побольше развить, что опасно „стягивать вожжи“, о чем многие толкуют. Должно

резче высказать, что все благонамеренные люди за правительство, но что не следует их отчуждать, потому что общее отчуждение от правительства наша главная опасность, а она произошла оттого, что слишком вожжи были стянуты.—Уверяют, что Шувалов во всем происходившем видел только генерал-адъютантские эполеты. Но кроме него, есть и многие другие, которые преувеличенно смотрят на все. Сам Горчаков говорит: „Cette jeunesse nous a fait moralemant le plus grand mal; j'aime la jeunesse, mais dans cette occasion je ne puis l'excuser“ [1]. Потому я считаю твою точку зрения отличной, и дай бог, чтобы ее оценили: что студенты дети, а что главная вина на начальстве, которое не должно быть мелочно строго, но твердо.

„Не забудь написать, что ты ценишь одобрение Горчакова. Эта слабая струнка в нем есть, но в последнее время, видя его часто, я его ценю больше: мягкий, благонамеренный, допускающий всякие убеждения, готовый быть либеральным, лишь бы не зайти слишком далеко. Одна из его слабостей -- присваивать себе совершенно всякую мысль, которая муе понравится; например, выражение: „либеральные меры и сильная власть“—не твое, потому что Горчаков давно уже написал его на своем знамени. На-днях, за обедом он характеризовал всех присутствующих; меня назвал rougeâtre, а себя libéral modéré [2]. Надобно отдать ему справедливость, что он от этого наименования никогда не отказывался, даже когда отстаивал плату студентов и в крестьянском деле был за добровольные соглашения. Но даже в случаях более серьезных он по-своему оставался с собою консеквентным. Так, на счет Польши, он тотчас сказал: „Il faut sévir contre le désordre dans les rues, mais avoir une base légale et ne pas s'en départir“ [3], — и я думаю, он много содействовал тому, что мы не отступали от дарованных полякам прав. В крестьянском вопросе он искренне радуется удаче мировых посредников. На чины он смотрит

---

[1] „Молодежь нам сделала величайшее моральное зло; я люблю молодежь, но в этом случае я не могу ее извинить“.

[2] Красноватый... Умеренный либерал.

[3] „Надо бороться всячески с уличными беспорядками, но держаться на почве законности и от нее не отступать“.

совсем не как действительный тайный советник, а домогается их уничтожения. Но во внутренних делах этот либерализм далеко не систематичен, и особенно в вопросе о цензуре его мысли отнюдь не установились. Тут следовало бы внушить ему программу, которую он с обычною ловкостью мог бы защищать перед царем и перед товарищами по Совету.

„Завтра вечером хочу поехать к Петру Казимировичу и, если можно, прочесть ему твое письмо. П. Б. [1] едет в Москву в пятницу, и я с ним напишу, если будет что. Но я желал бы, чтобы ты сам приехал. Сегодня Горчаков спрашивал, написал ли я тебе об этом и повторял, что хотел бы с тобой поговорить.“

Ехать в Петербург я в это время не мог, ибо должен был начать свой курс, да в сущности и не было в том нужды. Я отвечал следующим письмом:

„Любезный друг, прошу тебя передать князю Горчакову, что я весьма ценю его одобрение моих мыслей. Он единственный наш государственный человек, который не заражен баронскими предрассудками и способен понять толковое мнение, не пугаясь ложных призраков демократии и красной республики. Это редкость, потому что высшие круги составляют у нас совершенно особенный мир, который к России не имеет решительно никакого отношения и не ведает, что̀ в ней творится.

„Примерами могут служить хоть бы записочка твоего дядюшки А. К. Мейендорфа, и мнение другого твоего дядюшки, П. К. Мейендорфа, об университетском образовании. Все это очень умно, все выписано из глубоких писателей, из Гизо, из Токвиля, все вынесено из Германии, из С.-А. Штатов, но к России решительно неприложимо. Говорить в России об излишнем разлитии образования в массах или о демократизации наших университетов, это русскому человеку, знающему состояние нашего просвещения, покажется довольно странным. В России эти массы — ничтожная капля в море. У нас необходимо, чтобы в университет стекалось как можно больше людей, для того чтобы образовался хоть кто-нибудь, чтобы из этого числа выработались какие-нибудь

[1] Так в рукописи.

серьезные силы, а серьезные силы нам нужны на всех поприщах. Если дожидаться хорошо подготовленных молодых людей, то наши университеты останутся совершенно пусты. У нас университеты заменяют все—и гимназии, в которых почти не учатся и не могут учиться, потому что нет порядочных учителей, и специальные школы, и литературу и, наконец, самое общественное образование, которого у нас нет. У нас университеты вовсе не такие высшие учебные заведения, как в других странах. Наши университеты,—это умственная атмосфера, в которой человек получает хоть какое-нибудь развитие. Через университеты русское общество выходит из сферы „Мертвых душ". Совершенно несправедливо, что демократическими и социальными идеями заражаются преимущественно люди, которые не в состоянии заплатить 50 рублей в год. Напротив, эти люди вступают в университет, чтобы проложить себе дорогу и должны работать и жить своим трудом, тогда как студенты с большим достатком могут предаваться безделью и на досуге наслаждаться разными дикими мечтами. В университетах проявляются дикие мысли, не потому что в них есть, soi disant, демократические элементы, а потому что в них отражается дикость всего нашего общества, как высшего, так и низшего, и я, право, не знаю, которое в этом отношении заслуживает пальму первенства. У нас из самых аристократических фамилий выходят такие студенты, что уму непостижимо.

„Для того, чтобы университетам дать разумное направление, необходимо прежде всего, чтобы управляли ими люди знающие как университеты, так и состояние общества. Между тем в продолжении последних 13 лет у нас не было ни одного министра и ни одного попечителя (в Москве), который бы в этом что-нибудь понимал. Каково бы было состояние нашей армии, если бы в течение десяти лет военными министрами и генералами назначали дипломатов или чиновников почтового ведомства. Между тем, вопросы об армии—вопросы технические, а вопросы о народном просвещении в настоящее время вопросы п о л и т и ч е с к и е. Это надобно себе сказать и крепко сказать.

„Все наше несчастие в настоящее время состоит в том, что правительство и общество составляют как бы два лагеря,

которые не имеют между собой решительно ничего общего. Правительство живет в заколдованном кругу тайных и действительных тайных советников, а общество всякого тайного и действительного тайного советника считает почти что личным своим врагом, потому что долгий опыт убедил его, что, за весьма немногими исключениями, тайные и действительные тайные советники больше заботятся о собственной своей пользе, нежели о пользе общественной. Отсюда отрицательное направление литературы, которая людей, принадлежащих к заколдованному кругу, приводит в негодование и изумление. Литература другого направления иметь не может, пока правительство совершенно уединяется от общества. Надобно, чтобы правительство опиралось на какие-нибудь разумные общественные элементы, чтобы оно в среде своей имело людей, которые бы в состоянии были иметь какое-нибудь влияние на общество. Пока этого нет, будет продолжаться настоящая анархия.

„Людям весьма немногочисленным, которые с глубоким прискорбием видят это состояние России и, стоя между обоими лагерями, не в силах их сблизить, остается только по возможности распространять в обществе более здравые понятия о вещах, нежели те, которые теперь в ходу, и стараться приготовить как можно более людей, которые были бы в состоянии действовать, как скоро правительству благоугодно будет выйти из заколдованного круга тайных и действительных тайных советников. Давать же какие-нибудь советы и стараться проводить какие-нибудь меры совершенно бесполезно. Совет можно дать только один: призывать по каждой части людей, которые эту часть знают. Иначе наилучшие меры ни к чему не послужат.

„Из всего этого ты поймешь, что я решительно не намерен обсуждать никаких мер, относящихся до народного просвещения. Не намерен, потому что я не вижу в правительстве серьезного желания решить эти вопросы разумным образом и прямо смотреть на вещи. Сегодня, например, князь Горчаков с величайшею ловкостью успеет убедить государя в пользе какой-нибудь благоразумной меры, но кто поручится, что завтра князь В. А. Долгорукий или граф В. Н. Панин с такою

же ловкостью не нагородят какого-нибудь вздора и не ввернут в постановление такую заковычку, которая даст ему совершенно превратное действие? Если правительство серьезно желает принять, наконец, какую-нибудь разумную систему относительно народного просвещения, то путь один: представить новые меры на обсуждение университетских советов и затем созвать в Петербурге комиссию из сведующих людей, которые бы могли выработать из этого что-нибудь толковое. Если князь Горчаков желает добра нашему образованию, то пусть он на этом настаивает.

„Я очень рад, если ни Титов, ни Пирогов не будут назначены в министры народного просвещения. Оба—хорошие люди, но оба на это место не годятся. Титов тряпка, а Пирогов фантазер. Человек, который заводит журнальную полемику о своих собственных мерах, не имеет понятия о власти, а власть теперь нужна. По-моему Путятину надобно непременно остаться, пока все совершенно успокоится. Иначе студенты подумают, что они его выгнали. А единственным возможным министром, по моему мнению, все-таки был бы Григорий Щербатов. Он во время своего петербургского попечительства давал студентам излишние льготы [1]. Но тогда это было общее направление, которое не оказало еще своих вредных последствий. Но он человек твердый, знающий дело, и, как попечитель московский и петербургский, приобрел значительную популярность. Только ему нужно хорошего товарища.

„Вероятно, это последнее политическое письмо, которое я пишу тебе теперь. Кажется, я сказал все, что нужно. Мы от Совета делаем донесение министру о ходе событий, с изъяснением причин. Мы решили не ходатайствовать прямо об отмене обязательной платы. В настоящее время, это была бы вредная уступка. Но мы довольно ясно на это укажем. Донесение пойдет на будущей неделе. Я думаю, что при обсуждении мер относительно университетов, не дурно будет вытребовать это донесение. Если князь Горчаков желает подробнее

---

[1] См. о нем отзыв министра нар. просвещения Е. П. Ковалевского, который считал его „человеком недальним и... первым виновником беспорядков в нашем (Петербургском) университете“ (А. В. Никитенко, Записки и Дневники, т. II, стр. 10).

познакомиться с делом, он найдет в нем многое такое, что надобно принять к сведению“.

Донесение, упомянутое в предыдущем письме, было представлено Советом по окончании университетских беспорядков, которые пришли к давно ожидаемой развязке. Она последовала по приезде попечителя, который вернулся наконец из отпуска. Исаков был военный генерал, вовсе не сведущий в деле народного образования, но человек хладнокровный, твердый, разумный и порядочный. Он попал в самый разгар страстей, когда студенты бунтовали, професcора давали им отпор, а генерал-губернатор им мирволил. Разумеется, все обрушилось на попечителя, от которого, главным образом, зависел исход дела. Он приехал в университет и тут произошла неприличная сцена. В профессорскую ворвалась масса студентов, которые подступили к попечителю с требованием об отмене новых мер. Он отвечал твердым отказом. Между тем, комната все более и более наполнялась народом, так что его, наконец, прижали к стене. Из толпы слышались неприличные крики. Тут было несколько профессоров: Бодянский, Ешевский и другие, которые старались образумить студентов. Сам Исаков, которого положение было весьма незавидное, в течение целого часа сдержанно и твердо настаивал на своем отказе делать какие бы то ни было уступки. Наконец, толпа, видя, что ничего не добьется, вышла из комнаты.

Тогда студенты решили обратиться коллективно к генерал-губернатору. На следующее утро толпа двинулась из университета на Тверскую площадь. Но власть, которая допускала сходки в университетском саду и в аудиториях, не хотела терпеть скандала на улицах. Произошло побоище на Тверской площади, или „Дрезденская битва“, как ее называли в шутку вследствие того, что происшествие случилось против гостиницы „Дрезден“. На собравшихся студентов накинулись не только полицейские, но и дворники из соседних домов. Их разгоняли, даже били. Толпа разбежалась, многих арестовали и посадили на съезжую.

Тем собственно история и кончилась. Встречая везде отпор студенты поняли, что надеяться не на что, и притихли. Частным образом сделана была еще попытка. Трое студентов: двое



медиков, Покровский и Понятовский, и юрист граф Салиас поехали в Петербург, чтобы представить студенческий адрес прямо государю. Адрес был возвращен в университетское правление с поправкою рукою государя двух орфографических ошибок. Это была последняя и довольно постыдная неудача. Некоторое время продолжалось еще глухое брожение, но большинство заявило покорность, и можно было открыть курсы. Для разбора дела на Тверской площади от генерал-губернатора учреждена была комиссия, в которую приглашен был депутат из университета. Выбрали Баршева. Дело кончилось пустяками. С виновным поступлено было очень снисходительно. Исключены были весьма немногие, самые рьяные вожаки. Университет, с своей стороны, счел нужным изложить высшему начальству все дело, как оно происходило, и вместе раскрыть причины и указать исход [1]. С этой целью выбрана была комиссия, в которую вошли Соловьев, Ешевский, Бодянский и я. Соловьев был выбран председателем, а я докладчиком. Это был первый доклад, который мне доводилось писать. В Совете он был принят общим сочувствием и я получил за него благодарность [2]. В следующем году он был тайными путями доставлен в „Колокол“ и напечатан с заметкой, что история не забудет имен подписавших. Как-будто мы совершали какое-то великое преступление, между тем как мы чисто объективно излагали все обстоятельства дела, ничего не преувеличивая и ничего не утаивая. Исход, на который мы указывали, состоял в пересмотре устава 1835 года. Мы вовсе не думали, что университеты нуждаются в каких-либо коренных преобразованиях; но в виду тех известий, которые мы имели из Петербурга о настроении правительства, особенно того, что писал брат, мы полагали, что этим

---

[1]) Шестаков, бывший тогда инспектором, в своих воспоминаниях говорит, будто бы, при выходе из профессорской, я сказал ему об одном из вожаков: „отчего вы его не арестовали?“ Очевидно, что в его памяти перепутались лица. Сказать этого я не мог, потому что меня там не было. Вследствие беспорядков я еще не начинал лекций и не ходил в университет Прим. Б. Н. Чичерина.—(Воспоминания П. Д. Шестакова под заглавием: „Студенческие волнения в Москве в 1861 г.“ напечатаны в „Рус. Старине“. 1898 г., т. 60.)

[2] Записка эта напечатана А. А. Титовым в „Чтениях О-ва истории и древностей российских“ 1905, II.

способом всего легче можно будет отменить стеснительные меры и восстановить нормальный порядок. Так именно и сделалось.

С тем вместе я мог наконец открыть свой курс. На вступительную лекцию собралось, по обыкновению, масса народу, и студенты, и профессора, и даже посторонние. Я прямо и откровенно высказал свою точку зрения: указал на значение эпохи, в которую мы живем, на великие совершающиеся преобразования, на освобождение крестьян, на готовящиеся земскую и судебную реформы; сказал, что, вообще говоря, преобразования совершаются обдуманно, с соблюдением истинных интересов государства, что мы быстрыми шагами идем вперед и с доверием можем глядеть на будущее, и что при таких условиях только непростительное легкомыслие может ограничиваться критикою частных стеснительных мер или укоренившихся веками злоупотреблений. Я указал и на открывающееся обширное поприще для общественной самодеятельности, в особенности на потребность разумного и сдержанного общественного мнения, способного противодействовать обуревающей нас умственной анархии, которую я, вспоминая древне-русские элементы, характеризовал названием умственного и литературного казачества. Я говорил молодым людям, что они к будущей своей деятельности должны готовиться не чтением газетных статеек, а серьезным научным трудом, в тишине университетской жизни, удаленной от политического брожения, носящего печать современных страстей. Излагая затем существо и значение государства, я сказал, что первая и необходимая потребность разумного государственного порядка состоит в повиновении закону, и не только хорошему, но даже и дурному, ибо свобода, подчиняющаяся закону, одна способна установить прочный порядок, тогда как своеволие неизбежно ведет к деспотизму. Наконец, я сделал воззвание к памяти Грановского. Намекая на недавнюю шумную манифестацию на его могиле в день годовщины его смерти, я сказал, что мы эту драгоценную для нас память не должны призывать в свидетели своих страстных увлечений, а должны беречь как душевное сокровище, для освящения мирного и плодотворного труда, составляющего жизненное дело университета. „В этом,—заключил я,—состоит завещан-

ное нам предание, которое мы обязаны свято хранить, предание, которое, непрерывною цепью передаваясь от поколения к поколению, делает из университета учреждение незыблемое, краеугольный камень русского просвещения и надежду русской земли".

Студенты были увлечены. Рукоплескания были шумные и продолжительные. Профессора, с своей стороны, выразили мне свое сочувствие. В петербургских высших сферах я также встретил одобрение. Брат писал мне: „Твоя лекция очень понравилась и консерваторам, и всем умеренным людям. Она отвечала потребности, которую все вообще ощущали и, потому, произвела большое впечатление; со всех сторон у меня ее спрашивают. Горчаков представил ее государю, который надписал: „Много весьма дельного и хорошего".—Зато газеты на меня обрушились. В Петербурге какой-то Берви, который вскоре потом был сослан, разразился яростным фельетоном, а в Москве на меня ополчился Иван Сергеевич Аксаков. Смешивая необходимый государственный порядок с современною русскою казенщиною, он в своем журнале заявил, что я поддерживаю мертвечину и стою за внешнюю форму, тогда как истинный дух русского народа состоит в том, чтобы искать не внешней правды, а внутренней; как-будто искание внутренней правды избавляет гражданина от повиновения внешнему закону.

Такие нелепые, можно сказать младенческие, нападки тем более были способны смутить взволнованную молодежь, что остальные органы литературы молчали. Между студентами началась агитация; меня выставляли поборником правительственного деспотизма. Были слухи, что от петербургских вожаков, которые были крайне недовольны умиротворением Москвы, пришло приказание сделать неприятность попечителю и некоторым профессорам. Наконец, решено было учинить против меня демонстрацию. Накануне я был об этом предупрежден. Утром, перед лекциею, пришли ко мне несколько студентов из моих слушателей и уговаривали меня не ходить на лекцию, потому что собирается толпа с других факультетов, преимущественно медиков, с целью меня освистать. Я сказал, что я все-таки читать буду. Когда я пришел в профессорскую, мне сообщили, что в аудитории собралась масса посто-

ронних студентов. Баршев, который был деканом юридического факультета, пошел их уговаривать, а ко мне явилась депутация от трех курсов, которым я читал: они просили меня итти на лекцию и обещали, что с своей стороны сделают все, от них зависящее, чтобы не допустить скандала. Я пошел в назначенный час. При первых же словах послышалось несколько свистков, но затем раздались оглушительные рукоплескания. Студенты вскочили с лавок и даже на лавки и кричали: „Вон свистунов!“. Нашедшую постороннюю толпу буквально вытолкали в двери. Когда все успокоилось, я поблагодарил студентов за поддержку и спокойно прочел свою лекцию. Победа была полная.

Несколько дней спустя, когда я взошел на кафедру и собирался читать, встает один студент и заявляет, что он желал бы со мной объясниться. Я сказал, что теперь не время, а после лекции сколько угодно. По окончании чтения, я спросил, что́ он желает сказать. Он высказал, что и он и другие его товарищи не одобряют происшедшей манифестации, но, тем не менее, они считают долгом заявить мне, что они не сочувствуют моему направлению, признавая меня защитником царизма и деспотизма. Я отвечал, что я защищаю только то, что должен защищать каждый либеральный человек, если он здраво смотрит на вещи, а именно законный порядок, без которого невозможна свобода. Каков мой образ мыслей, это покажет мой курс, по которому единственно студенты могут судить о моем направлении. Препирательство продолжалось четверть часа, после чего я сказал, что теперь настало время для другой лекции, а если кто желает подробнее со мной потолковать, то пускай придет ко мне на квартиру. Студент, мне возражавший, действительно пришел, и потом часто возобновлял свои посещения. Скоро он разубедился в моих наклонностях к деспотизму, и мы стали друзьями. Это был Хлебников, впоследствии профессор Варшавского университета, автор книги об общественных отношениях древней Руси [1].

---

[1] Б. Н. Чичерин имеет в виду вышедшую в 1872 г. докторскую диссертацию Н. И. Хлебникова: „Общество и государство в до-монгольский период русской истории“. Любопытно отметить, что Хлебников в 1879—1880 г. выступал в „Киевских университетских известиях“ с статьями, направленными против социализма и материализма.

С тех пор я, в течение всего своего семилетнего пребывания в университете, ничего, кроме сочувствия, в студентах не встречал. С первых же пор установились наилучшие отношения. Вообще, после события на Тверской площади Московский университет на много лет успокоился совершенно. Два-три месяца спустя, не заметно было даже ни малейших следов прежнего волнения. Без всяких стеснительных мер, одним дружным действием власти и профессоров, их нравственным авторитетом, спокойствие было восстановлено вполне.

Не то было в Петербурге. Там тоже произошло побоище, которое брат описывал мне в письме от 13 октября.

„Положение дел теперь следующее: 654 студента приняли матрикулы. Третьего дня курсы открыты. Студентов было очень мало, преимущественно оттого, что перед университетским зданием стояла толпа непринявших матрикулы, которые подтрунивали над входящими. Вчера то же самое повторилось: 120 человек стояли перед университетом. Паткуль попросил их разойтись; но они отвечали отказом. Тогда он сказал: „Господа, я должен буду вас арестовать“.—„Мы этого и желаем.“— „Но ведь я вас отведу в крепость.“—„Нам этого и хочется“.— „В таком случае будет сделано по-вашему.“—С Паткулем было только несколько жандармов и городовых; он послал за двумя батальонами преображенцев, (которые вероятно были приготовлены), студентов окружили и повели, между тем как они кричали и махали фуражками. Во время шествия вдруг, из-за угла, около 200 студентов кинулись с палками на солдат с криками „Ура, выручим!“. Одного из них, который хотел прорваться, один солдат ударил прикладом по челюсти, так что тот упал. Жандармов студенты тоже били палками, и двое или трое отвечали саблями, впрочем необнаженными. Солдаты начали горячиться, и их очень трудно было сдерживать. Все кончилось несколькими ранами. Прибывших вновь студентов тоже оцепили, и всего 280 человек посажены в крепость. По городу говорили, что они в казематах на хлебе и на воде; это вздор.—Все это почти официальные сведения.“

В Петербурге положение обострилось близостью социалистической литературы, которая вела тайную и явную пропаганду, а также и фальшивым положением наиболее влиятельных

профессоров, которые, с одной стороны, старались воздержать студентов, с другой стороны—вели оппозицию против правительства. Но последнее, ободренное в особенности водворившимся в Москве спокойствием, не думало уступать. Дело кончилось тем, что пятеро из лучших профессоров Петербургского университета: Кавелин, Утин, Пыпин, Стасюлевич, и Спасович, а затем и Костомаров, вышли в отставку. Юридический факультет опустел, а, между тем, надобно было открывать курсы. Тогда в правительственных сферах возникла мысль перевести меня в Петербург, чтобы пополнить пробел и водворить в Петербургском университете консервативный дух. Я прямо получил предложение от ректора Горлова, на которое отвечал отказом, но на этом не успокоились. Брат писал: „Петр Казимирович (Мейендорф) сказал мне: „Je leur dis que c'est un homme à ménager, qu'il faut se garder de le dépopulariser par une croix ou une faveur trop marquée.“ [1] Я обратился к Горчакову, чтобы просить его удержать излишнюю благосклонность. Он отвечал: „Non, il ne s'agit pas de croix, mais plutôt de l'appeler à l'université d'ici.“ [2] Я положительно уверял, что ты не оставишь своей кафедры, потому что, отказавши здешним профессорам, ты не можешь принять предложение правительства.“

Я отвечал брату: „Скажи Горчакову, что я места в Петербургском университете, не приму: 1) потому что я сердечно привязан к Московскому университету, 2) потому что я здесь в кругу людей, которые одинаких со мной мнений и с которыми можно действовать заодно, 3) потому что мне здесь больше времени для работы, 4) потому что, если меня выпишут в Петербургский университет для распространения консервативных мнений, то я буду поставлен в самые неловкие и неприятные отношения как к профессорам, так и к студентам. Это свяжет меня по рукам и по ногам. Впрочем, я очень благодарен за доброе ко мне расположение.“

Однако, и на этом дело не остановилось. Вскоре прибыл в Москву сам министр народного просвещения, граф Путятин;

---

[1] „Я им говорю, что его надо беречь; опасно подорвать его популярность орденом или слишком заметным проявлением милости“.

[2] „Нет дело идет не об ордене, а скорее о приглашении его в здешний университет“.

он обратился ко мне с тем же предложением. После длинного разговора с ним, я писал брату:

„Министр приезжал сюда показаться университету и вербовать профессоров. Я имел с ним разговор в продолжение часа и, несмотря на лестное ко мне внимание, убедился, что он невозможен: он не понимает ни нравственных отношений, ни общественного состояния. Он просто туп и вдобавок упрям. Ему хочется во что бы ни стало пополнить юридический факультет Петербургского университета, доказать вышедшим профессорам, что можно без них обойтись.

„А пополнить порядочным образом факультет невозможно; дурно пополнить хуже, нежели вовсе не пополнять. По-моему, лучше факультет закрыть, нежели компрометировать себя тщетными попытками. Я ему объяснял, что даже временно не могу перейти в Петербургский университет, потому что поставлю себя в самое фальшивое положение; что отправиться в чужой университет с целью восстановлять порядок, невозможно; что вышедшие профессора, хотя, по моему мнению, увлекаются, но все же—цвет Петербургского университета, и никто не согласится явиться в их же университет с протестом против них; наконец, что я могу содействовать правительству только находясь в независимом положении, но, как скоро я становлюсь орудием правительства для исполнения его целей, я погибаю безвозвратно. Он мне отвечал, что надобно жертвовать собою, что не надобно искать популярности, и тому подобные пошлости, которые показывают, что он ничего этого не понимает.“

И эти письма были прочтены Горчакову и с некоторыми выпусками представлены государю. Брат писал мне:

„По секрету могу сообщить тебе надпись, сделанную его величеством: „Это показывает, что испорченность общественного мнения ставит людей самых благомыслящих в фальшивое положение“. Эти слова почти буквальны, и об них у меня было рассуждение. Значит ли это, что Путятин в фальшивом положении или скорее, что ты, несмотря на свои отличные намерения, поставлен в то фальшивое положение, что не можешь не только искать, но даже принять покровительство правительства. Я думаю, что он рассуждал так, что при правильном

общественном мнении похвала правительства выставляет человека, а у нас будто унижает. Он не ясно сознает различие между литератором и чиновником."

Положение независимого писателя так мало понималось в правительственных сферах, что я в то же время получил весьма любезное письмо от министра внутренних дел, который приглашал меня писать в затеваемой им „Северной Почте", которая должна была служить руководительницею русского общественного мнения. „Позвольте принести Вам покорнейшую просьбу не исключать этой газеты из числа тех повременных изданий, в которых Вам угодно помещать Ваши статьи,—писал мне Валуев,—Приношу Вам эту просьбу прямо и собственноручно, чтобы иметь удовольствие воспользоваться этим случаем для непосредственного засвидетельствования Вам моего искреннего уважения".

Я отвечал:

„Милостивый государь Петр Александрович. Мне в крайности прискорбно, что я должен отвечать отказом на приглашение, которое я имел честь получить от Вас. Надеюсь, что взглянувши на причины моего несогласия, Вы сами убедитесь, что мое участие в „Северной Почте" едва ли было бы полезно для цели, которую Вы себе предполагаете.

„Положение писателя вообще довольно щекотливо. Он может действовать на общественное мнение только силою своего убеждения, а искренность убеждений измеряется полною их свободою и независимостью. Малейшее сомнение в том, что мысли писателя внушены ему извне, или что он служит орудием чужих видов и целей, роняет его в глазах публики Поэтому участие в каком бы то ни было официальном журнале противоречит моим правилам. Тут есть своего рода честь, которую лучше доводить до крайности, нежели компрометировать ложным положением. Как деятель, я могу служить своему отечеству в самой подчиненной сфере; как писатель, я могу служить ему, только оставаясь вполне независимым.

„У нас в России писатель должен быть вдвойне осторожен. У нас правительство имеет такое преобладающее значение, оно в такой степени возвышается над обществом, что свобода мнений считается заслугою, и оппозиционная мысль всегда

может рассчитывать на популярность. У нас нужна некоторая смелость, чтобы самостоятельному человеку поддерживать в литературе правительственное направление. Писатель же который налагает на себя официальный штемпель, немедленно лишается всякого влияния на общество. Никто не хочет верить в его искренность и независимость, потому что независимость у нас слишком еще недавнего происхождения и слишком мало обеспечена. Служить правительству так выгодно, что естественно является подозрение в материальных расчетах. Я, разумеется, не придаю этому более веса нежели следует; я думаю, что человек с убеждением не только может, но и должен действовать иногда наперекор общественному мнению. Но компрометировать свое положение можно только тогда, когда есть в виду существенная польза; в настоящем же случае я убежден, что произойдет более вреда, нежели пользы, ибо всякое слово, сказанное в защиту власти, имеет несравненно более веса в независимом органе, нежели в официальном журнале, где оно получает характер казенного внушения. Правительство может действовать на общественное мнение не словом, а делом; поддерживать же его словом в благих его начинаниях оно должно предоставить частным людям, которые могут судить о нем беспристрастно и свободно спорить с другими. Только независимые силы, возникшие среди самого общества, в состоянии уничтожить ту бездну, которая в настоящее время, вследствие давно накопившихся причин, отделяет правительство от общества, и которое, по мнению всех здравомыслящих людей в России, составляет одно из главных наших зол. Покровительство власти или материальная солидарность с правительством может только парализовать эти едва возникающие стремления. Я, с своей стороны, льщу себя надеждою, что я могу несколько содействовать желанному сближению. Теперь мое положение тем благоприятно, что я могу сказать: „мне до правительства дела нет; я совершенно независимый человек и сужу о нем беспристрастно; но именно, как беспристрастный зритель, я должен сказать, что оно желает добра, если не всегда его видит, и что в самых существенных вопросах оно действует для блага России“. Если бы я сделался сотрудником „Северной Почты“, подобные доводы были бы для меня невозможны.

„Вы видите, милостивый государь, что на Ваше письмо, писанное в форме, к которой мы не привыкли, я счел долгом отвечать с полною откровенностью. Мне казалось, что я не могу лучшим образом показать Вам, что я умею ценить и лестное для меня предложение и способ, которым оно делается. Надеюсь, что Вы примете в уважение изложенные мною причины отказа, и прошу Вас, милостивый государь, принять уверение в истинном моем почтении и преданности."

Петербургские литераторы, ближе стоявшие к чиновничьей сфере, иначе смотрели на это дело, нежели я. Главным редактором „Северной Почты" был назначен почтенный А. В. Никитенко, который однако же не долго остался на этом месте. По обыкновению министр обещал ему всего на свете и не сдержал ничего. Впоследствии Валуев на ту же удочку притянул Цитовича который не устоял против искушения и с первых же шагов погиб безвозвратно.

Стараясь всячески отстоять свою независимость, я не мог однако помешать нашим мудрым властям оказать мне медвежью услугу. Вдруг я узнаю, что цензорам запрещено пропускать возражения на мою первую лекцию. Меня это взорвало, и я тотчас написал графу Путятину следующее письмо:

„Ваше сиятельство! До меня дошли слухи, которые я имею основание считать достоверными, что цензурным комитетам запрещено пропускать возражения на мою первую лекцию. Я был глубоко огорчен этим известием. Писатель, который выступает на поприще свободных прений под защитою полицейской власти, справедливо подвергается не только нареканиям, но и презрению общества. Я этого не заслужил. Я для защиты своих мнений никогда не просил, не прошу и не буду просить полицейского покровительства. Я свободу прений считаю необходимым и непременным условием успешного развития общественной мысли и возможности действовать на общественное мнение. Поэтому покорнейше прошу, Ваше сиятельство, снять с меня клеймо, оскорбительное для моей чести, как писателя, и официально предписать цензурным комитетам пропускать какие бы то ни было возражения против каких бы то ни было статей, писанных мною, если только эти возражения в других отношениях не противоречат цензурным правилам. Иначе

человеку с независимою душою и с честными убеждениями невозможно будет сказать ни единого слова в пользу власти, порядка и закона. Честь имею быть и проч.".

Копию с этого письма я послал брату с просьбою распространять его всюду и вместе хлопотать о снятии запрещения. Это и было сделано. Мое личное положение было, однако, делом совершенно второстепенным. Главная задача состояла в том, чтобы отстоять существующее устройство университетов, на которое ополчились не только в литературе, но и в правительственных сферах. В то время как студенты бунтовали, как все университеты были расшатаны, из среды выдающихся петербургских профессоров послышались голоса, требующие коренного изменения всего их внутреннего строя. Костомаров написал статью, в которой он доказывал, что университеты должны быть не школами для юношества, а открытыми для публики заведениями, рядом публичных лекций, на которые могут приходить люди всякого пола и возраста. Он восставал и против корпоративного устройства, утверждая, что корпорации вовсе не в духе русского народа, а составляют заимствование извне, чистый анахронизм, порождение свойственной нам в последние века слепой подражательности. Он ссылался при этом на Хомякова, который, как чисто русский человек, хотел чтобы учебные заведения были открытые и чтобы самые экзамены производились публично. С своей стороны Стасюлевич, возражая Костомарову, допускал, что корпорации не в духе русского народа, но указывал на то, что у русского народа есть своеобразное учреждение, мир, и из этого выходит, что студенты должны образовать мирские сходки.

Московские профессора были возмущены этими статьями. Мысль образовать из студентов мирские сходки была до такой степени дикая и нелепая, что трудно было понять, как она могла зародиться в человеческом мозгу. И что же я впоследствии узнал? Эта мысль принадлежала Кавелину, который развивал ее в записке, бывшей у меня в руках[1]. Проповедывать печатно такого рода воззрения значило прямо поддерживать

---

[1] Очень умеренная записка К. Д. Кавелина „О беспорядках в СПБ. унивеситете", составленная 1 октября 1861 г., напечатана в Собрании его сочинений (изд. Глаголева, т. II, ст. 1192 след.).

студентов в самых крайних их притязаниях. Это была однако, еще наименьшая опасность. В правительстве предложение о мирских сходках очевидно не могло найти отголоска. Но мысль Костомарова понравилась. Корпоративному устройству приписывали солидарное действие студентов; думали, что лучшим исходом будет уничтожение самого студенчества. Нам сообщили, что в высших сферах об этом весьма помышляют. Делянов, назначенный попечителем петербургского учебного округа, прислал в Москву статью Костомарова с приложением проекта, написанного в этом духе.

Я тотчас написал брату: „Здесь распространился слух, что хотят университеты сделать совершенно открытыми заведениями, уничтожив даже экзамены. Ради бога, скажи князю Горчакову, что он России окажет незабвенную услугу, если он настоит на том, чтобы не бухнули нам этого на голову, не спросив наперед тех, кто это дело знает. Говорю по искреннему убеждению: большего удара русскому просвещению нанести невозможно. Все предшествующие меры, даже ограничение комплекта—ничто в сравнении с этим, ибо это—уничтожение высшего преподавания и обращение университетов в кафедры общественной пропаганды.

Напиши, что́ об этом знаешь."

Брат отвечал: „Вчера получил твое письмо об слухах, что университеты хотят всем открыть без экзаменов. Я был нездоров, но через третье лицо сообщил твои замечания; они приняты к сведению, как очень важные; но мне отвечено, что до сих пор ничего не решено. —Вот что я узнал стороной: проект в этом роде будет представлен Корфом, который имеет наиболее шансов наследовать Путятину. Некоторые из сановников добиваются, чтобы его допустили в Совет министров, чтобы защищать свою программу; но рассуждения еще не было, и, во всяком случае, ты хорошо сделал, что выразил так категорически свое мнение. Я знаю людей благонамеренных, которые были в пользу этого проекта, а теперь призадумались. Постараюсь еще кое-кому внушить твое воззрение. Может быть, это ни к чему не поведет, но попытаться следует. Единственным серьезным ручательством было бы натурально созвать людей,

близко знающих дело, но, кажется, исполнить это в настоящую минуту невозможно. Одно из препятствий, что здесь были недовольны петербургскими профессорами. Кроме того, самый этот способ действия пугает: вызвать одного, другого профессора из Москвы, Казани, на это, пожалуй, согласятся, но составить из них комитет, на это смелости не хватит."

Тогда я решился печатно возражать Костомарову и высказать убеждения, что наши университеты не нуждаются в радикальном преобразовании. „Им нужен пересмотр уставов,—писал я,—но скорее для того, чтобы возвратить им должное значение, чтобы утвердить их на установленном преданием пути, нежели для перестройки их на новый лад. Университетам нужно не столько преобразование, сколько поддержка, а прежде всего нужны осторожность, уважение и любовь." Я резко восставал против водворившейся в русском обществе страсти к мечтательным нововведениям, против легкомыслия, с которым колеблются все жизненные устои. Я говорил, что учреждений, основанных на нравственном духе и принесших многие полезные плоды, следует касаться со страхом и трепетом. Тут преобразования должны совершаться не иначе, как по настоятельной необходимости, на основании зрелого суждения и ясно дознанного опыта. Иначе общество лишится всяких прочных основ.

В другой статье я разбирал вопрос об отмене служебных преимуществ университетов. Я доказывал, что это значит дать привилегии невежеству. Я старался доказать и неприменимость у нас служебных экзаменов и опять настаивал на том, что в деле народного образования следует поступать с крайнею осторожностью и необходимо держаться твердой и последовательной системы действий. Вместо того, чтобы менять учреждения, часто достаточно поставить настоящих людей.

Костомаров мне отвечал, и я написал новое возражение. Брат писал мне: „Твоя статья в „Ведомостях" всем уже известна, и твою точку зрения очень одобряют... Об проекте Корфа стали меньше говорить. Он сам уже не кандидат в министры, потому что получил место Блудова во 2-м отделении".

Правительство решилось, наконец, составить комиссию из профессоров и попечителей для просмотра университетского устава. Брат писал: „На-днях Горчаков спросил у меня, когда

ты сюда будешь. Я отвечал, что к Пасхе. Ему бы хотелось, чтобы ты был пораньше, прежде нежели окончательно решат преобразование университетов. Горчаков сказал: „Ne pourrait il pas se faire choisir pour être appelé ici? On veut faire venir le curateur et deux professeurs, et mon avis était qu'il fallait abandonner le choix de ces deux au conseil de l'université, mais on n'y consent pas. En tout cas, je ne crois pas qu'on puisse laisser ce soin au curateur, car il prendrait les individus qui pensent comme lui, et il faudrait au moins que le ministre choisisse“ [1] Петр Казимирович, напротив, говорит: „Je pense qu'il ne faudrait pas faire venir votre frère, pour ne pas l'user, mais plutôt des gens plus agés, qui n'ont rien à perdre; il faut reserver votre frère pour l'avenir“. [2] Это мнение и я защищаю.“

Попечителем назначены были Соловьев и Бабст, которые и поехали в Петербург на совещание. Выбор был отличный; можно было надеяться на благополучный исход всего дела.

Вместе с тем, министром народного просвещения на место графа Путятина назначен был Головнин. Брат спрашивал какого я об нем мнения. Я отвечал: „Я с ним за границею довольно хорошо познакомился и нахожу, что он в кругу людей, не близко его знающих, имеет совершенно ложную репутацию. Его считают человеком очень умным и коварным, а по моему, он человек честный и небольшого ума, усидчивый, трудолюбивый, упорный, но до крайности узкий и педант... Головнин воображает себя великим государственным мужем и имеет рецептики на все государственные вопросы, чем и пробавлялся Константин Николаевич. Он два года был членом Главного правления училищ; может быть, он тут и занимался народным просвещением. Но практически он этого дела вовсе не знает, и не-

[1] „Не мог-ли бы он устроить так, чтоб его выбрали? Это дало-бы возможность его пригласить сюда. Хотят вызвать попечителя и двух профессоров, и мое мнение было таково, что следует предоставить право избрания этих двух Совету университета, но на это не соглашаются. Во всяком случае, я не думаю, чтобы можно было поручить это попечителю; он бы выбрал лиц, одинакового с ним образа мыслей; надо чтобы выбор принадлежал, по крайней мере, министру“.

[2] „Я думаю, что не следует вызывать Вашего брата, чтобы его незатаскать; лучше вызвать людей более преклонного возраста, которым нечего терять; надо сохранить Вашего брата для будущего“.

известно, что он заберет себе в голову. Если он попадет на хороший путь, из него может выдти порядочный министр, но отвечать за это нельзя, а можно опасаться, что он в покое не останется, а начнет придумывать разные полезные или бесполезные предприятия, чтобы ознаменовать свое пребывание в министерстве."

Это действительно и случилось. В Петербурге он тотчас завел публичные лекции в Думе, нечто в роде открытого университета, какого требовал Костомаров. Скоро, однако, опыт показал всю несостоятельность этого предприятия при тогдашних условиях русского общества. Вследствие производимых публикою беспорядков эти лекции были прекращены. В Москве не представлялось повода к такого рода нововведениям; но Головнин хотел сразу учинить грандиозное пополнение университетов свежими силами. Одна из первых бумаг, которую мы получили от него в Совете, содержала в себе вопрос: какое, по нашему мнению, лучшее средство в короткое время приготовить значительное количество профессоров и преподавателей? Мы отвечали, что такого средства не существует, что в этом деле надобно поступать с разбором и осторожно, оставлять при университете и посылать за границу только молодых людей, действительно подающих надежды, каких в каждом выпуске бывает немного. Однако, Головнин этим не удовлетворился; по рекомендации петербургских журналистов, он послал за границу целую ватагу молодых людей, из которых большею частью ничего не вышло.

Самый университетский устав подвергся бесконечным обсуждениям. Выработанный комиссией проект не только был разослан по всем университетам для обсуждения в советах, что имело некоторый смысл, но был послан разным иностранным ученым, которые о положении и потребностях русских университетов не имели ни малейшего понятия, а потому не в состоянии были сказать путное слово. Все это тщательно было собрано в многочисленные фолианты, которые рассылались направо и налево. Сам Головнин задался мыслью прославить свое министерство уничтожением служебных преимуществ высшего образования. В то время это считалось либеральною мерою. С этим планом он приехал в Москву. В течение целого вечера мы с Дмитриевым старались убедить его, что при нашей слу-

жебной системе это будет только премиею невежеству и открытием самых широких дверей протекции. Он остался при своем мнении, но, разумеется, из этого ничего не могло выйти; чтобы отменить служебные преимущества университетского образования, надобно было предварительно пересоздать всю государственную службу. Новый устав вышел таким, каким он должен был быть. Сохранены все существенные основания университетского устройства. Власть попечителя намеренно осталась несколько неопределенною для того, чтобы в случае нужды можно было придать ей нужную силу. Самая важная перемена против прежней системы состояла в подчинении инспекции избираемому Советом проректору; но так как попечитель оставался высшим руководителем, то это не было в сущности ограничением его власти. После студенческих беспорядков менее всего можно было думать о том, чтобы ограничить права начальства. Поэтому, когда впоследствии старались выставить устав 1863 года плодом господствовавшего в то время крайнего либерализма, то это было бессовестным искажением истины. Из предыдущего изложения можно видеть, что московские профессора, которые вырабатывали и обсуждали этот устав, вовсе не были заражены духом крайнего либерализма. Можно, напротив, сказать, что он был плодом здравого консервативного направления, впервые тут выразившегося. Как я подробно расскажу ниже, поход против устава 1863 года был предпринят Катковым и Леонтьевым из чисто личных целей, и так как они не брезгали никакими средствами, то они с обычным своим бесстыдством представляли в совершенно превратном виде дело хорошо им известное. А отуманенное правительство и невежественная публика принимали все это за чистые деньги.

12 января, день основания Московского университета праздновался одним из тех публичных обедов, которые вошли в обычай в последние годы. Профессора были поставлены в затруднительное положение. Нам известно было, что в публике, при тогдашнем анархическом брожении умов, при постоянном подстрекательстве радикальных газет, многие весьма недоброжелательно смотрели на стойкое наше положение во время университетских волнений. Нас предупреждали даже, что хотят

воспользоваться обедом, чтобы публично учинить нам какой-нибудь скандал. По этому поводу я писал брату: „Вот тебе маленький образчик такта, с которым действуют наши власти. 12 января затевается обыкновенный университетский обед. Несвоевременнее этого ничего быть не может. При шатком положении университета, при общем раздражении умов, наверное можно сказать, что тут произойдет какая-нибудь демонстрация или скандал. Наша публика вообще приличия не знает, а за этими обедами имеет обыкновение напиваться. Предметом скандала будут, разумеется, профессора. Между тем, обед затевает губернский предводитель в виду предстоящих выборов; обед будет такой многочисленный, какого никогда не было, потому что вместо 6 рублей плата 3 рубля, следовательно будет публика всякого рода. Из университета об этом никого даже не спросили, и теперь мы стоим между двумя опасностями: если мы не поедем—скажут, что мы струсили, и это будет иметь вид демонстрации, что очень дурно; если поедем—мы подвергаемся неприличным выходкам со стороны пьяной и буйной части публики, не говоря уже о том, что всякие демонстрации возбуждают страсти, а университету нужен прежде всего покой. Когда есть власть предупреждать волнения, надобно употреблять ее с толком. Но, разумеется, теперь запретить обед было бы гораздо хуже, нежели предоставить все на произвол судьбы. Я сильно опасаюсь, что при этих обстоятельствах, с наплывом студентов из Петербурга, у нас будет дурное полугодие. Мы должны на своих плечах выносить все глупости, которые делаются вокруг нас.

„Говорят еще, — прибавлял я,— что Чернышевскому разрешено читать публичные лекции. Это тоже искра на порох. Право, у нас, кажется, не имеют ни малейшего понятия о том, что делается в обществе. Живут в каком-то заколдованном круге, из которого ничего не видят. Знаешь ли, что все военно-учебные заведения заражены духом Чернышевского? Вероятно, если бы об этом догадались, то стали бы исправлять самым косолапым образом, вроде последних университетских мер. Неужели нужен переворот, чтобы у нас явился государственный человек?"

Предупрежденные о возможности скандала, большинство профессоров, с Соловьевым во главе, не поехали на обед. Но

я думал, что ехать надо, хотя мне говорили, что демонстрация будет направлена против меня, в отместку за неудавшийся скандал в университете. Я сообщил свои мысли Щербатову, который поддержал меня в моем намерении, и сам поехал со мной на случай, еслиб оказалась нужною какая-нибудь помощь. Все обошлось благополучно. Когда я вошел в залу и пошел занимать место за столом, я заметил, что Козлов, один из вожаков социалистической партии, впоследствии образумившийся и сделавшийся профессором философии, застучал ножем, чтобы обратить на меня внимание. Обед прошел тихо; но как только мы встали, ко мне подошел Усов, в то время крайний радикал, говорун и балагур. Он начал развивать тему, что университет уже более не существует. К счастью, в эту самую минуту кто-то его отвлек. Щербатов меня толкнул, и мы уехали незаметно. Демонстрации не над кем было производить.

Мои опасения насчет наплыва петербургских студентов тоже не оправдались. Московские студенты не двинулись. Закончив свои лекции, я обратился с маленькою речью к трем курсам юристов, которые меня слушали. Я сказал им, что теперь они с полным сознанием могут судить о том, какого я держусь направления; что к газетным толкам я совершенно равнодушен и дорожу только сочувствием аудитории. Дружные рукоплескания показали мне, что я это сочувствие успел приобрести. Оно могло вполне вознаградить меня за то, что я в публике прослыл ярым консерватором и сделался мишенью для владычествующего в нашей журналистике радикализма.

Одно, что во всей этой университетской истории причинило мне сердечную боль, — это был окончательный разрыв с Кавелиным. Еще недавно, предлагая мне кафедру в Петербургском университете, он писал мне, что хотя мы во многом расходимся, но он „уверен, что личная наша взаимная оценка осталась прежняя, без всяких перемен. Имея против Вас зуб, — прибавлял он, — я никогда не смешивал личных раздражений с понятием, которое составил о человеке". Понятие это было таково, что отвечая на просьбу о позволении посвятить ему мои „Опыты по истории русского права", он писал мне, что он „с наслаждением и гордостью" помышляет о том, что я был его слушателем в университете. Я и сам гордился таким

отзывом и еще более дорожил теми сердечными отношениями, которые завязались между нами в предшествующие годы. Теперь же он до такой степени разъярился, что всякие личные оценки были кинуты в сторону. Я в течение зимы писал ему несколько раз. Между прочим, он словесно через Сатина просил меня уведомить его, кто из профессоров Московского университета подал голос за допущение женщин в университет. Одним из любопытных знаменьев времени было то, что этот вопрос, по предложению высшего начальства, обсуждался в университетском Совете. Я в шутливом тоне отвечал, что нашлось только двое: Зернов и Армфельдт. У последнего, профессора судебной медицины, были взрослые дочери, которые сделались нигилистками и впоследствии были арестованы и сосланы в Сибирь. У первого, профессора математики, было также множество дочерей; рассказывали, что они были одна другой безобразнее, и что он не знал куда их пристроить, чем и объясняли совершенно несвойственный ему либерализм. Все же остальные профессора, и старые и молодые, понимали всю нелепость подобного предложения. Допускать молодых женщин в университет, когда не знаешь, как справиться с молодыми мужчинами, это было верхом безумия. Но Кавелин за это безумие стоял горой. Я послал ему и свое письмо к Путятину по поводу запрещения писать против меня в газетах. Он все молчал, но, к крайнему моему изумлению, по рукам стало ходить письмо его к Валентину Коршу, в котором он в самых резких выражениях отзывался о мне и моих товарищах. Очевидно, он был оскорблен. Он принял на свой счет то, что я говорил в своей первой лекции о близорукой пошлости, которая в великих событиях и в знаменательных эпохах видит одну мелочную сторону, потому что иного она понять не в состоянии. Еще более раздражил его мой презрительный отзыв о предложении обратить университет в мирскую сходку. Не подозревая, что эта мысль принадлежит Кавелину, я восклицал: „Боже мой, где мы? Из каких закоулков человеческого мозга вытаскиваются у нас доказательства при обсуждении самых живых современных вопросов?“. Этого он никогда не мог простить.

Наконец, я получил от него письмо, которое может служить образчиком бессмысленного раздражения, носившегося в тог-

дашней петербургской атмосфере и всецело охватившего эту впечатлительную душу. Вот оно:

„Письмо Ваше от 6 декабря, почтеннейший Борис Николаевич, было мне доставлено Бабстом только вчера, и потому до вчерашнего дня я не мог ни выполнить Вашего поручения, ни отвечать Вам. Прежде не отвечал на Ваши письма, потому что отвечать было нечего. Клеветам на Тучкова я не верил; целое правление, отправляющееся к Тучкову просить помощи против студентов — дело слишком позорное для университета, чтобы было на это что-нибудь сказать; извещение о профессорах, которые имели довольно здравого смысла, чтобы не запереть двери университета женщинам, конечно, меня очень изумило: я надеялся прочесть другие имена, но, к сожалению, ошибся. На это тоже нечего было сказать. Что же еще? Догадка, что университет волнуют поляки? Это, как выражается один мой приятель, политическая мифология. Непременно нужно олицетворение, нужно найти виноватого, так уж голова у людей устроена. В 1831 году поляки отравляли колодцы, что произвело холеру; в 1834 году они поджигали всю Россию; в 1861 году они бунтуют университеты. Если бы мне это написал косолапый мужик, я бы улыбнулся; от Бориса Николаевича Чичерина мне было странно получить известие о таком открытии, и опять на это отвечать было нечего. Теперешнее письмо Ваше совсем другого свойства. Вы бросили перчатку всему, что недовольно в России, и теперь собственным опытом изведали, что за причина этого недовольства. Мне Вас очень жаль, хотя вначале, когда разнесся слух, что Вам отправлено высочайшее благоволение за Вашу первую лекцию, я душевно обрадовался. Паря в превыспренних идеи и науки, созерцая с высоты величия дела людские и презирая, как и следует, наши мелкие скорби и печали, Вы находите смешными и жалкими наши вопли и сетования. Куда же Вам, олимпийцу, собеседнику вечного, снизойти до того, что, может быть, и в нелепо выраженной скорби есть своя доля правды, которую можно выразить и лепо. Вы сами снизошли к нам с недосягаемой высоты, храбро доказали нам всю нашу несостоятельность и пошлость и—как логическое последствие Ваших действий — сопричислены к лику благонамеренных. Что-ж тут

необыкновенного? Я удивляюсь, отчего у Вас недостало мужества и гражданского героизма принять и этот естественный вывод из того, что Вы делали и делаете. Скажу Вам больше: это с Вашей стороны слабость, и слабость непростительная, после самоотвержения, которое Вы доказали так блистательно. Ведь правительство разумно и победоносно шествует вперед к благу отечества? Ведь одни пустозвоны им недовольны, ищут скандалов и нарушают своей глупой трескотней торжественное развитие судеб нашего великого отечества? Отчего же Вас так смутило, что оно, мудрое наше правительство, неусыпно пекущееся о благе своих верноподданных, заградило уста клевете, неблагонамеренности и тем доставило истинам, выраженным в Ваших писаниях, полное нераздельное торжество? Я бы, с Вашей точки зрения, этому весьма бы возрадовался и возвеселился. Какое Вам дело до порицаний пустозвонов и безмозглых порицателей? Какое Вам дело до их сочувствия? Мудрое наше правительство, без сомнения, находит полное сочувствие во всех благомыслящих и разумных сынах своих; следовательно, все благомыслящее и разумное должно только радоваться, что Вы, глашатай вечной истины, можете невозбранно поучать юношество и публику. Повторяю, я не понимаю, чем Вы огорчены и опечалены. Неужели Вы думали, что благословляя и одобряя правительственные распоряжения и бросая гром и молнию против порицателей правительства, Вы не будете занесены, в том или другом виде, в список кандидатов на Анну на шею? И отчего Вам не хочется получить Анну на шею? Ведь, написавши умную и дельную книгу, прочитав хорошую лекцию, Вы довольны, когда слышите кругом себя одобрительный говор? Может быть, Вы, объявляя войну врагам правительства, имели в виду не то правительство, с которым мы все имеем дело, а другое, сложившееся в Вашем воображении, и потому недовольны, когда это, действительно существующее благодарит Вас по-своему? Но тут уж Вы сами кругом виноваты. Вам бы следовало точнее оговориться, а то из Ваших слов можно подумать, что Вы относитесь не к воображаемому идеалу, а к действительности, которые далеко не сходятся. И глупая эта публика вовсе Вас не поняла по Вашей же вине: она, читая Ваши бесподобные отзывы о пра-

вительстве, представила себе, что Вы говорите о Чевкиных, Паниных, Муравьевых, Строгановых, Филипсонах и т. п. и удивилась; ее-то удивление и заставило Путятина оградить Вас от нападений.

„Я свято исполнил Ваше желание: сообщил кому только мог Ваше письмо. До получения его я делал гораздо больше: направо и налево защищал Вашу добросовестность, как делал это давно тому назад, по поводу Вашего знаменитого письма, напечатанного в „Колоколе". Одного я не защищал и не мог защищать, еслиб даже хотел, это—ясного понимания Вашего окружающей действительности, тонкого чутья правды и неправды в той среде, в которой нам суждено жить. Мне казалось лучше ограждать самое дорогое для всякого, по крайней мере для меня, именно добросовестность и честность писателя, чем настаивать на таланте понимать действительность. Последний ведь имеет много оттенков и им можно злоупотреблять...

„Вот уж второй раз, что мы ведем между собой такую странную переписку. На этом разе она во всяком случае должна кончиться. Восхваляйте правительство, громите пустозвонов, сколько Вам угодно, составляйте обвинительные акты без числа против Тучкова и подобных ему генерал-губернаторов; продолжайте смотреть на студентов, как на негодных мальчишек, достойных розог, и на глухое недовольство против правительства, как на дело невежества, легкомыслия и бретерства. Только, бога ради, не думайте ни одну минуту, чтоб я мог сколько-нибудь Вам сочувствовать. Теперь мне совершенно ясно, что наши взгляды, пути, способ действий, симпатии и антипатии совершенно различны. Нас разделяет бездна, которую не наполнит ни память о Грановском, ни память о том, что мы прежде были близки и действовали вместе. Каждый из нас пойдет своей дорогой, не вдаваясь в бесполезные словопрения, которые только поднимают злость со дна души, без всякого результата."

И все это писалось несколько месяцев после освобождения двадцати миллионов руских людей, в то время как вырабатывались и судебная и земская реформы! Трудно даже постигнуть подобное ослепление. И когда подумаешь, что это писал

человек искренний и благородный, еще недавно совершенно трезво смотревший на вещи, то можно составить себе понятие о царившем вокруг него умственном хаосе, среди которого люди шатались в каком то бреду, и как бы в густом тумане, затмевающем свет солнца, виднелись им всюду чудовищные призраки. Конечно, всякому другому я на подобное письмо или вовсе бы не ответил или отвечал бы в другом тоне. Но к Кавелину я счел нужным обратиться с последним воззванием, нисколько впрочем не обольщая себя насчет успеха. Вот мой ответ:

„Сейчас получил Ваше письмо, почтеннейший Константин Дмитриевич, и спешу на него отвечать. Мне уже было известно, что Вы на меня сердитесь, но я тщетно старался уяснить себе причины Вашего раздражения. По прочтении Вашего письма, они для меня еще менее понятны. Если бы я попросил Вас указать, что именно я сделал или написал такого, что могло вызвать Ваши нарекания, то Вы были бы в большом затруднении. Единственное, что я могу придумать, это то, что в начале своей вступительной лекции, говоря о реформах, которые происходят у нас, я сказал слово в пользу правительства, которое их совершает. Нигде, кроме этого, я своих отношений к правительству не высказывал. Но позвольте Вас спросить по совести: всякий разумный и либеральный человек не обязан ли глубокою благодарностью правительству, освободившему крестьян? Не составляет ли это для нас залог всех будущих реформ? Вы, по крайней мере, так думали прежде, а я так думаю и теперь. И не обязаны ли мы сказать слово в пользу этого правительства, когда против него со всех концов России раздается вопль помещичьего негодования. Полагаю, что честный и либеральный человек может иметь такое мнение, не подвергаясь за это нареканиям со стороны честных же людей. А больше этого никто не в праве мне приписать. Если вы удивляетесь, почему я, поддерживая правительство в тех реформах, которые оно совершило или предпринимает, не соглашаюсь принять Путятинского покровительства или Анны на шею, то в Вас говорит раздражение, которое мешает Вам понимать и уважать чужие убеждения. Я протестую против Путятина, потому что

я стою за свободу мнений и одинаково возмущаюсь против деспотизма сверху, который хочет преградить всякое прекословие, и против нетерпимости снизу, которая говорит: „Я вас знать не хочу, потому что вы не разделяете моего образа мыслей, или даже просто потому, что вы не так раздражены, как я“. Опомнитесь, Константин Дмитриевич, я Вас прошу об этом в последний раз, прежде нежели Вы решитесь разорвать без всякой причины с человеком, который искренне Вас уважал и любил. Вспомните, что шесть лет тому назад мы с Вами стояли на одной почве, и что я этой почвы не переменил; вспомните, что и причины не было переменить почву, потому что в эти шесть лет совершилось то, до чего не доходили самые пламенные наши мечты, вспомните, наконец, что не далее как в Гейдельберге Вы сами в минуты откровенности сознавали, что Вы увлекаетесь личным своим чувством. Взвесьте все это и поймите, что искренний и либеральный человек может не раздражаться так, как Вы, что он в совершонных преобразованиях может видеть ручательство за другие, что мы вовсе не в безвыходном положении, как при „Незабвенном“ [1]; вспомните, что дружное действие людей, одушевленных искренним желанием пользы России, теперь нужнее, нежели когда-либо, и протяните нам руку. Я знаю что в людях известного разряда то положение, которое я принял, возбуждает бог знает какие нарекания. Подлые души понимают только низкие побуждения. Им я отвечаю одним презрением. Не трудитесь против них отстаивать мою честность. Я дорожу мнением только тех людей, которых я сам уважаю, а потому еще раз прошу Вас опомниться. Я апеллирую от Кавелина раздраженного к Кавелину успокоенному, и, зная душу Кавелина, я твердо уверен, что моя апелляция не будет безуспешна.“

Ответа не последовало, и всякие сношения между нами с тех пор прекратились. Шесть лет спустя я встретил Кавелина у постели пораженного ударом Милютина. Во мне воскресли

---

[1] „Незабвенный“—эпитет, который прилагался в официальных кругах к имени Николая I (см. в Воспоминаниях Л. М. Жемчужников ч. II, стр. 109 след.)

воспоминания моего стараго профессора и некогда близкого человека, и я с сердечным чувством обратился к нему с вопросом: не пора ли после столь долгого времени забыть прошлое и протянуть друг другу руку? Но я нашел его кипящим злобою попрежнему. Он объявил мне, что никогда не забудет и не простит нашего поведения в университетской истории. Он, по его словам, вел тогда оппозицию против правительства, а мы эту оппозицию подорвали: им указывали на нас, кололи им глаза нашим стойким поддержанием порядка, и тем лишили их всякой почвы, что и принудило их наконец покинуть университет. Напрасно я представлял ему, что мы в этом вовсе не виноваты, что мы действовали за себя, в виду тех обстоятельств, в которые мы были поставлены, и что результат оправдал наше поведение. Он ничего не хотел слышать и с негодованием отверг протянутую ему руку. Даже о почтенном и тихом Соловьеве отзывался не иначе, как с величайщим раздражением, называя его „попом"—за то, что тот не приехал совещаться с ним об университетском уставе. Я в то время уже забыл, вследствие чего это случилось, но когда я рассказал об этом Соловьеву, тот отвечал: „Да как же мне было к нему ехать после письма его к В. Коршу?" Так кончились многолетние дружеские сношения с одним из любимых моих профессоров. Это один из тех эпизодов моей жизни, о которых я не могу вспомнить без грусти.

Моей репутации крайнего консерватора содействовали также статьи, которые я писал в эту зиму по другому вопросу, волновавшему умы. В это время в Москве происходили совещания дворянства. Освобождением крестьян дворянство было выбито из прежней колеи, ему приходилось уяснить себе, какое оно примет положение при новом порядке вещей. Тут обозначилось двоякое течение. С одной стороны, закоренелые дворяне хотели замкнуться в своих сословных привилегиях, предлагали впредь допускать вступление в дворянство не иначе, как по баллотировке сословием. Главным представителем этого направления в Московском собрании был Николай Александрович Безобразов. Он подавал записки, говорил пламенные речи, являлся рьяным агитатором. К нему примыкал Орлов-Давыдов, человек, весьма недалекий, испол-

ненный не столько дворянского духа, сколько мелких претензий, но колоссально богатый и желавший играть общественную роль. В связи с этими стремлениями были и конституционные поползновения. Прикрываясь мантиею либерализма, вздыхавшие о старых порядках дворяне думали этим способом забрать власть в свои руки и повернуть дело в свою пользу. Они прямо говорили: „это единственное средство связать настоящее с прошедшим“. В этом направлении тут впервые начал выдвигаться звенигородский предводитель Голохвастов, сын бывшего попечителя Московского учебного округа, еще очень молодой человек, вовсе не подготовленный к политической деятельности, но весьма неглупый и обладавший несомненным даром слова. Из этого странного сочетания крепостнических вожделений и конституционного либерализма вышел представленный государю от московского дворянства адрес, который однако был возвращен при рескрипте, объявлявшем подобные заявления незаконными. Истинные либералы, конечно, не могли сочувствовать подобным демонстрациям, а люди более радикального направления требовали совсем другого. Если дворянство, лишившись крепостных крестьян, стремилось к расширению своих политических прав, то с другой стороны вся либеральная печать и за нею значительная часть общества высказывались за полное упразднение дворянства как излишнего отныне политического органа. С уничтожением крепостного права, оно должно было распуститься в земстве, то есть в неустроенной массе.

Среднее положение между этими двумя течениями принял мой старый университетский товарищ и короткий приятель, князь Александр Алексеевич Щербатов, который в то время был верейским уездным предводителем. Я был свидетелем первой речи, которую он произнес в собрании. Когда он встал, я, стоя в публике, слышал вокруг себя скептические восклицания; но как только он начал говорить, все собрание было увлечено. Несколько запинаясь, но с тоном глубокой искренности, он сделал воззвание к стоящей выше сословных интересов любви к отечеству. Он умолял своих сочленов, чтобы они, не отрекаясь от созданного историею государственного положения, не отделялись от других сословий, а протянули им

руку для совокупной работы на общую пользу. Он говорил, что не само дворянство должно возлагать на себя венец, а пусть его возлагают на него другие, видя его ревность к общему делу и его способность быть руководителем общества. Взрыв рукоплесканий встретил эту прочувствованную речь.

С этой минуты Щербатов приобрел выдающееся положение, как один из разумно-либеральных деятелей среди московского дворянства. Он был выбран членом комиссии о дворянских нуждах; его чествовали обедом, на котором присутствовал и я. Тут мне пришлось даже сказать несколько слов по поводу неожиданной выходки Н. А. Жеребцова, который злился на меня за статью о пресловутой его книге: „Histoire de la civilisation en Russie", напечатанную в газете „Le Nord" во время моего пребывания в Париже в 1858 году. Воспользовавшись какою-то сделанною мною журнальною заметкою, он в обеденной речи резко на нее опрокинулся. Вести полемические прения на обеде, данном в честь моего приятеля, было совершенно неприлично, и я ограничился несколькими словами ответа, чтобы не подать повод думать, что я уклоняюсь от вызова. После обеда Щербатов упрекнул Жеребцова в неуместной его выходке; тот признался, что он не мог простить мне моей статьи.

В комиссии Щербатов выступил с предложением о некотором преобразовании дворянского сословия. С освобождением крестьян, очевидно, значительная часть дворянских имений должна была перейти в другие руки. Ему казалось полезным для дворянства, залогом силы и прочности его положения— принятие в свою среду избранной части этих новых землевладельцев. В этих видах он предложил включить в число дворян всех землевладельцев, имеющих не менее 500 десятин и окончивших курс в университете. Он прочел мне записку, которую он хотел представить в комиссию, и я ее одобрил, считая эту меру политическою, способною в будущем упрочить положение дворянства, как в провинциальной среде, так и в общем государственном строе. Вопрос был животрепещущий и важный; желательно было гласное его обсуждение не только в дворянском собрании, но и в печати. Поэтому я не очень противился, когда Н. Ф. Павлов стал уговаривать меня написать об этом статью в его газете.

С 1862 года „Наше Время“ начало выходить ежедневно. В Москве и Петербурге ходили упорные слухи, что Павлов получает субсидии от правительства. Он это отрицал, и я не имею на этот счет никаких достоверных сведений. Знаю только, что если и были даны какие-нибудь субсидии, то его тут же и бросили. Валуев в это время затевал свою „Северную Почту“, которая поглотила огромные деньги, не принеся никакой пользы, а о поддержании охранительного органа он не думал. Павлов в течение первого же года бился из-за денег, искал их направо и налево, и скоро „Наше Время“, за неимением средств, кончило свое существование. При тогдашнем настроении общества издавать журнал в умеренном направлении было очень не легко, да и Павлов, в сущности, был к этому неспособен. При всем своем уме и таланте, он был насквозь литератор, а вовсе не политический человек. К тому же на старости лет ему трудно было преодолеть укоренившиеся привычки лени. Каждая маленькая статейка требовала нескольких дней обдумывания и приготовления. Выносить дело на своих плечах он был не в силах. Зная его, я даже крайне удивился, когда узнал, что он затевает газету, и не верил, чтобы из этого могло выйти что-нибудь путное. В действительности это была чистая спекуляция. Павлов был совершенно разорен, жить было нечем, а, между тем, надобно было содержать довольно многочисленную семью. Он и принялся за издание газеты. Но, зная все это, я, тем не менее, считал своим долгом, насколько мог, поддержать в трудных обстоятельствах старого друга моего отца, человека, которому я сам стольким был обязан. Несмотря на свое решение не писать больше в журналах, я, в виду общественной важности вопроса и личной связи с издателем, склонился на убеждение Павлова и написал в его газете ряд статей о дворянстве.

Отвергая обе противоположные крайности, сословную замкнутость и распущение в массе, я старался доказать, что сословная организация, неуместная в конституционом правлении, в самодержавии имеет существенное значение, что она служит охраною права, опорою и связью рассеянных лиц. Я указывал на то, что русское дворянство создано историею, и что упразднять его в настоящее время нет ни малейшей практической

нужды, тем более, что у нас почти не существует то среднее состояние, которое в других странах выступило ему на смену. Не подлежало, однако, сомнению, что с освобождением крестьян материальная основа дворянства поколеблена, а с тем вместе должна измениться его политическая роль. В этом смысле я поддерживал предложение князя Щербатова, как способное упрочить положение дворянства в стране постоянным пополнением его лучшими землевладельческими элементами. Но, вместе с тем, я высказался против центрального представительства от сословий, полагая, что при современном состоянии России оно может сделаться источником значительных затруднений. „В настоящую минуту,—заключал я, —все мы, русские, от мала до велика, все, кому дорого отечество, должны иметь в виду одно великое дело — освобождение. крестьян. Теперь не место для раздоров, пререканий и требований. Мы все должны подать друг другу руку, чтобы общими силами разрешить этот коренной вопрос для Русской земли Забывая свои частные сетования и потери, мы должны поддерживать власть, которая руководит этим делом. Главная роль принадлежит здесь дворянству... Если оно свято исполнит свое дело, если оно явится достойным своего призвания, оно заслужит вечную благодарность русских людей, и тогда перед ним откроется гораздо более блистательное поприще, нежели то, на котором оно могло подвизаться при крепостном праве.“

Вся русская журналистика ополчилась против моих статей. В Москве не только „День“, но и „Русский Вестник“ ратовали против сохранения дворянства. Одержимый англоманией, вне которой он ничего не хотел видеть и знать, Катков ссылался на то, что английские публицисты находят вредными горизонтальные деления общества, а безвредными только вертикальные, т. е. разделения на партии; как-будто это могло иметь какое-нибудь приложение к тогдашней России, где партии еще не образовались, а сословия выработались историею. Среди самого дворянства выдающиеся люди находили мое направление слишком консервативным. В Петербурге, на одном вечере я встретился с тогдашним губернским предводителем, графом Петром Павловичем Шуваловым, который далеко не принадлежал к числу рьяных либералов. Лицо, которое нас

знакомило, называя меня, сказало: „Un des rares défenseurs de la noblesse“.—„Je trouve, que Monsieur nous défend trop“ [1],—отвечал Шувалов.

При таких нападках, пришлось защищаться и выяснять многое, сказанное вскользь и подававшее повод к недоразумениям. Втянутый в журнальную полемику, я решился вполне высказать свою точку зрения. С этою целью я написал в „Нашем Времени“ статьи: „Что такое среднее сословие?“, „Что такое охранительные начала?“ и „Различные виды либерализма“. Я различал либерализм уличный, который умеет только ругаться, либерализм оппозиционный, который ограничивается одною критикою, и либерализм охранительный, который стремится сочетать свободу с положительными или связующими элементами общества, не держась непременно известной, данной историею организации, а стремясь, по мере изменения потребностей, заменить одну организацию другою, столь же прочною и надежною. „Сущность охранительного либерализма,—писал я,—состоит в примирении начала свободы с началами власти и закона. В политической жизни лозунг его: либеральные меры и сильная власть,—либеральные меры, предоставляющие обществу самостоятельную деятельность, обеспечивающие права и личность граждан, охраняющие свободу мысли и совести, дающие возможность высказаться всем законным желаниям, — сильная власть, блюстительница государственного единства, связующая и поддерживающая общество, охраняющая порядок, строго надзирающая за исполнением закона, пресекающая всякое его нарушение, внушающая гражданам уверенность, что во главе государства есть твердая рука, на которую можно надеяться, и разумная сила, которая сумеет отстоять общественные интересы против напора анархических стихий и против воплей реакционных партий.“

Я с тем большею уверенностью мог становиться на охранительную почву, что в это самое время, как бы в укор бессмысленным порицателям правительства, обнародовались главные основания намеченных реформ, судебной и земской. И об

1 „Один из немногих защитников дворянства“.—„Я нахожу, что он нас даже слишком усердно защищает“.

них я высказался в „Нашем Времени“, приветствуя с радостным чувством эти новые шаги на пути гражданственности и свободы. Но, разумеется, русскому радикальному озлоблению все это казалось ничтожеством.

Наконец, был еще вопрос чисто политического свойства, который я счел необходимым подвергнуть печатному обсуждению. В это время носились упорные слухи о том, что затевается однородное министерство с первенствующим министром во главе. Мне такое учреждение представлялось весьма опасным в самодержавном правлении, где оппозиция не имеет возможности высказываться и действовать, как при конституционном порядке, и где поэтому, с составлением однородного министерства, устраняются уже всякие возражения. Я высказал свои опасения в письме к брату, который, однако, советовал мне не касаться этого вопроса, а если я все-таки решусь о нем писать, то сделать это с крайнею осторожностью, чтобы не задеть некоторых самолюбий. Дело в том, что роль первого министра хотел играть князь Горчаков, который и бил на эту комбинацию. В виду этих предостережений, а также из опасения цензурных урезок, я решился изложить свои мысли в форме исторического исследования, что, конечно, вовсе не соответствовало требованиям газетной статьи. Политические соображения были потоплены в массе фактического материала, это сделало статью неудобочитаемой, но при тогдашних условиях трудно было об этом вопросе писать иначе.

Таким образом, вопреки своему твердому намерению, я силою обстоятельств был вовлечен в журнальные прения. Но это случилось со мною уже в последний раз. Высказавши все, что я имел сказать, я дал себе слово на этом покончить. С тех пор мне доводилось помещать в газетах случайные заметки и даже вступать в мелкие полемики, но никогда уже сколько-нибудь серьезного участия в журнальной работе я не принимал.

Зато газетные статьи привлекли ко мне такое внимание, какого никогда не удостаивались научные труды, встречавшие только общее равнодушие. Когда я, заключив свой курс, поехал перед святою в Петербург—отчасти, чтобы повидаться с знакомыми, отчасти, чтобы проститься с братом, который был

назначен советником посольства в Париж,—я был принят с самою отменною любезностью. У князя Горчакова я обедал несколько раз, и лично он сделал на меня хорошее впечатление. Он был умен, жив, доступен; любя эффектные фразы, он не пересыпал ими разговор, а умел слушать других. Но под этою приветливою внешностью я нашел мало основательного. О внутренних делах он не имел никакого понятия и при этом не добивался дельных сведений, а ограничивался пустыми разговорами. Его жиденький либерализм был в сущности выражением полного отсутствия твердых убеждений. Несомый волною, он мог иногда явиться выразителем истинно национальных интересов, каким он и был в 1863 году, когда, во время польского восстания, на нас ополчилась вся Европа; но точно так же под влиянием случайных побуждений, пошлой угодливости и в, особенности, задетого самолюбия, он мог пожертвовать самыми существенными интересами отечества. Это он и доказал, содействуя страшному усилению Германии, вопреки элементарным требованиям политики, воспрещающей давать слишком усиливаться соседям.

Я представился и министру внутренних дел Валуеву, в котором нашел уж совершеннейшую пустоту. Разглагольствуя о направлении внутренней политики, он, между прочим, отпустил мне такую фразу: „Je m'en tiens au mot de Danton, qui du reste n'est pas mon héros; il faut de l'audace! de l'audace! de l'audace!“ [1]. Передаю буквально слышанное собственными ушами. Зачем Петру Александровичу Валуеву потребна была дантоновская смелость, которою он вовсе и не обладал, которой никогда не выказывал, и которая в сущности ни на что не была нужна, этого я никак не мог понять. Еще менее было мне понятно, каким образом в такую критическую минуту можно было вверять управление Россиею такому пустозвону, к которому, как нельзя лучше, прилагались известные стихи Барбье:

Ces marchands de pathos et ces faiseurs d'emphase
Et tous ces baladins qui dansent sur la phrase [2].

---

[1] „Я держусь слов Дантона, который, впрочем, не мой герой; здесь требуется смелость, смелость и смелость!“

[2] Эти господа, торгующие пафосом и мастерящие воодушевление, все эти фигляры, жонглирующие фразами.

Это, как и многое другое, доказывало, что Россия все выносит и живет не умом государственных людей, а собственною силою и крепостью. По возвращении моем в Москву, ко мне явился наперстник Валуева, маленький Фукс, и стал меня допрашивать, какое впечатление произвел на меня министр внутренних дел. Я, разумеется, отвечал, что самое отличное.

Во время моего пребывания в Петербурге у Елены Павловны был большой вечер, на котором присутствовала вся царская фамилия. Великая княгиня представила меня императрице и Константину Николаевичу, а государь сам подошел со мною разговаривать, что, как водится, привлекло ко мне всеобщее внимание. Если бы мое самолюбие могло удовлетвориться этими лестными знаками милости, то я мог бы быть вполне доволен. Но всему этому я придавал весьма малую цену, будучи уверен в непостоянстве придворной фортуны, и зная, что для приобретения прочного расположения необходимы качества, которых я не имел, да и не желал иметь. Значение имели для меня не мимолетные знаки внимания, а серьезное дело, и я вернулся в Москву с твердым намерением посвятить себя всецело университету и научной работе, где я мог самостоятельным трудом сделать что-нибудь полезное.

К сожалению, в самом университете, после успешного водворения спокойствия единодушным действием профессоров, являлись уже признаки внутреннего разлада, и поднималось дело, которое должно было иметь весьма печальные последствия для университетской жизни.

Наше стойкое положение во время студенческих волнений было главным образом делом молодых профессоров. Этому значительно содействовали наши субботние собрания, на которых мы могли столковаться и обсудить порядок действий. Собирались поочередно у каждого из участвующих. Тут были и некоторые из более старших профессоров, приглашенных с общего согласия: Соловьев, Мильгаузен, из математического факультета Давидов и Лясковский, из медиков Млодзиевский. Среди всех происходивших вокруг нас волнений и возбужденных в обществе вопросов собрания были одушевленные, веселые и дружные. Но старые профессора, не принимавшие в них участия, смотрели косо на этот, как бы замкнувшийся

кружок, который сделался силою в университете. В особенности неприятен он был Леонтьеву, которого честолюбие было направлено на то, чтобы иметь преобладающее влияние в университетской корпорации. Но, по своему обыкновению, вместо того чтобы дружелюбным отношением к молодым профессорам приобрести среди них право гражданства, он вздумал их пугнуть и тем заставить их перед ним преклониться. Вдруг, без малейшего повода, в „Современной Летописи“ „Русского Вестника“ появилась статейка, в которой в самом невыгодном свете описывалось состояние университета и отношение молодых профессоров к студентам. Это была чистейшая гадость, и притом гадость опасная. В то время как брожение между студентами еще не совсем улеглось, а со стороны на нас сыпались всякого рода обвинения, подобная статья, напечатанная в журнале, которого редакция состояла в ближайших отношениях к Московскому университету, являлась подтверждением всех нареканий и могла только усилить волнение. Она была тем коварнее, что все в ней говорилось в общих туманных выражениях, без малейшего указания на какие-либо факты. Многих из нас это возмутило. Когда эта статья была прочтена на одной из суббот, я тотчас сказал, что этого нельзя так оставить, и что надобно требовать удовлетворения. Я тут же набросал проект заметки, которую редакция „Русского Вестника“ должна была от себя напечатать в „Современной Летописи“. Проект был следующий:

„В 49 номере „Современной Летописи“ за прошедший год напечатана статья под заглавием: „Администрация и педагогика“, в которой в самых черных красках изображается состояние наших учебных заведений и в особенности университетов. Редакция до крайности сожалеет, что в статью, помещенную в журнале, за который она ответствует, по ее недосмотру, вкрались обвинения, против которых она должна протестовать всеми силами. Университеты наши, как и все учреждения не безгрешны, они подлежат суду общественного мнения. Но обвинения должны быть доказаны. Обвинения же, оскорбляющие целое сословие и лишенные всяких доказательств, недостойны литературы. Состоя в ближайшей связи с университетом, редакция знает по опыту, сколько в означенном

изображении преувеличенного и неверного, а потому покорнейше просить читателей не считать ее солидарною с автором этой статьи".

Этот проект был предъявлен Леонтьеву, но он наотрез отказался напечатать какое бы то ни было извинение. Тогда мы решили послать ему коллективное письмо. Тут, однако, между молодыми профессорами оказался значительный разлад. Редакция „Русского Вестника" имела между ними рьяных приверженцев. Таков был профессор физики Любимов, человек не лишенный дарования, но самый совершенный тип пресмыкающегося, какой я встречал в жизни. Он весь был погружен в материальные интересы и ничего другого не понимал: поесть, пожуировать и получать побольше денег, — такова была для него вся цель существования. От редакции „Русского Вестника" он имел хорошее вознаграждение за журнальные работы и был ее покорным орудием, преданным ей телом и душою. Другой клеврет был недавно поступивший на кафедру гражданского права Никольский, человек ограниченный, бездарный, грубый и подлый. Он был постоянным наперстником и прислужником декана юридического факультета Баршева, которого мы звали нашей игуменьей, а вместе с тем он состоял в близких отношениях к редакции „Русского Вестника", которая сделалась центральным притягательным пунктом для старых профессоров и старалась вербовать между молодыми. Нашлись и другие, которые не желали разрывать с редакциею, а потому уклонились от подписи коллективного письма.

У меня в бумагах сохранился следующий документ с подлинными подписями:

„Мы, нижеподписавшиеся, возмущенные клеветами, помещенными в 49 номере „Современной Летописи", и имея в виду отказ профессора Леонтьева дать товарищам должное удовлетворение, считаем такой поступок недостойным товарища и профессора Московского университета". Подписали: К. Рачинский, Бабст, Соловьев, Ешевский, Чичерин, Мильгаузен, Дмитриев, Борзенков, Бредихин.

Имена таких людей, как Соловьев, которого только оскорбленное нравственное чувство могло заставить отступить от примирительного способа действий, и Мильгаузена, которому

всякий резкий поступок был противен, показывают, что дело действительно было возмутительное. Однако подписей было слишком мало для того, чтобы эта совокупная демонстрация могла иметь желанное действие. Мы решили перенести дело в Совет. Я взял это на себя. В ближайшем заседании Совета я сказал, что считаю долгом обратить внимание Совета на те клеветы, которым подвергается университет со стороны органов печати, стоящих к нему в близких отношениях, клеветы особенно опасные после недавних волнений, при неспокойном еще состоянии умов. Я прочел вслух статью „Современной Летописи“ и затем характеризовал ее, как изменническое нападение на товарищей, не в лицо, а сзади, в виде таинственных намеков, без приведения каких-либо фактов, которыми могло бы подкрепляться такое строгое осуждение. Присутствовавший тут Леонтьев заявил себя оскорбленным, пытался кое-как оправдаться и пробовал даже обратить дело против меня. Но содержание статьи было таково, что поддержки он не нашел. Сколько помнится, Совет не сделал никакого постановления, но Леонтьев перестал ходить в заседания.

Однако же, такое положение слишком противоречило его интересам, и он решился итти на сделку. Несколько месяцев спустя он написал ректору письмо, в котором заявлял, что он не может исполнять своих профессорских обязанностей, вследствие того, что он в Совете подвергся оскорблению, и это сделало для него участие в заседаниях невозможным. Ректор А. А. Альфонский взялся уладить это дело. Он приехал ко мне и просил, как личное ему одолжение, чтобы я взял свои слова назад. Я сказал, что хотя мои слова совершенно верно характеризуют поступок, но я готов на примирение, только нужно, чтобы Леонтьев сделал первый шаг. В настоящее время нет никакой надобности снова поднимать этот вопрос в печати, но если Леонтьев извинится перед Советом, то я обещаю взять назад свои слова. Так и было сделано; Леонтьев пришел в Совет; перед началом заседания, он подошел ко мне и спросил: возьму ли я свои слова назад, если он скажет, что статья появилась по оплошности редакции, которая весьма об этом сожалеет. Я протянул ему руку и мы поцеловались. Дмитриев уверял даже, что он видел, как Леонтьев воспользовался

этим случаем, чтобы меня ужалить прямо в щеку. Внешнее примирение состоялось, но таившаяся в душе злоба не исчезла, как мне передавали впоследствии с его собственных слов; он дожидался только случая, чтобы отомстить. После восстановления его отношений к Совету, некоторые из его приверженцев пытались ввести его в наши субботние собрания. Между прочим, Давидов, в то время декан математического факультета, спрашивал меня: „Отчего между нами нет Леонтьева?“ Я отвечал: „Вы по этой истории можете видеть, что́ такое Леонтьев; если только ввести его в наши собрания, они примут совершенно другой характер. Теперь мы ведем дружескую, непринужденную беседу, тогда все пойдет в разлад“. После этого никто его не предлагал. Но отсутствие его на наших собраниях не помешало распадению плохо сплоченного кружка. Не участвуя в них лично, он делал все, что от него зависело, чтобы поселить раздор между молодыми профессорами, и в этом он успел совершенно. Поводом послужило дело об аренде „Московских Ведомостей“.

В то время „Московские Ведомости“ издавались от университета, который получал и весь доход с газеты. Бывший редактор, Валентин Федорович Корш, в этом году взял на аренду „Петербургские Ведомости“ и уехал из Москвы. На его место был назначен Бодянский. Это был косолапый медведь, и вместе хитрый хохол, своеобразный, своенравный, нелепый и пошлый. В редакторы газеты он совершенно не годился, и самая материальная часть шла у него, бог знает как. Подписка убывала, и доходы уменьшались. Очевидно было, что так дело итти не может. В Совете было предложено рассмотреть положение „Московских Ведомостей“. Выбрана была комиссия, председателем которой был Соловьев, а я докладчиком. Разобравши все счета и документы, мы пришли к убеждению, что хозяйственная часть идет безобразно. С другой стороны, мы убедились, что при новом положении ежедневной печати, при том политическом значении, которое она получила, ученой корпорации невозможно брать на себя ответственность за издание. Отдача на аренду „Петербургских Ведомостей“ служила для нас примером, и мы предложили Совету сделать то же самое и с „Московскими“. Бодянский пытался

защищать свое управление; но ему цифрами была доказана вся несостоятельность его доводов. Совет принял предложение комиссии. В газетах было объявлено, что „Московские Ведомости“ сдаются на аренду, и что желающие их взять могут предъявить свои условия.

Осенью поступило несколько заявлений, из которых наиболее выгодные были, с одной стороны, от Каткова и Леонтьева, с другой—от Бабста и Капустина. В отношении платы и условий разницы было мало, так что университету приходилось руководствоваться более нравственными соображениями и степенью доверия к лицам. Как редакторы, Катков и Леонтьев были бесспорно выше Бабста и Капустина. Бабст был человек образованный и даровитый, с большими сведениями по экономической части, но шаткий в мыслях и характере. Он то восставал без малейшего основания против всего, что ему казалось резким, то вдруг сам прорывался с какой-нибудь резкою выходкой, совершенно некстати. Капустин не был так даровит, как Бабст. Обладая необширным умом, но большими сведениями по юридической литературе, он в своем образе мыслей представлял какую-то бесцветную жижицу, а характера был самого мягкого и обходительного. Ни тот, ни другой авторитетом между профессорами не пользовались и своей редакторской способности не проявляли; тогда как их соперники имели за себя долговременную редакторскую деятельность, увенчавшуюся успехом. Катков в прежнее время был уже редактором „Московских Ведомостей“ и тут выказал себя с выгодной стороны. Против них было одно: передать им в аренду „Московские Ведомости“ значило отдать всю московскую журналистику в руки людей, которые не терпели чужого мнения, разогнали всех сколько-нибудь независимых сотрудников и проводили свои личные, крайне однообразные взгляды. „Наше Время“ очевидно не могло продержаться; газета Аксакова [1] была чисто славянофильская и ничего кроме пустой болтовни в себе не содержала. Получив „Московские Ведомости“ в дополнение к „Русскому Вестнику“, Катков и Леонтьев остались бы единственными органами общественного мнения в Москве.

[1] „День“.

Какого рода услуга была оказана этим русской литературе и обществу, об этом можно спорить. Но насчет последствий Это вообще не могло быть желательно, а при свойствах редакторов в особенности. Но для того, чтобы им противодействовать, надобно было подготовить почву в Совете, а об этом никто не думал. Мне, конечно, менее всего подобало об этом хлопотать. Лично я в этом деле вовсе не был заинтересован. Высказав в ряде статей свои взгляды на настоящее положение, я решил устраниться от дальнейшей журнальной деятельности и не хотел даже подавать вида, что я хлопочу о приобретении органа для себя. Но и те, которые затевали предприятие, ничего не делали, чтобы заранее обеспечить себе успех. На субботах ни разу не поднимался об этом вопрос; как-будто избегали даже о нем говорить, чтобы не возбудить пререканий. С противной стороны, напротив, были пущены в ход все средства. В интригах редакция „Русского Вестника" была великий мастер, и все было ею старательно подготовлено для достижения цели. Старые профессора и без того к ней примыкали; теперь она всеми силами хлопотала о том, чтобы перетянуть к себе возможно бо́льшее число молодых. Бабст и Капустин являлись в этом случае как бы представителями последних; но они имели за себя только часть собиравшегося по субботам кружка. Когда к концу года дело поступило, наконец, в Совет, оно было уже заранее решено. Против Каткова и Леонтьева говорил я один. Я представил односторонность их направления, их нетерпимость к независимым мнениям, сказал, что желательно, чтобы в Москве были органы с различным направлением. Но для большинства Совета, состоявшего из математиков и медиков, такие доводы были весьма мало убедительны. Им, в сущности, было даже совершенно непонятно различие оттенков либерального направления. Мне возразили, что если редакторы „Русского Вестника" разогнали своих сотрудников, то тем более делает им честь, что они выносят издание на своих плечах. Никольский с большим жаром говорил в их пользу. Бодянский его поддержал, сказавши, что он знал Каткова, как редактора „Московских Ведомостей", и привык его уважать. Другие говорили в том же смысле. С нашей стороны не раздался ни один голос, который бы меня поддержал. Я увидел, что дело проигран-

ное, и не стал настаивать. Значительным большинством голосов „Московские Ведомости“ были переданы Каткову и Леонтьеву. этого шага для внутренней жизни университета едва ли возможно сомнение. Можно утвердительно сказать, что этим роковым решением Московский университет сам наложил на себя руку. В нем водворился разлагающий элемент, который видел в университете только орудие личных целей и употреблял все средства для устранения всего, что могло препятствовать их достижению. И чем талантливее издавались „Московские Ведомости“, чем большую силу редакция приобретала в правительстве и обществе, тем губительнее была ее деятельность в отношении к университету. Сначала вытеснены были все независимые люди, и редакция, повидимому, воцарилась уже без всяких преград; когда же затем покорное большинство, не вытерпев тяготеющего над ним деспотизма, взбунтовалось и забаллотировало Леонтьева, начался против университетов наглый поход, который привел, наконец, не только к отмене устава 1863 года, но и к уничтожению всех корпоративных прав и всякой внутренней независимости. По мановению Каткова, университеты подверглись полному разгрому.

После такого исхода дела об аренде „Московских Ведомостей“, разумеется, о единодушном действии молодых профессоров не могло быть более речи. Между нами оказался глубокий разлад. Самые субботние собрания прекратились. Но этого перелома я не видал. В конце 1862 года я поехал в Петербург, куда был вызван для преподавания наследнику.

ЗАНЯТИЯ И ПУТЕШЕСТВИЕ С НАСЛЕДНИКОМ

Летом 1862 года я получил от графа Сергея Григорьевича Строганова, бывшего в то время попечителем наследника Николая Александровича, следующее характеристическое для него письмо:

„Милостивый Государь, Вы не удивитесь, если в стремлении к добросовестному исполнению своего долга и в надежде на успех, я ищу приблизить к государю наследнику людей, которых считаю наиболее способными содействовать успехам его занятий, и отдаю предпочтение тем, кто своим заслуженным авторитетом может лучше других способствовать нравственному его развитию. Будучи исполнен чувства доверия и уважения к Вашим первым опытам университетского преподавания, я предлагаю Вам, Милостивый Государь, не отказать принять на себя чтение курса государственного права е. и. в. наследнику-цесаревичу. Согласно программе его занятий, курс этот намечен на первый триместр 1863 г. Молодой великий князь прошел в прошлом году курс энциклопедии права с профессором Андреевским; в настоящем году он студирует гражданское право с г. Победоносцевым.

„Если Вы согласны на мое предложение, я снесусь с Вами относительно утверждения программы, которую Вы составите. Считаю нужным Вас уведомить, что при прохождении государственного права часть времени должна быть посвящена изучению английской конституции и французского административного строя.

„В случае, если бы какие-либо личные причины не позволили Вам дать положительный ответ, я просил бы Вас оставить

между нами настоящие переговоры, о которых я сообщил только отцу молодого человека“ [1].

Мне уже не в первый раз делались подобные предложения. Еще в 1859 году, до назначения графа Строганова попечителем наследника, когда после отставки Титова не знали куда обратиться, я за границею получил письмо от баронессы Раден, которая от имени великой княгини Елены Павловны спрашивала меня: не возьму ли я на себя руководить занятиями великого князя? Тогда я отвечал решительным отказом, говоря, что, при моей полной неопытности в деле преподавания, я не могу взять на себя руководство чьими бы то ни было занятиями, а тем более наследника русского престола. И теперь я чувствовал себя мало подготовленным к этому делу. В университете я прочел всего только один курс, и то краткий содержавший в себе большею частью только историю политических учений. Подробный курс государственного права, какой от меня требовался, далеко еще не был у меня выработан. Тем не менее, при скудости наших ученых сил, я не счел возможным отказаться и отвечал графу Строганову, что, несмотря на некоторые опасения за достаточную свою подготовленность, я постараюсь сделать, что могу.

Выше я уже говорил, что первоначальное воспитание наследника оставалось в непростительном пренебрежении [2]. Бывший при нем воспитатель Н. В. Зиновьев, несмотря на то, что он был директором Пажеского корпуса, сам не имел никакого образования и, повидимому, не считал даже нужным дать надлежащее умственное развитие вверенным ему питомцам. С своей стороны, родители не заботились о восполнении этого пробела. В младенческие годы эта забота, конечно, должна была лежать на матери, и в этом отношении русское общество возлагало все свои надежды на императрицу Марию Александровну. Она не любила ни светской жизни, ни роскоши, ни нарядов, не требовала этого от других и сама одевалась просто и жила уединенно. В этом отношении она представляла резкий контраст с своею предшественницею, Александрой Федоровной. Когда посторонним удавалось иногда видеть ее еще великою

[1] Письмо приведено в подлиннике на французском языке.

[2] В главе VII „Воспоминаний“.

княгинею, скромно одетою и окруженною детьми, она производила самое отрадное впечатление. Говорили, что она вся погружена в семью и занимается исключительно воспитанием детей. Впоследствии оказалось, что ожидания были напрасны.

Императрица Мария Александровна бесспорно была женщина умная, образованная и с возвышенным характером. Воспитанная в скромной доле, она с первого раза привлекла к себе внимание тогдашнего наследника Александра Николаевича, когда он поехал за границу отыскивать невесту. Сделавшись его женою, она не возгордилась и перенесла на престол привычки своей уединенной молодости. Будучи характера несколько холодного и сдержанного, она не обладала той приветливостью, которая имеет дар обворожать сердца, но общественную свою роль она играла умно и с большим достоинством, а в тесном кругу она была чрезвычайно приятна. Разговор у нее был умный, тонкий, живой, в сношениях проявлялась мягкость и обходительность. Окружающие ее любили, а некоторые из детей, в том числе старший, относились к ней особенно нежно. Но все эти высокие качества подрывались одной чертой, которая парализовала их в самом корне. У нее была изумительная инерция, которая делала ее неспособной к какой бы то ни было деятельности. Выйти из обычной колеи было для нее подвигом, стоившим неимоверных усилий. Я слыхал об этом разные характеристические анекдоты. Так, в виде иллюстрации, баронесса Раден рассказывала мне, что однажды она была у императрицы с великою княгинею Еленою Павловною. Выходя оттуда, они прошли мимо залы, где выставлены были разные картоны, и господин в мундире расхаживал как бы в ожидании посетителей. Оказалось, что это были снимки с древних византийских икон, привезенные с Афона Петром Ивановичем Севастьяновым. Великая княгиня, с своим пылким нравом, с своим живым интересом ко всяким проявлениям мысли, тотчас этим заинтересовалась и провела целый час в осмотре этих копий. Тут же посетительницы узнали, эти снимки были выставлены во дворце вследствие желания императрицы, которая от кого то слышала о путешествии Севастьянова на Афон и при свойственной ей ревности к православию захотела видеть привезенные им

образцы. И вот уже десять дней они стояли в залах Зимнего дворца, и каждый день с утра до сумерек несчастный Севастьянов в мундире ожидал посещения императрицы; каждый день императрица проходила мимо залы, но не находила удобной минуты, чтобы взглянуть на снимки. Тогда великая княгиня взялась устроить это дело. Она вернулась к императрице и так живо представила ей весь интерес выставки, что посещение, наконец, состоялось, и Севастьянов был отпущен[1].

Еще поразительнее то, что мне рассказывала Анна Федоровна Аксакова[2]. В Ницце, во время последней болезни наследника, но еще до окончательного кризиса, императрица жила на villa Bermond и каждый день навещала сына после катанья. Случилось, однако, что он почувствовал себя несколько хуже и именно в эти часы стал отдыхать. Императрица выразила Анне Федоровне, как ей досадно, что она всегда заезжает в то время, когда он спит, и сколько дней уже она не может его видеть.—„Да отчего же Вы не поедете в другой час?“, спросила та. — „Нет, это мне неудобно“, отвечала императрица. И это был любимый сын, который сам с нею сблизился и жил с нею душа в душу. Мне рассказывали, что однажды, еще будучи ребенком, он взял свои игрушки и пошел играть в комнату матери. С тех пор она его особенно полюбила, по его, а не по ее инициативе.

При такой инерции, забота о воспитании детей, требующая постоянного и неусыпного внимания, конечно, отходила на второй план. И в этом отношении я слышал характеристические анекдоты. Князь Николай Иванович Трубецкой рассказывал мне, что однажды, приехав в Петербург, он отправился представляться во дворец. Ему сказали, что государь на экзамене младших детей. Из этого он заключил, что если государь, обремененный делами, присутствует на экзамене, то императрица подавно там; но так как он уже напялил мундир

---

[1] Характеристику императрицы Марии Александровны, сделанную Б. Н. Чичериным, интересно сравнить с характеристикой, принадлежащей перу А. Ф. Тютчевой (А. Ф. Тютчева. „При дворе двух императоров“, вып. I, стр. 76—81).

[2] Урожденная Тютчева. См. предыдущее примечание.

и приехал во дворец, то он пошел к ней расписаться. К крайнему его удивлению, ему сказали, что императрица принимает, и пока он у нее сидел, пришел государь и стал рассказывать об экзаменах.

Но тут все-таки проявлялось какое-либо участие. Это было уже в позднейшую пору, когда догадались, наконец, что без учения детей оставлять нельзя. К начальном уже воспитанию наследника небыло приложено даже и этой заботы. Он был уже взрослым мальчиком, а, между тем, ровно ничего не знал. Тогда только спохватились, что так продолжаться не может, и состоявший при нем Зиновьев был уволен; назначили Титова. Я уже сказал, как добрейший Владимир Павлович, лишенный всяких педагогических способностей, разом завел преподавание высших наук, когда надобно было начинать едва ли не с азбуки. Попытка вышла неудачная. После отставки Титова решились взять бывшего преподавателя великого князя Константина Николаевича—Гримма. Как настоящий немец, он начал с начала и в год-другой успел сообщить молодому человеку, по крайней мере, элементарные сведения, которые давали ему возможность, при некоторых способностях, слушать высшие курсы. Серьезные занятия начались, когда наследнику минуло 16 лет, и попечителем к нему назначен был граф Строганов.

Нельзя было сделать лучшего назначения. Из всех высокопоставленных лиц, между которыми предстоял выбор, граф Строганов был единственный человек, не только вполне просвещенный, но и с живым интересом к преподаванию, и притом с характером, способным внушить к себе уважение и приобрести нравственный авторитет над умом впечатлительного юноши. Пребывание его попечителем Московского учебного округа оставило по себе яркий след. Он знал всех преподавателей и довольно верно умел их ценить. Как только он вступил на свою новую должность, он с жаром принялся за свое дело, которое приходилось ему по сердцу, и которому он отдал всю свою душу.

К наследнику были приглашены лучшие профессора из Петербургского и Московского университетов: из Петербургского—Андреевский и Стасюлевич, из Московского—Соловьев, Победоносцев и Бабст. Из Троицкой академии вызван был

Кудрявцев для преподавания истории философии, которую граф Строганов считал необходимым элементом серьезного образования. Победоносцев и Бабст сопровождали наследника в летних путешествиях по России, предпринимавшихся ежегодно с целью ознакомить царственного юношу с страною, которою он призвал был управлять. Подобные путешествия были в обычае и в прежнее время, но приглашение в свиту ученых было нововведением. Победоносцев должен был объяснять учреждения, Бабст экономическое состояние края. Не забыта была и художественная сторона, которою граф Строганов особенно интересовался. По этой части с ними путешествовал Боголюбов.

В начале сентября 1862 года вся эта кампания уже на обратном пути приехала в Москву. Графу Строганову очень хотелось, чтобы наследник посетил некоторые университетские лекции. Но после недавних историй опасались каких-нибудь демонстраций со стороны студентов, а потому он с горестью отказался от этого предположения. Нас всех, прежних и приглашенных вновь преподавателей, собрали на обед, где я в первый раз увидел своего будущего слушателя. Он произвел на меня самое выгодное впечатление. Высокий, стройный, красивый, при этом умный, живой и приветливый, он мог очаровать и привязать к себе тех, кто к нему подходил. Вся окружающая атмосфера дышала каким-то задушевным и возвышенным строем. Чуждый всяких претензий и не любя пошлости, граф Строганов всегда заводил разговор о предметах серьезных, а тут было кому его поддержать. Беседа была живая и непринужденная; рассказывали о своем путешествии, о том, что видели и слышали. Я уехал исполненный светлых надежд на будущее.

Тут же я представил графу Строганову свою программу. Он вполне ее одобрил, и в конце декабря я переехал в Петербург, чтобы с января начать уроки.

Программа была в сущности та же самая, которой я следовал в университетских лекциях, хоть я и не надеялся всего исполнить в один семестр. Я начинал с истории политических учений, которую я считал необходимым введением в курс государственного права, затем я переходил к общему государ-

ственному праву и заключал политикою, предупреждая, впрочем, что в полгода я едва ли успею дойти до последней, как и оказалось на самом деле. Уроки назначены были по три раза в неделю, по часу. Это были изустные лекции, но я заранее писал их и оставлял тетради наследнику для повторения. Неизменным посетителем был граф Строганов, который не раз выражал мне свое одобрение. Всегда присутствовал и состоявший при наследнике Рихтер. Раза два-три приходила императрица, которая, заинтересовавшись со слов великого князя моим преподаванием, пожелала меня послушать.

После нескольких лекций, граф Строганов объявил, что надобно сделать репетицию. Я сказал наследнику, чтобы он приготовился по моим тетрадям к назначенному дню и собственными словами рассказал бы мне вкратце все доселе прочитанное. Задача была нелегкая. Изложить кратко и ясно целый ряд учений, большею частью с философским содержанием, не всегда под силу даже не совсем дюжинному уму. Любой студент над этим бы призадумался. А, между тем, великий князь исполнил это так отчетливо, последовательно и даже изящно, что ничего лучшего нельзя было желать. И я и присутствовавший при репетиции граф Строганов остались в полном восторге. Мы тут же с радостным чувством поздравили друг друга. То же впечатление произвели на нас и другие репетиции. Самые отвлеченные мысли, категорический императив Канта, философское учение Гегеля, легко усваивались даровитым юношей, которого природные способности и восприимчивый ум восполняли недостаток первоначального обучения.

Одно, чего я не мог добиться, это—чтения. Я говорил и великому князю, и графу Строганову, что для образования ума мало одних лекций, необходимо прочесть, по крайней мере, важнейших политических писателей. Но придворная жизнь и в особенности беспрерывные парады и смотры налагали неодолимое препятствие всяким постоянным занятиям в этом роде. Даже граф Строганов ничего тут не мог поделать. Я убедился, до какой степени полезно немецким князьям пребывание в каком-нибудь провинциальном университете, где ничто не мешает занятиям, и где несколько лет юности могут быть плодотворно посвящены умственному труду. Живя в Петер-

бурге, среди придворного водоворота и военных упражнений, это решительно невозможно. Великий князь успел прочесть кое-что из Макиавелли, который произвел на него сильное впечатление, но до Монтескье, а еще более до новейших писателей он не добрался. Я, впрочем, не отчаивался, что со временем найдется свободное время и для более усидчивого чтения, тем более, что с окончанием лекций наши сношения не прекратились. При прощании граф Строганов сказал мне, что на следующий год наследник предпримет путешествие за границу, и он надеется, что я не откажусь ехать с ними.

Погруженный в свое преподавание, готовя не только каждую отдельную лекцию, по мере того, как я их читал, но и часть будущего курса, еще не читанного в университете, я мало посещал петербургское общество. Но меня заинтересовали открывшиеся в то время заседания петербургского дворянского собрания, на которых обсуждались животрепещущие вопросы дня, в особенности предполагаемое устройство местного управления. В первый раз в России я видел чисто парламентскую обстановку. Губернский предводитель, граф Петр Павлович Шувалов, председательствовал отлично. Каждый оратор, в свою очередь, выходил на середину залы, говорил свою речь, не прерываемый никем, и все шло так чинно и стройно, что можно было только любоваться этою вовсе не обычною в наших дворянских собраниях процедурою. Но под этими строго парламентскими формами скрывалась крайняя бедность и талантов и содержания. В Москве было несколько человек, которые умели хорошо говорить: Юрий Самарин, Черкасский, Голохвастов; в Петербурге все ораторы, которых мне довелось слышать, царскосельский предводитель Платонов, Андрей Шувалов, Григорий Щербатов, Орлов-Давыдов, Николай Михайлович Орлов, бывший калужский губернатор Смирнов, были ниже посредственности. Самое содержание речей далеко не искупало недостатка формы. Когда люди знакомые с практическим делом обсуждают какой-нибудь жизненный вопрос, прения получают интерес помимо всякого красноречия. Здесь же все ограничивалось тою неопределенною фразеологиею, к которой прибегают ораторы, в сущности не

знающие, чего хотят. В то время петербургское дворянство, так же, как московское, представляло в себе то странное сочетание дворянских притязаний и напускного либерализма, которое составляло довольно естественную принадлежность людей, внезапно выбитых из обычной колеи и недоумевающих, куда им итти. Между тем как большинство провинциального дворянства, примирившись с своею судьбою, работало на месте, приводя в исполнение „Положение 19 февраля“ и стараясь, по возможности, устроить свой хозяйственный быт, столичные дворянства волновались по-пустому и становились в оппозиционное отношение к правительству, освободившему крестьян. Они домогались каких-то прав, но не сознавали ясно ни своих целей, ни своего положения. Отказ государя принять адрес московского дворянства, просившего земского собора, подействовал несколько отрезвляющим образом. Петербургское хотело держаться строго законной почвы; но тогда уже исчезал всякий повод к оппозиционным выходкам. Самодержавное правительство производило одну либеральную реформу за другою. Судебные уставы, земские учреждения, городовое положение могли удовлетворить русское общество. Истинно либеральным людям оставалось только поддерживать правительство всеми силами в его благих начинаниях. Можно было не соглашаться с теми или другими частностями, желать того или другого улучшения, но добиться этого было гораздо легче, оказывая поддержку правительству, одушевленному желанием блага, нежели становясь к нему в систематическую оппозицию. Поэтому дворянские стремления того времени, какою бы мантиею они ни прикрывались, в какой бы форме ни выражались, не могли найти сочувствия в людях, серьезно смотревших на положение России. Это было либеральничанье в пустоте, которое должно было остаться бесплодным.

Эти бесцельные стремления были тем менее уместны, что в то время уже выдвигался вопрос, который должен был иметь решающее значение для всего нашего общественного развития. В Польше вспыхнуло восстание.

Оно подготовлялось давно. Горючие материалы, накопленные долгим гнетом николаевского царствования, были здесь гораздо значительнее, нежели в России. Неудовольствие под-

держивалось и усиливалось во всяком патриотическом сердце ненавистью к иноземному владычеству. Когда с новым царствованием гнет ослабел, и суровый деспотизм заменился мягкою снисходительностью, поляки воспользовались этим для достижения своих целей. Начались уличные демонстрации, перед которыми слабые местные власти оказались бессильными. В Польше водворилась анархия. Тогда правительство, уступая обстоятельствам, решилось поставить во главе управления польского магната, человека с сильным умом и крепкою волею, который брался сдержать движение, удовлетворив разумным требованиям поляков, относительно местного самоуправления. То был маркиз Велиопольский. Но безрассудно увлекающийся характер народа парализовал все его намерения. Разгоряченные первоначальною удачею уличных демонстраций, поляки вообразили, что они этим путем могут достигнуть всего. Маркиз Велиопольский стоял один между аристократическою партиею, которая мечтала о восстановлении старой Польши, и революционною пропагандой, которая действовала на народ, побуждая его к восстанию. Земледельческое общество под предводительством Андрея Замойского было центром агитации, которая старалась всеми мерами противодействовать Велиопольскому. Наконец, оно издало манифест, в котором открыто заявляло о восстановлении границ 1772 года, т.-е. о возвращении издревле русских областей, от которых Россия никогда не могла отказаться. Пришлось закрыть аристократическое общество. С своей стороны революционная партия действовала неутомимо. Чтобы покончить с нею, Велиопольский решил посредством внезапно объявленного рекрутского набора забрать всех главных вожаков. Это было сигналом к восстанию. Революционная партия решилась его предупредить. Не имея войска, не будучи в состоянии явно противостоять русскому оружию, она повсюду организовала шайки, нападавшие врасплох на русских солдат и людей. Действуя кинжалом и виселицей, она распространяла неслыханный террор и этими средствами успела захватить страну в свои руки. Скоро в Петербург пришли известия, что не только Польша, но и Литва объяты пламенем. Официальные власти оказались бессильными; тайное правительство делало, что хотело.

Вся Россия встрепенулась. Каковы бы ни были различия мыслей, когда дело шло об отечестве, русские люди всех сословий и оттенков единодушно столпились вокруг престола. Собранное в это время петербургское дворянство первое подало патриотический адрес. Затем пришли адресы из Москвы и, наконец, из провинций. Одушевление было всеобщее. Глашатаем этого охватившего всех движения сделался Катков, который через это приобрел необыкновенную силу. Это был набат, гремевший во все колокола и призывавший всех на защиту отечества. Даже в Петербурге, где он менее всего пользовался популярностью, статьи его принимались с восторгом и возбуждали общее одобрение. И наследник и граф Строганов с живым сочувствием читали „Московские Ведомости". То же впечатление они производили и на меня. Относясь вообще очень недружелюбно к этой газете, имея весьма невысокое понятие о нравственных свойствах ее редактора, я не мог не отдать справедливости силе таланта, выражавшейся в этих красноречивых воззваниях, полных патриотического огня. Конечно, политического смысла в них было мало. Не предлагалось ни одной практической меры, не высказывалось ни одного трезвого взгляда. Я пришел даже в негодование, увидав, что в самом пылу борьбы, в то время как Россия была вся расшатана, а Польша находилась в полной анархии, Катков весьма прозрачными намеками указывал на решение польского вопроса дарованием общей конституции обеим странам. Но эти случайно брошенные политические мысли исчезали в общем возвышенном патриотическом строе, который как нельзя более отвечал потребностям минуты. Смешно, конечно, считать Каткова зачинателем этого движения, которое само собою возникло с неудержимою силою из глубины русских сердец; еще нелепее видеть в нем спасителя отечества; но нет сомнения, что во время польского восстания он был самым видным органом общих чувств, так же как Сергей Глинка в двенадцатом году.

Я никогда не был врагом Польши. Напротив, я всегда думал и думаю, что Россия поступила с нею с возмутительною несправедливостью. Отнять у людей самое дорогое, что есть на свете,—отечество, всегда составляет преступление про-

тив высших нравственных требований, вытекающих из святыни человеческого духа и одинаково обязательных для отдельных лиц и народов. Когда же кинжал вонзается в сердце брата, поступок становится еще более вопиющим. Ссылка на историю, которая будто бы произнесла свой приговор, есть не более, как пустозвонная фраза, которою прикрывается внутренняя неправда. Эту историю сочинили мы сами; дележ был актом насилия, который тем менее может быть оправдан, что он был совершен не в пылу борьбы, а обдуманно и хладнокровно, пользуясь слабостью соседа. Высказанная Пушкиным мысль, что это домашний старый спор славян между собою, в котором Прага явилась отместкою за Кремль, подобно тому, как взятие Парижа было ответом на взятие Москвы, представляет только поэтическую фантазию, лишенную исторической подкладки. Борьба, действительно, была в старину, но в конце XVII века был заключен вечный мир, а с тех пор Польша не только с нами не враждовала, а, напротив, являлась нашей постоянною союзницею. В Северную войну, которая положила основание величию России, она в течение нескольких лет принимала на себя все удары шведов, давая нам возможность собраться с силами, и когда прусский король Фридрих-Вильгельм сообщил Петру Великому проект раздела Польши между могучими соседями, Петр отвечал ему дружеским советом не вступать в такие планы, ибо они противны богу, совести и верности, заявляя, что сам он не только никогда на это не согласится, но будет помогать Речи Посполитой против всех, кто войдет в эти виды [1]. Поведение Екатерины не оправдывается тем, что присоединенные ею без малейшего права области были искони русские. Эти области не сами ей отдались, как Малороссия, которая была законным приобретением московских царей. Екатерина искала вознаграждений после войны с Турцией, а так как ей не дозволяли округлить свои владения на счет Оттоманской Порты, то она решилась среди полного мира поделить чужие земли с беззастенчивыми соседями, которые искали только случая, чтобы обобрать сла-

---

1 Соловьев. История России, XVII, стр. 373, 392. Прим. Б. Н. Чичерина.

бейших. Это был разбой, учиненный среди белого дня, в виду всей Европы. Я не мог без внутреннего возмущения читать в записках Сиверса[1] повествование о Гродненском сейме, на котором поляки, путем подкупов, страха и, наконец, вооруженного насилия, принуждались подписать свой собственный смертный приговор. Никогда злоупотребление силою и презрение ко всему человеческому не достигали такой степени цинизма. Бесспорно, поляки своим легкомысленным поведением, анархическим своеволием наверху, угнетением внизу,—сами были причиною своей слабости и подготовили свое падение. Но нет сомнения также, что когда они хотели исправлять несовместные с крепостью государства учреждения, их не допускали до этого те же своекорыстные соседи, которые, присвоив себе путем насилия гарантию чужой конституции, намеренно требовали ее сохранения, зная, что она служит источником неисцелимой слабости.

Если коварная политика Екатерины возбуждала во мне негодование, то я с тем большим сочувствием взирал на человеческие стремления Александра I, который со всем пылом благородной души возмущался против раздела Польши и мечтал о том, чтобы загладить учиненную бабкою неправду. Я не мог без сердечного умиления читать рассказ о беседах его с Чарторыжским[2], перед которым царственный юноша изливал свои заветные думы и в котором он приобрел преданного друга. Восстановление Польши, с свободными учреждениями, под скипетром русского царя, сделалось любимою его мечтою, и он успел, наконец, осуществить эту мечту, не взирая ни на какие сопротивления и на возражения собственных советников, ставши после падения Наполеона главным распорядителем судеб Европы. Для поляков такое настроение русского монарха было неоцененным даром судьбы. Они не только получили

[1] Автобиография Сиверса целиком не напечатана. Б. Н. Чичерин читал, вероятно, изданный в 1857 г. в Лейпциге очерк К. Л. Блюма: „Ein Russischer Staatsmann. Des grafen I. I. Sievers Denkwürdigkeiten zur Geschichte Russlands“.

[2] В 1865 г. в Париже вышла книга: „Alexandre I et le pr. Czartoryski. Conversations et correspondence particuliére, publiées par le pr. L. Czartoryski; русский перевод помещен в „Рус. Архиве“ 1871 г., стр. 697 сл. и отд. издан в „Истор. Библиотеке Сфинкса“, т. XIV.

политическую автономию, собственное войско и независимое управление, но из всех окружающих народов, они одни имели свободные учреждения. Всеми этими благами они не умели воспользоваться. Вместо того, чтобы ценить то, что им было дано, и упрочить приобретенное благоразумным поведением, они мечтали о большем и пустились в мелочную оппозицию, раздражавшую благоволившего к ним государя. Когда же июльская революция снова разбудила в Европе элементы брожения, они схватились за оружие, не имея ни малейшего шанса отстоять себя против вдесятеро сильнейшего врага. Это безумное восстание было, разумеется, подавлено. Тридцатилетний гнет был заслуженным наказанием за кичливое легкомыслие.

Этот жестокий урок не послужил им в пользу. С новым царствованием опять открылась для них новая эра. Ссыльные были возвращены; административная автономия была дарована. Рука об руку с освобожденною Россией поляки могли итти путем правильного и постепенного гражданского развития. Они нашли человека, способного руководить этим делом. И вдруг, подпольная революционная сила низвергла все эти начинания. При этом были пущены в ход такие средства и орудия, которые не могли не возмущать всякую благородную душу. Не в открытом, честном бою, а путем тайных убийств подпольное правительство установляло свою власть, распространяя террор в стране.

Русское общество не могло оставаться к этому равнодушным. Каково бы ни было различие мнений относительно польского вопроса, все здравомыслящие люди понимали, что перед революционным движением не может быть речи ни о каких уступках. Еще менее можно было допустить грозящее вмешательство иностранных держав. Русское народное чувство против этого возмущалось, и вся Роосия, как один человек, обратилась к царю с выражением безграничной преданности престолу и с готовностью всем пожертвовать для пользы и славы отечества.

С адресами стали прибывать депутации. В пылу патриотического одушевления Москва вздумала даже учинить у себя нечто вроде национальной гвардии. С этим предложением приехал в Петербург мой старый товарищ и приятель, князь

Александр Щербатов. Незадолго перед тем в Москве введено было новое городовое устройство, сословное, по примеру Петербурга. Первым городским головой огромным большинством выбран был Щербатов, который успел приобрести себе значительную репутацию участием в дворянских совещаниях и, в особенности, своим искренним стремлением к сближению сословий. Лучшего выбора нельзя было сделать. Он принялся за работу со всем пылом своей горячей и благородной души и с тем практическим смыслом, которым он отличался. Новая городская дума сделалась одушевленным центром московской общественной жизни. Участие было всеобщее. Симпатичная личность председателя привлекала всех, а его умение ладить и примирять сглаживало все столкновения. Можно сказать, что это был золотой век московского городского самоуправления. Среди этого общего одушевления внезапно возникший польский вопрос еще более воспламенил московских граждан. Они заявили готовность отправлять военно-полицейскую службу по призыву правительства. Щербатов, с своим практическим взглядом, долго противился этому предложению. Он видел, что, в сущности, к нему не было ни малейшего повода. Россия не находилась в опасности и не было никакой нужды прибегать к чрезвычайным мерам для ее защиты. Но увлечение москвичей не знало границ. Все на этом настаивали, большинство с патриотической, некоторые с либеральной точки зрения, думая этим путем передать военную власть в руки граждан. Катков, в то время еще не повернувший на сторону реакции, всеми силами стоял за городовую дружину и подстрекал общественное мнение. Щербатов увидел, что надобно уступить и решился сам стать во главе движения, которое через это, во всяком случае, становилось безвредным. Но в Петербурге это предложение было благоразумно отсрочено, а затем оно пало само собою.

Вместе с другими прибыла депутация и от Московского университета. Это был комический эпизод среди общего восторга. Университет также получил новые права: ему возвращен был выбор ректора, отнятый в 1849 году. Аркадий Алексеевич Альфонский сошел со сцены, и с ним прошли

„Аркадские времена“ [1]. Надобно было выбрать ему преемника. Кандидатом нашего кружка был, разумеется, Соловьев. Но после истории с арендой „Московских Ведомостей“ прежний дружеский союз распался. Многие из молодых профессоров примкнули к старым. Влияние редакции „Московских Ведомостей“ значительно усилилось, вследствие приобретенной ею популярности в польском вопросе, а редакция, конечно, стояла не за Соловьева. При баллотировке в Совете он остался в меньшинстве. Наибольшее число голосов получили Щуровский и Баршев. Приходилось выбирать из двух зол наименьшее Щуровский был умнее, а потому казался опаснее. При вторичной баллотировке голоса приверженцев Соловьева были перенесены на Баршева, который и был выбран ректором. Меня, признаюсь, это известие крайне огорчило. Не знаю каким ректором был бы Щуровский, но Баршев, которого мы с легкой руки Дмитриева звали нашей игуменьей, был нам слишком хорошо известен. Это было воцарение пошлости в университете.

Можно себе представить, какую фигуру выказывал в Петербурге этот представитель первого ученого сословия в России,

[1] Под заглавием „Аркадские времена (подражание Ломоносову)“ известна злая эпиграмма на ректора Московского университета Арк. Ал-евича Альфонского, напечатанная в „Рус. Арх.“, 1912 г. № 1, и начинающаяся строфой:

„О, ты, что в горести напрасно
Так сильно ропщешь на Совет,
Аркаша, ректор мой прекрасный
Внемли сей праведный ответ.

Где был ты, как перед тобою
Наш попечитель Исаков
Музеи дерзостной рукою
Перенести уж был готов?...“

И заканчивается строфой:

„Сие, Аркадий, рассуждая,
Познай законы здешних мест,
И утром, звезды надевая,
Надень терпенья тяжкий крест.

И будешь ректорскую долю
Влачить без всякого труда;
Лишь грозную Совета волю
Чти и в Любимове всегда!“.

(25 Ноября 1861 г.).

когда он явился с пошло написанным патриотическим адресом, в сопровождении декана медицинского факультета, профессора фармакологии Николая Богдановича Анке, добродушного старичка, любившего попивать, но не ознаменовавшего себя никакими учеными заслугами. Разумеется, их приняли с почетом, и они вернулись в полном восторге. Однажды, за обедом у великой княгини Елены Павловны, баронесса Раден вручила мне письмо от Дмитриева из Москвы. Я тут же его распечатал и расхохотался. Это было одно из его советских стихотворений, юмористическое переложение повествования Баршева об оказанном ему приеме в Петербурге, писанное во время самого заседания. Все пристали ко мне, чтобы я сообщил это приятельское произведение, и я тут же громогласно прочел следующие стихи:

Вставши с ложа спозаранку,
Захватив с собою Анку
И напяливши чепец,
Я пустилась во дворец.

Там я милою осанкой
Всех прельщала, как и встарь,
Нас заметил тотчас с Анкой
Восхищенный государь.

А министры так толпились,
Так толкались вкруг меня,
Так красе моей дивились,
Столько было в них огня,

Так пленительно мне было,
Что хоть к чести я строга,
А чуть-чуть не насадила
Я Никольскому рога [1].

---

[1] Пародия написана на речь ректора на заседании 22 апр. 1863 г. Текст исправлен по тексту, напечат. в „Рус. Архиве“ 1912. № 2.

Повидимому, на тот же эпизод намекает другая эпиграмма: „Отрывок“:

Какое мудрое собрание!
Что ни лицо в нем, то пример
Не только глубины познанья
Но и изящнейших манер
Здесь до малейших вам оттенков,
Чуть кто в Совете зашумит,
Великосветский Матюшенков
Законы света объяснит и т. д.

Стихотворение произвело фурор. Князь Сергей Николаевич Урусов, который тут же обедал, вскочил с своего кресла и с жаром пожал мне руку. Но смеяться посторонним было легко. Каково было жить в этой среде? Это были цветики, обещавшие обильные плоды.

Я остался в Петербурге до начала июня. В это время польский вопрос принимал все более и более тревожные размеры. В самой Польше восстание ослабело; в Литве оно было подавлено, благодаря энергии Муравьева. До назначения своего в Вильну, Муравьев пользовался весьма невысокой репутацией При отсутствии всяких убеждений, он был груб, коварен и раболепен. Про него повторяли собственное его изречение: что он не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают. В устах старого заговорщика эти слова служили вывескою характера. Но там, где нужно было, не останавливаясь ни перед чем, действовать с неуклонною энергиею, он был на своем месте. К тому же он был искренний патриот, всем сердцем преданный России. Назначение его в Вильну разом повернуло дело и он сделался героем русского общества. Его решительное поведение в Литве сравнивали с образом действий великого князя Константина Николаевича в Варшаве, который заискивал популярность и старался угодить полякам. Контраст был полный, и возвеличение Муравьева не знало пределов.

Но если внутренняя опасность почти миновала, то надвигалась опасность внешняя. Начался дипломатический поход европейских держав в пользу Польши. В дипломатических кругах утверждали, что с открытием навигации английский флот появится перед Кронштадтом. Юркий Катакази, который был адресован ко мне братом Василием для получения сведений о крестьянском деле в западных губерниях, говорил об этом, как о событии неизбежном. 21 мая, в день именин Елены Павловны, князь Горчаков приехал на утренний прием крайне встревоженный известиями, полученными из Лондона. В непонятном ослеплении, наш посол в Лондоне, барон Бруннов, уверял, что Англия непременно хочет войны, между тем как лондонский кабинет добивался только одного: поссорить нас с Францией. Польша не представляла для Англии ни малейшего

интереса, и из-за нее она никогда бы не пожертвовала ни гроша. Бруннов считался одним из самых умных наших дипломатов и прежде всего знатоком Англии, а, между тем, два раза он ввел свое правительство в самое опасное заблуждение. Перед Крымской кампанией он настаивал на том, что войны не будет, чем по всей вероятности ее и накликал. Этим промахом он в то время сломил себе шею. Теперь, наоборот, он принимал призрак за действительное намерение. Будберг, напротив, писал из Парижа, что в сущности французское правительство вовсе войны не желает и ограничится одними демонстрациями; но князь Горчаков был с ним в разладе и мало ему доверял. Убежденный, что мы к войне не готовы, он старался уклончивыми ответами оттянуть время. Общество в тревожном ожидании следило за ходом этого дела.

Перед отъездом, простившись в Царском Селе с наследником, я пошел раскланяться к князю Горчакову, который в это время тоже туда переехал. Он оставил меня обедать. Мы были втроем, с преданным ему Гамбургером. Я сказал князю, что уезжая в провинцию, я желал бы сообщить живущим там русским людям какие-нибудь утешительные известия насчет вопроса, за которым они следят с таким напряженным вниманием; что-ж я могу сказать?—„Скажите, что уступок никаких не будет", отвечал Горчаков. Я заявил, что эти слова будут истинною отрадою для всякого русского сердца; но как должно их понимать? Значит ли это, что мы на все требования иностранных держав ответим решительным отказом, каковы бы ни были последствия?—„Я еще не знаю что я буду отвечать,—сказал Горчаков.—Это—дело импровизации. Я всегда так поступаю; когда я встаю в Государственном совете, я никогда не знаю, что́ я буду говорить. Затем, если этот импровизатор вам не нравится, берите другого". Меня крайне удивил этот способ обсуждения государственных вопросов; прирожденное легкомыслие Горчакова высказывалось здесь вполне. Однако, на этот раз импровизация вышла удачною. Я в деревне с восторгом прочел окончательную ответную ноту русского правительства, которою твердо и с достоинством отвергались все предъявляемые нам притязания Если-бы князь Горчаков в эту минуту сошел со сцены, он

остался бы в истории, как один из выдающихся государственных людей России, крепко державший русское знамя. К сожалению, вся его последующая карьера была рядом самых крупных ошибок, которые более чем изгладили минутный успех.

В сентябре я вернулся в Москву. Университет я нашел в новом настроении, которое оправдывало все мои опасения. Торжествующая пошлость сияла самодовольством и била ключем во все стороны. Аркадские времена с субботними собраниями были порою преобладающего влияния молодых профессоров; теперь настало владычество старых, погрязших в рутине прежнего порядка. Большинство, сомкнувшееся вокруг „Московских Ведомостей", было упоено успехами своего патрона, которые отражались и на нем, приобретая ему все больше и больше приверженцев. Воспетый Вяземским „Бобчинских и Добчинских род"[1] неустанно кадил новому божку, провозглашая его спасителем отечества и низводя самый патриотизм до какого то нахального и противного лакейства. Никольского земля не носила: он лебезил перед ректором, лебезил перед Катковым, ораторствовал в Совете. О субботах, разумеется, не было и помину. Они заменились вечерними собраниями по пятницам у ректора, куда сходились все, и где царила непроходимая скука, завершавшаяся водкой и колбасой. Я раза два был на этих вечеринках; но все, что я тут видел и слышал, было мне так противно, что я перестал ходить. Дмитриев утешал себя советскими стихотворениями, которые обыкновенно экспромтом выливались из под его пера во время заседаний. Однажды прямо против нас сидел профессор сельского хозяйства Калиновский, который был вместе и директором Зоологического сада. Он только что перед тем получил чин действительного статского советника, составлявший предмет самых пламенных помышлений известного разряда

---

[1] Б. Н. Чичерин намекает здесь на эпиграмму кн. Вяземского, направленную против Каткова, которую он приводит в VI гл. своих Воспоминаний и в которой имеются следующие строки:

„Все это вздор; но вот в чем горе:
Бобчинских и Добчинских род
С тупою верою во взоре
Пред ним стоит, разинув рот".

профессоров. В Совете шли какие то глупые прения. Никольский ораторствовал, а Дмитриев что-то строчил. Я сидел возле него; он подал мне бумажку, и я прочел:

Новый блеск у нас в компании,
Радость новая в сердцах:
Калиновский в новом звании,
В генеральских он чинах.

Он с своею важной рожею
Ныне сделался вельможею;
Вот куда его завез
Изученный им навоз!

А в саду-то беззаботные
Так и прыгают животные;
Но всех более процвел
Светлой радостью осел.

Скоро муза Дмитриева была призвана к более обширному поприщу. К концу года профессора вздумали дать новому ректору коллективный обед. Искали какого-нибудь повода. Одни говорили, что это будет отплатою за те закуски, которыми он угощал нас по пятницам. Другие старались придать этой демонстрации высшее, общественное значение: утверждали, что профессора хотят отпраздновать восстановление выборного права, хотя с тех пор прошел уже почти год, и никто об этом прежде не помышлял. В сущности, это было торжество ликующей пошлости, которая после временного принижения воспрянула с новою силою. Университет был спокоен; ректор был выбран совершенно по плечу господствующей партии, которая заискивала перед ним в ожидании наград и не могла нарадоваться своему представителю. Наконец в лице Каткова был приобретен патрон, голос которого звучал на всю Россию, исполняя гордостью сердца его приверженцев и давая им крепкую опору во всех их маленьких делишках. Как же было не ликовать при таком неожиданном обороте дел? Очевидно, надобно было, по русскому обыкновению, устроить попойку.

Меньшинство, с Соловьевым во главе, ни на минутку не колебалось насчет своего образа действий. Можно было, как неизбежное зло, иметь Баршева ректором; но чествовать коллегиальным обедом такого пошляка казалось нам унизительным

для собственного нашего достоинства и несовместным с достоинством университета. Надобно было, чтобы русское общество знало, что не все профессора с наслаждением купаются в этом омуте, что есть между ними люди, которые иначе понимают честь университета. Мы решили не ехать. Напечатанное в газетах описание обеда оправдало все наши ожидания. Один за другим представители факультетов и выдающиеся профессора курили фимиам сидящей перед ними старой и глупой бабе. На сцену выступил и Катков, который указал на Барщева, как на одного из зачинателей либеральных реформ в уголовном судопроизводстве. Не забыты были и обычные для всякой пирушки телеграммы князю Горчакову, Муравьеву и Бергу. Все завершилось громким „Gaudeamus", который заревели отяжелевшие от вина старички, после чего деканы торжественною депутацией поднесли супруге ректора коробочку конфект. Одним словом, все было как следует, и все веселились всласть.

Дмитриев вздумал увековечить этот обед торжественной одой. Однако, на этот раз вдохновения хватило только на отрывки. Он написал первые три строфы, затем мастерски пародировал речи Юркевича, Крылова и Любимова; но на этом он остановился. Я все побуждал его докончить это историческое произведение; но он говорил, что как то не пишется, хотя у него уже подобраны некоторые рифмы, которые он непременно вставит, а именно медицинский и свинский, Анке и стклянки. Тогда я вспомнил свои прежние похождения по этой части, взялся пополнить пробелы. Исходя от придуманных им рифм, я написал остальное. Произведение вышло удачное и всех наших друзей насмешило не мало. Общий тон был хорошо поддержан; трудно было даже догадаться, что ода писана в две руки. Помещаю ее здесь, как памятник тогдашней университетской жизни.

ОДА

на обед, данный ректору профессорами Московского университета.

В дни верноподанных скандалов,
Когда пел оды Шевырев,
В честь тупоумных генералов
Давали много мы пиров.

Но ныне времена другие:
Стремясь к развитью своему,
Теперь покорствует Россия
Уже не силе, а уму.
Изобразит ли стих мой слабый,
Как старший университет
Однажды в честь беззубой бабы
Задал торжественный обед?

На пир сей истинно-московский
Стеклись друзья из всех углов:
Из синагоги Гивартовский,
Из океана Соколов [1].
Враг независимости польской,
Сей препоясанный на брань,
Сей ярый патриот Никольский
Принес сюда свою гортань;
И вместе с ним, послушен гласу
Леонтьева, сюда пришел
Пеховский, воротясь из лясу,
Где он ваканции провел.

Тут был премудрый Калиновский,
Преподаватель для коров,
Сладкоглаголивый Лясковский,
Страдающий теченьем слов;
Мильгаузен, отец уступок,
Всем сердцем возлюбивший всех,
И все, что только есть поступок,
Уже считающий за грех;
И факультет тут медицинский
Весь в сборе, эка благодать!
Читатель просит рифмы: свинский
Ну нет, уж лучше промолчать!

Все дружно яства пожирали,
При громе Сакса скрипачей,
И длань игуменьи лизали
С приправой тостов и речей.
Вот Николай Богданыч Анке,
О чудо! встал и говорит;
Он знал лекарственные стклянки,
А также херес и лафит;

---

[1] Профессор сравнительной анатомии, вследствие массивности прозванный Левиафаном. Прим. Б. Н. Чичерина.

Но было вовсе не по нраву
Ему публично говорить,
И красноречия отраву
С трудом он силится испить.

За ним бесцветны, но приятны,
Потоки полились речей;
Давыдов, Лешков непонятный
И сам Полунин Алексей,
С дьячковским голосом и видом,
Поют игуменье хвалу.
«Сравнишься мудростью с Давидом
«И Валаамову ослу
«Подобна ты, о мать святая,
«И всех чаруешь нас вполне,
«Ты, в юбке ректорской блистая,
«С звездой на левой стороне!

«Гостеприимна ты по русски,
«Мила в ужимках и в речах;
«Ты даже в пятницы закуски
«Для нас устроила на днях;
«И мы за сыр и за селедку,
«За колбасу и за икру,
«За то, что смачиваешь глотку
«Ты нам бутылкой ввечеру,
«Тебе днесь пиршество на славу
«Всей корпорацией даем,
«Как будто выборному праву
«Мы честь поздненько воздаем.

«Мы, верь, давно тебя желали
«И ясной дождались поры;
«Забудь лишь, матушка, что клали
«Тебе мы черные шары,
«И возвратившееся стадо
«Ты попеченьем не оставь,
«Не обойди ты нас наградой
«И всех in corpore представь!»
Так пел Полунин вдохновенный,
Какой то издавая стон,
И слышен клик одушевленный
Ему в ответ во всех сторон.

Но чтоб беседе этой росской,
Которой тон немного прост,
Придать оттенок философский,
Юркевич предлагает тост.

Он пьет за наше единенье,
Вне всяких партий и преград,
Союз во имя просвещенья
И получения наград;
И с Матюшенковым, с Пеховским,
Ни от кого не сторонясь,
И с Калиновским и с Лясковским,
Со всякой пошлостию связь.

Он говорит: «Я к вам в обитель
«Судьбой недавно занесен,
«И на нее смотря, как зритель,
«Советом вашим я прельщен.
«Хотя и ссоритесь вы дома,
«Хоть и деретесь вы слегка,
«Но вам пословица знакома:
«Рукою моется рука.
«Там говорит Никольский в меру,
«Имеет Лешков должный вес,
«И мнится ветренную Геру
«Прогнавши, царствует Зевес».

И мать игуменья, вздыхая,
Стыдливо говорит в ответ:
«Извольте видеть, честь большая
«Мне выбор ваш и ваш обед.
«Ах, знаю я, что недостойна
«На этом месте я сидеть;
«Все говорят, что непристойно
«Меня вам ректором иметь.
«Но хватит все ж у нас умишка,
«Чтоб вам, где нужно, угодить,
«И своего чтобы делишка
«При этом тоже не забыть.

«Да и смирна я непомерно;
«Зато от вас такая честь!
«Всяк думает: на ней уж верно
«Верхом мне можно будет сесть.
«Не выставляюсь я осанкой,
«Не оскорбляю вас умом;
«Большой, вот видите, приманкой
«Нам служит пошлости диплом.
«Не любим важности посольской,
«Свой брат кому из нас не мил?
«Вот и оратор наш Никольский
«Ко мне в дворецкие вступил.

«Он у меня на побегушках;
«Я прикажу: плясать пойдет,
«И чай подаст и на пирушках
«Гостям шампанского нальет.
«Всего вернее путь лакейский,
«Гласит нам опыт, и держась
«Смиренно мудрости житейской,
«И я чинишка дождалась;
«И ректорства и генеральства
«Меня сподобила судьба.
«Раба я высшего начальства,
«Совета нашего раба!»

«Хвала»,—изрек Крылов ученый,
—«О, милый ректор наш, тебе!
«Ты, правда, малый не мудреный,
«Но ты пришелся по избе.
«Под властию Аркаши[1] строгой
«Наш голос оставался нем;
«Хоть бунтовали мы немного,
«Но все как-будто не совсем.
«Но днесь казенному указу
«Конец, конец уже настал;
«Auspicia sunt fausta![2] сразу
«Наш выбор на старуху пал.»

Не утерпел тут и сладчайший,
И медом речь его лилась:
«Друзья, на праздник величайший
«Семья вся наша собралась.
«Семья! ах, кто при этом звуке
«Не скажет: университет!
«О alma mater! и в разлуке
«Ты слаще меду и конфект.
«В стенах сих университетских
«Нам сладко все: хвалы друзей,
«Интриги кумушек советских
«И гром Никольского речей;

«И здесь, на маленьком просторе,
«Как может маленький субъект
«С ходуль болтать о всяком вздоре,
«И выйдет маленький эффект.

---

[1] Аркадий Алексеевич Альфонский, ректор Моск. ун-та.
[2] «Предзнаменования благоприятны!»—формула римских жрецов.

«Друзья, здесь все наш дух пленяет!
«А потому я, так сказать,
«Коли никто не возражает,
«На стул свой сесть хочу опять».
Так рек Лясковский, улыбаясь
На весь профессорский комплект,
И все с ужимкой озираясь,
Чтоб видеть, вышел ли эффект.

Но вот для новых комплиментов
Археолог и либерал,
Искатель милости студентов,
Буслаев антикварный встал.
«Почтим мы ныне силу слова!
«Где сила, тут при ней и хвост;
«В честь, понимаете, Каткова
«Я предлагают этот тост.»
И на привет сей отвечая,
Восстал в величии Катков;
Глазами медленно вращая,
Он рек всей тяжестию слов:

«Я силы слова представитель,
«Таким сам клуб меня признал,
«России нашей я спаситель,
«Я всю Европу застращал.
«В моем журнале помещает
«Кто и плохие лишь статьи,
«Тот лавры вечные стяжает,
«Тому приветствия мои.
«Когда-то ректор ваш для формы
«В моих напакостил листах,
«И вот от дряни сей реформы
«У нас подвинулись в судах».

—«Ну так уже если за Каткова,—
Гласит игуменья,—мы пьем,
«Так и за Берга, Муравьева
«И Горчакова мы тряхнем.
«То пира всякого программа;
«Привет им клуб Немецкий шлет;
«Бахмутских барынь телеграмма
«Их вновь на подвиги зовет.
«От сих народных ликований
«Ужель отстанет наш порыв?»
И встретил гром рукоплесканий
Патриотический призыв.

И долго длится пир громадный,
И всякий речи говорит;
Один Любимов плотоядный
Все ест, все пьет и все молчит.
И только светится во взоре
Душевный ректору привет,
Зане он с баснью не в раздоре:
«Сильнее кошки зверя нет».
Распорядитель угощений,
Молчит он больше на пирах,
И лишь наевшись, наш Мененений[1]
Встал с мудрой притчей на устах.

Он говорит им: «Это шутка;
«Наш пышный ректорский обед
«Есть праздник истинный желудка,
«И смысла в нем иного нет.
«Желудок—враг разъединенья,
«Раздора он не признает;
«Он одинакие внушенья
«Глупцу и мудрому дает.
«В еде никак не разойдемся
«Мы и при разности натур,
«При всех тенденциях напьемся,
«Так gaudeamus igitur!»

—«Пока мы молоды,—запели
Всем сонмом вдруг профессора,—
«Возвеселимся; надоели
«Давно нам лекции. Пора
«Не миновала наслаждений,
«И час пока наш не настал,
«В честь легких дев и обольщений
«Полней нальем вина бокал!»
Трикраты песнью огласился
И кликами высокий зал;
Сам Брашман тут остервенился,
И Фишер пуще всех орал.

Но все проходит в этом мире;
Напиткам даже есть конец.
Побушевав на долгом пире,
Домой все идут, наконец.

---

[1] Мененний Агриппа, согласно рассказу Т. Ливия, успокоил волнение среди плебеев притчей о возмущении членов тела против желудка (Liv. II, 33).

Отяжелев, немного пьяны,
Чтоб дружный завершить обед,
В подарок ректорше деканы
Несут коробочку конфет.
Отверзла ректорша затворы:
Легко коробка отперлась,
И, как из ящика Пандоры,
Оттуда пошлость понеслась.

Удушлива и бесконечна,
Во все углы она вошла,
И по Никитской быстротечно
И в новый дом переползла;
Затем и в клиники вселилась
И в медицинский институт;
Повсюду вонь распространилась,
Науки русской аттрибут.
И долго стены сохраняли
Зловония протухлый след,
И долго други вспоминали
Веселый ректорский обед[1].

Разумеется мы это произведение держали в секрете, сообщая его только самым близким людям из опасения возбудить непримиримую вражду. У нас не было даже писанного экземпляра. Но чем более мы смеялись, тем грустнее было на душе. К университету мы были привязаны всем сердцем; с ним

[1] Сатира напечатана в «Рус. архиве» за 1912 г. № 2, где она входит в состав «Шуточной хроники Моск. университета полвека назад». «Хроника» разбита на две части: «Времена Аркадские», относящиеся к ректорству А. А. Альфонского и «Времена Исторические»—к ректорству С. Баршева. Сатира помечена в «Рус. Архиве»—октябрем 1863 г. К этому же времени отуносится следующая пародия, не внесенная Б. Н. Чичериным в свои мемуары.

ПОДРАЖАНИЕ ЛЕРМОНТОВУ:

„В полдневный зной в долине Дагестана"...

В полдневный час, в советской круглой зале
С тоской в груди, сидел я недвижим...
Еще слова Никольского дрожали,
И все безмолвно тяготились им.
Но я один был сокрушен тоскою.
Вокруг меня никто не унывал,
И лишь порой, голодною душою,
Свой час обеда Брашман вспоминал.
И снился мне сияющий огнями,
У ректора великолепный бал:
Среди купчих с нелепыми чепцами,
Никольский наш отважно танцовал.
Но у него одни плясали ноги,
Душа была от польки далека,
И лик его, величественно строгий,
Глубокая отметила тоска.
И снилася ему Совета зала:
Пока речами нагонял он страх,
Все близ него рука одна писала,
И чуял он пародию в стихах.

(26 окт. 1863 г.).

соединялись лучшие наши воспоминания. Мы мечтали о том, что после временного гнета и последовавшей затем неурядицы он воспрянет обновленный и освеженный. Эта мечта казалась даже близкою к осуществлению. И вдруг все это повернулось разом. Под влиянием двух негодяев, которые свои крупные дарования обращали в орудия чисто личных целей, вся накопившаяся годами и временно придавленная пошлость всплыла наружу и затопила все. Больно было присутствовать при этом падении университета, и противно было дышать этим смрадом. На зимние ваканции я с удовольствием уехал в Петербург.

Там я нашел Николая Алексеевича Милютина, который из-за границы вызван был по польскому делу. Я виделся с ним почти каждый день, и он подробно рассказывал мне свои разговоры с государем. Все, что он мне сообщал, внушало мне глубокое уважение к царю, который освобождением крестьян и целым рядом предпринимаемых преобразований приобрел уже право на безграничную благодарность всех русских людей. Государь умно и отчетливо излагал перед ним все положение дел. Он говорил, что если бы можно было решить польский вопрос дарованием конституции России и Польше, то он ни на минуту не поколебался бы это сделать. Но он был убежден, что в настоящее время подобная мера может принести только величайший вред; она повела бы к разложению России. Он понимал также, что высшие классы польского народа умиротворить нельзя. Единственное, что можно сделать в интересах России, это стараться привлечь к ней низшее народонаселение широкою мерою крестьянских реформ. Польские крестьяне со времен Наполеона были лично свободны, но их поземельный быт не был устроен. При Николае были приняты некоторые частные меры; теперь надлежало обратить их в поземельных собственников. Для этого и был призван Милютин.

Он взялся за работу с тою обдуманною страстностью, которая его отличала. Немедленно был кликнут клич всем прежним сотрудникам по крестьянскому делу. Из Москвы были вызваны Черкасский и Самарин; в Петербурге завербованы Соловьев и другие. Милютин сам со своими товарищами отправился на места, под конвоем объезжал деревни, допрашивал

народ, собирал документы, и, вернувшись, принялся за разработку проекта. Он нисколько не обманывал себя насчет успеха своего предприятия. Он сам мне говорил, что умиротворить Польшу и привязать ее к России несбыточная мечта; но с помощью крестьянской реформы хватит на 25 лет, может быть, даже и более, а это все, что может предположить себе государственный человек. И он, и его сотрудники добросовестно и с полным успехом совершили возложенное на них дело. А между тем, пославший их государь, которого волю они честно и усердно исполняли, одною рукою поддерживал их, а другою давал оружие их злейшим врагам, подставлявшим им бесчисленные препятствия на пути. Впоследствии мне довелось читать всю их переписку, относящуюся до этого времени. Я не мог надивиться этой двойственной политике со стороны монарха, прямо и трезво смотревшего на вещи. Но таковы печальные плоды безграничной власти, в которой самые противоположные свойства державного лица ведут к одинаково вредным последствиям. Один, превознесясь, верит только себе и не терпит противоречия; другой, не доверяя себе, не доверяет и другим, и сам себе возбуждает противодействие. В конституционном правлении есть оппозиция, которая громко высказывает свою критику, выясняя оборотную сторону каждого вопроса; в самодержавии, где общество молчит, надобно, чтобы среди тех самых лиц, которым вверяется дело, были люди, которые бы эту оборотную сторону доводили до сведения монарха. Вследствие этого правительство составляется из противоречивых элементов, которые ведут между собою глухую борьбу, и сама верховная власть их в этом поддерживает, видя в этом гарантию своей независимости. А что в этой борьбе бесплодно расточаются силы, теряется вера в свое дело, приобретается привычка действовать тайными путями, лукавить и изгибаться, об этом всего менее заботятся. Самодержавный монарх привык смотреть на людей, как на простые орудия, которые должны двигаться по его воле, и которые откидываются в сторону, как скоро в них оказывается призрак независимости. Он сам иногда устраивает сражения, где каждый должен играть свою роль, не смея жаловаться на то, что ему намеренно ставятся препятствия под

ноги. При таких условиях, при том глубоком презрении к людям, которое водворяется в силу этого порядка, сила характера и честность убеждений, конечно, всего менее ценятся. Все кругом раболепствует; каждый считает долгом исполнить то, что ему приказано, хотя бы это шло наперекор всему его образу мыслей. Вследствие этого можно было графа Панина назначить председателем редакционных комиссий, а графа Берга наместником в Царстве польском. Подлецам подобная политика приходится совершенно на руку; но порядочные люди или выбрасываются вон или удаляются сами, видя бесплодность своей работы. Редкие исключения вызываются чрезвычайными обстоятельствами. Самодержавная власть бережет людей только тогда, когда не может без них обойтись.

Милютин желал, чтобы я написал статью о крестьянском деле в Царстве польском. Он дал мне все документы, и я, вернувшись в Москву, усердно принялся за работу. Статья была написана, но никогда не увидела света. Причина была та, что мы несколько разошлись во взглядах, как относительно общих вопросов, так и относительно самого способа осуществления крестьянской реформы в Царстве польском.

С одной стороны, я хотел воспользоваться случаем, чтобы откровенно высказаться насчет возможности дарования конституции как Польше, так и России. Этот вопрос в то время сильно занимал умы, а между тем, при других условиях, трудно было обсуждать его в печати. „Время ли теперь начать подобные опыты?— спрашивал я.— Организация русского общества достаточно ли крепка, чтобы вынести на своих плечах такой порядок? На это нельзя отвечать иначе, как отрицательно. Россия вся обновляется; у нас нет ни одного учреждения, которое бы осталось на месте; которое бы не подверглось коренным переменам. Изменяется местная администрация, изменяется все судебное устройство, а без суда не мыслим коституционный порядок. Ныне пошатнулись основы всего общественного здания, отношение различных классов между собою и участие их в местном управлении. Освобождение крестьян нарушило весь прежний порядок, а новый еще не создался... Нужно время, чтобы все сладилось, устроилось, свыклось с новыми учреждениями. Тут неизбежно возникнет

множество недоразумений, столкновений, неудовольствий, и только после многих опытов и колебаний русское общество придет опять в твердое, нормальное положение. В таком переходном состоянии чего можно ожидать от народного представительства? Какие практические сведения принесут в собрание земские люди, когда для них все ново, все неизвестно. В совещаниях дворянства о замских учреждениях, те и другие партии неизменно отправлялись от теоретических начал, потому что практических данных никаких не было. То же случится и в общем представительстве. Между тем, теоретическое образование, само по себе недостаточное для политической жизни, у нас весьма слабо. Нестройный хор бессвязных мнений, составляющий неизбежное последствие всякой переходной эпохи, целиком проявится в общем земском соборе. Всякое замешательство, всякое столкновение внизу—отразятся наверху. Силы и внимание, нужные на местах, оттянутся к центру; общественное брожение, едва начинающее утихать, возбудится с новою силою. Одним словом, при настоящем положении дел, от народного представительства ничего нельзя ожидать, кроме хаоса. Созвать думу, да еще с неопределенными правами, и значением без твердых основ, полагаясь единственно на патриотизм и здравый смысл общества, это значит пуститься на всех парусах в неизвестные моря. Это хуже, нежели сочиненная конституция; это конституция н а а в о с ь... Пробьет час,— говорил я далее,—и новые права, укрепившись в народе, получат дальнийшее развитие. Но преждевременные попытки ведут только к безплодному брожению, к разочарованию и диктатуре. Крепкому и разумному народу свойственно идти медленным, но верным шагом. Россия слышала из уст государя многознаменательные слова: торопиться было бы не только вредно, но и преступно."

Милютин говорил, что все это совершенно верно; но всетаки нежелательно, чтобы из нашей партии исходило осуждение конституционного порядка, хотя бы и временно. Не придавая важности современным конституционным стремлениям русского общества, подбитым главным образом помещичьим неудовольствием, он думал, что лучше об них умалчивать, нежели поднимать вопрос, в сущности не имеющий практического

значения. В этом была своя доля истины; но мне казалось, что для общественного самосознания весьма важно выяснение политических вопросов; я считал полезным заявить громко, что предложенное либеральное решение устраняется не в силу закоснелых предрассудков, а вследствие разумно понятого положения дел.

Другое разногласие было важнее. Изучая ход крестьянского дела в Польше, я пришел к убеждению, что каково бы ни было состояние страны, русскому правительству не следует прибегать к чисто революционной мере даровой раздачи земли крестьянам. Правда, революционный ржонд в своей прокламации объявил землю собственностью крестьян без всякого вознаграждения помещиков, и крестьяне фактически уже ею владели, считая ее своею. Но мне казалось, что революционная прокламация не составляет права, и что законному правительству не подобает следовать этому примеру. Поэтому я остановился на мысли прямо приложить к помещичьим землям ту весьма невысокую меру повинности, которая была установлена для имений казенных и майоратных, с выкупом этих повинностей путем кредитной операции. Милютин же утверждал, что проведение такой меры требует времени, а у нас его нет. Революционное положение заставляло прибегать к революционным средствам. Нам нужно было во что бы то ни стало положить конец восстанию и привлечь польских крестьян на свою сторону, а это можно было сделать только дарованием им от имени правительства того, что им было обещано ржондом и чему уже подчинились польские помещики. Вследствие этого учрежденная под его председательством комиссия остановилась на даровом наделе, и эта система, одобренная Главным комитетом под председательством князя Павла Павловича Гагарина, была утверждена государем и приведена в исполнение.

Таким образом, моя работа пропала даром, на что я впрочем не сетовал, но понимал серьезность возражений, если и не мог с ними согласиться. Впоследствии возложенный на меня труд, в виду ознакомления с вопросом иностранной публики, был поручен Катакази, который в Министерстве иностранных дел считался умным человеком и бойким пером.

Ему также были доставлены все документы; но из этого вышло весьма плачевное произведение. Я уже говорил, что брат Василий, бывший тогда советником посольства в Париже, адресовал ко мне Катакази за справками о крестьянском деле в западных губерниях, о чем ему также было поручено написать статью для иностранных газет. Из разговора с ним я убедился, что он в этом вопросе ничего не знает, не понимает, и по крайнему легкомыслию даже и понять не в состоянии. Его расспросы представлялись мне какою-то комическою сценою, а потому я нисколько не удивился, когда, прочитавши статью, основанную на известных мне материалах, я увидел в ней только пошленькую газетную компиляцию, не способную не только произвести впечатление на иностранную публику, но и дать сколько-нибудь ясное понятие о ходе дела. Это показало мне вместе с тем полное отсутствие у нас надежных орудий для действия путем печати.

Не вполне сочувствуя способу проведения крестьянской реформы в Царстве польском, но признавая ее в существе своем мерою необходимою и справедливою, я вовсе не мог сочувствовать тому обороту, который приняло польское дело после удаления Милютина и Черкасского. У них уже родилась мысль уничтожить наместничество и подчинить польские губернии прямо министерствам. Ведя борьбу с графом Бергом, они пришли к убеждению, что пока существует наместник, он непременно будет противодействовать всякому исходящему из Петербурга направлению, стараясь по возможности играть роль местного царька. Будучи не в силах сместить графа Берга, они били на то, чтобы уничтожить самую его должность. Насколько эта мысль у них созрела и была близка к исполнению, не могу сказать. Но когда Милютина постиг удар, а Черкасский, несмотря на все настояния, вышел в отставку, государь хотел показать, что он и без них проведет самые радикальные меры. Царство польское было включено в число русских губерний. Этим думали навсегда покончить с Польским вопросом.

Я считал и считаю эту меру крупною ошибкой. Почерком пера национальные вопросы не разрешаются, а принятый способ всего менее мог содействовать правильному решению.

Через это смешивались и сливались в одно два вопроса, которые поляки всегда старались связать, но которые в самых интересах России должны быть строго разделены: вопрос о западных губерниях и о Царстве польском. Мы не можем допустить отторжения русского края, случайно присоединенного к Польше и впоследствии возвращенного России, каким бы путем ни совершилось это возращение. Но столь же мало имеем мы право держать под своим гнетом чисто польский край и лишать отечества братское нам население. Доводы, которые приводятся в защиту русского владычества, в моих глазах не имеют силы. Говорят о ненависти к нам поляков; но разве поляк, сохранивший искру любви к отечеству, может любить Россию? Я чувствую, что если бы я был поляк, я бы ото всей души ненавидел русских. Ссылаются на интересы России; но интересы притеснителей не имеют ни малейшего права на существование. В настоящем же случае, интерес далеко не первостепенный. Я не могу допустить опасности для стомиллионного народа со стороны пяти миллионов соседей, имеющих притом с другого бока враждебное им сорокамиллионное немецкое население. Не только в интересах человечества, но во имя нравственного достоинства своей родины, которую я люблю более всего на свете, я от всей души желаю, чтобы полякам была, наконец, оказана справедливость, и я не сомневаюсь, что когда-нибудь этот час пробьет, хотя последнее польское восстание, может быть, более всего другого содействовало его отдалению. В настоящее время говорить о справедливости в политике есть глас вопиющего в пустыне; но когда в Европе поднимется славянский вопрос,—а это время повидимому не очень отдалено,—судьба поляков ляжет веским элементом в его решении. Тогда Россия увидит, какую фальшивую роль она играет, выступая освободителем одних братьев и угнетая других. Русский народ довольно крепок и могуч, чтобы не быть притеснителем; он имеет в себе довольно нравственной силы; чтобы принести в жертву низкие интересы требованиям справедливости и человеколюбия. Конечно, я этого не увижу, но я всем сердцем призываю этот исход. Самое пламенное мое желание состоит в том, что бы мое отечество не осталось в истории с печатью Каина на челе.

В этой работе, среди лекций и экзаменов, протекла весна. Она ознаменовалась для меня печальным событием. Умер старый друг нашей семьи, человек, который приголубил нас в первый наш приезд в Москву и с которым я постоянно оставался в самых близких отношениях — Николай Филиппович Павлов. Последний год его жизни протек спокойнее, нежели прежние. В конце 1862 года, уезжая в Петербург, я оставил его в самом ужасном положении. „Наше Время" имело мало подписчиков. Расходы не окупались, а денег взять было неоткуда. Приходилось закрывать журнал; а, между тем, на руках была довольно значительная семья, которую надо было содержать. Старик не знал, что̀ ему делать. Каково же было мое удивление, когда он вдруг явился ко мне в Петербург, бодрый, живой, с новыми планами и надеждами. Эта удивительно эластическая натура не поддавалась никакому гнету обстоятельств. Из всякого положения он умел вынырнуть и воспрянуть с обновленными силами: „Знаешь, что я придумал?—сказал он мне.—Я хочу издавать газету для народа, по три рубля; она наверное пойдет. Этим миллионам освобожденных крестьян надобно дать какое-нибудь путное чтение, чтобы они знали, что̀ делается на свете. Я уверен, что само правительство окажет мне помощь в этом деле. Нельзя ему оставаться безучастным и отдать народ всякому писаке". И точно, помощь была оказана. Со своею вкрадчивою убедительностью, Павлов сумел сразу обворожить министра государственных имуществ Зеленого, который взялся разослать его газету во все волости государственных крестьян. То же самое обещал и Валуев. Дешевая газета нашла многочисленных подписчиков и среди низшего московского и провинциального населения. Предприятие удалось вполне, и Павлов мог наконец вздохнуть свободно. Но именно тут настигла его смерть. Он был очень мнителен и еще со времени возвращения из Перми все щупал свой пульс и говорил, что у него перебои. Друзья над ним подсмеивались, но оказалось, что опасения не были напрасны. У него сделалось ожирение сердца, которое в марте 1864 года пошло весьма быстро. Он все задыхался; наконец призванные на консультацию доктора объявили его безнадежным. Я почти целые дни присутствовал при этом медленном

и мучительном угасании. „Мне бы хотелось поговорить с Филаретом“, сказал он мне однажды. Разумеется, этого нельзя было исполнить; обычные же утешения не способны были на него повлиять. Накануне смерти ему стало как-будто немного лучше, хотя говорил он с трудом. Я сидел возле его постели и старался чем-нибудь его развлечь. Я читал стихи наизусть, между прочим по какому то случаю вспомнил стихи Лермонтова:

Но спят усачи гренадеры
В равнинах, где Эльба шумит,
Под небом холодным России,
Под знойным песком пирамид.

Вдруг старик воспрянул на своем ложе. „Холодной России, как можно: холодным!“—воскликнул он с жаром. Так до самых последних минут живо сохранялось в нем чувство литературного изящества. Думаю, что в настоящее время немного найдется людей, которые в состоянии даже понять этот тонкий оттенок.

На следующий день, в семь часов утра за мною прислали. Я с Спиридоновки отправился на тот конец Москвы с гнетущим чувством неотразимого исхода. Он уже не говорил и не узнавал никого; мозг был поражен. Но еще целый день длилась тихая агония. К вечеру он стал дышать все реже и реже. Наконец, он медленно повел рукую, положив ее на грудь, и все было кончено. В первый раз я видел торжество смерти во всем его величии.

Павлова похоронили на Пятницком кладбище. Немногие друзья сопровождали его гроб. После похорон, Кетчер, Н. М. Сатин, Дмитриев и я отправились обедать вместе. Нам хотелось совершить последнюю тризну по усопшем. Мы вспоминали те богатые дары, которыми наградила его природа, и ту бурную жизнь, в которой он их растратил, его блистательный ум, его разносторонние таланты, умение увлекать людей, мастерство писать, а вместе горячее сердце, неизменное в дружбе, отзывчивое на добро, чуткое к нравственным требованиям, хотя слишком часто поддававшееся страстным увлечениям, из-за которых люди, не знавшие его близко, не могли разглядеть таившегося в нем огня. Не я один, связанный с ним многолетнею дружбою, оставшеюся наследием от

отца, но все мы в один голос произнесли над свежею могилой примиряющий приговор и с сердечным чувством подняли бокал в память умершего. Для меня в этой могиле хоронились воспоминания о лучших днях моей молодости, о первом вступлении в обаятельную сферу умственных интересов, наполнявших московское общество сороковых годов, о теплом участии, которое приветствовало первые мои успехи в университете и на литературном поприще.

Надобно было хлопотать о судьбе „Русских Ведомостей“, которые оставались единственною опорою многочисленной семьи. Наследником являлся законный сын Ипполит, который жил с отцом и страстно его любил. Но распространялись ли права наследства на издание газеты? Это был вопрос сомнительный, ибо разрешение дано было лицу известному правительству, а не случайным его наследникам. В настоящем случае дело осложнялось еще тою поддержкою, которую правительство оказывало предприятию, рассылая газету по волостям. Я написал письмо к Валуеву, и Ипполит Павлов отправился с ним в Петербург. Валуев принял его благосклонно и согласился утвердить за ним издание. Новому редактору приходилось получать деньги, собранные с волостей. В депертаменте ему объявили, что их передаст ему сам министр. Но когда он явился на частную аудиенцию, Валуев, вместо 33 тысяч рублей, вручил ему три. Куда девались остальные деньги, осталось неизвестным. Можно думать, что не казна вознаградила себя на счет редакции за оказанную помощь.

Имея значительную частную подписку, „Русские Ведомости“ могли вынести этот налог. Но Ипполит Павлов был вовсе не создан для журнального дела. Весьма неглупый, литературно образованный, талантливый, но легкомысленный и неспособный к усидчивому труду, он мог отлично переводить стихи, мог даже, когда хотел, быть хорошим преподавателем; но писать газетные статьи было ему не по силам и не по нраву. К счастью, нашелся человек, который вынес предприятие на своих плечах. То был Скворцов, постоянный сотрудник Н. Ф. Павлова, как в „Нашем Времени“, так и в „Русских Ведомостях“, человек еще молодой, недавно кончивший курс в университете, небольшого ума, со скудным образованием, но

с некоторым талантом, натура добрая и мягкая, хотя крайне неустойчивая. Однажды он пришел к Павлову, прося у него работы. Тот, увидя в ним способность писать и нуждаясь в сотрудниках, оставил его при себе. Скворцов к нему привязался, переносил с ним самые тяжелые времена, отказывался даже от выгодных предложений, а после его смерти остался главною опорою „Русских Ведомостей". Последние перешли наконец совершенно в его руки. Ипполит Павлов женился самым легкомысленным образом, без любви и без расчета; брак вышел неудачный. Тогда он бросил и редакцию, и жену, предоставив то и другое Скворцову. Но Скворцов не довольствовался народною газетою. Успех предприятия доставил ему порядочные средства, которыми он воспользовался, чтобы превратить журнал в политический орган. Когда „Московские Ведомости" приняли решительно попятное направление, „Русские Ведомости" остались единственным представителем либерализма в Москве. Но придать им серьезное общественное значение Скворцов был не в состоянии. У него не было ни ясной политической мысли, ни основательного образования. Он мог быть хорошим сотрудником под руководством умного человека, как Павлов, но к самостоятельной роли он тем менее был способен, что по слабости характера он легко поддавался чужому влиянию. К этому присоединилась вызванная достатком наклонность к разгульной жизни. Вследствие этого „Русские Ведомости" сделались органом различных радикалов довольно низкого пошиба. После смерти Скворцова они перешли в руки акционерной компании социал-демократов, которая владеет ими доселе.

В конце апреля я получил от графа Строганова письмо с извещением, что путешествие наследника, наконец, решено. Он спрашивал, согласен ли я их сопровождать, прибавляя, что наследник очень этого желает, и сам он особенно дорожит моим содействием. Я не имел ни малейшей причины отказываться и охотно дал свое согласие. Мы отправились в половине июня. Кроме графа Строганова и меня, свита состояла из постоянно находившегося при наследнике полковника

Рихтера, секретаря Оома, доктора Шестова и двух молодых ординарцев, Козлова и князя Барятинского.

Рихтер был еще молодой человек; ему было не более 30 лет. Он учился в Пажеском корпусе, затем служил на Кавказе. Оттуда вызвал его бывший воспитатель великого князя Зиновьев, который обратил на него внимание, еще будучи директором Пажеского корпуса. Он был назначен к наследнику, при котором состоял безотлучно. Действительно, для этой должности нельзя было сделать лучшего выбора. Ума он был посредственного и, как все воспитанники Пажеского корпуса и вообще гвардейские офицеры, имел весьма скудное образование; но это был истинно порядочный человек. Немец по происхождению, но вполне обрусевший и преданный России, он сохранил лучшие черты своего племени. Это была натура честная, правдивая, чуждая искательства и лести, а тем более интриги. Спокойный, сдержанный, молчаливый, с безукоризненно светскими формами, он держал себя всегда с величайшим достоинством, но открыт был всякой благородной мысли и всякому сердечному побуждению. С ним можно было откровенно говорить обо всем; он понимал все оттенки человеческих отношений. Были, конечно, и недостатки, свойственные среде, в которой он воспитывался и жил. В нем иногда не совсем приятно поражали замашки так хорошо описанных Тургеневым молодых генералов: порою с важным видом занятие пустяками, великосветские позы, с сверстниками особого рода фамильярность, долженствующая быть высокого тона, но в сущности довольно пошлая. Он любил отпускать плохие каламбуры, что вовсе не шло к его вообще серьезному и сдержанному тону. Но эти мелкие стороны совершенно исчезали перед его прекрасными свойствами. С наследником поведение его было безупречно. Я внимательно всматривался в их отношения и не мог ими налюбоваться: с одной стороны постоянная, неусыпная заботливость, преданность без малейшего угождения, мягкость без уступчивости, неустанное стремление воздержать все мелкое и дурное, направить молодую душу на все хорошее, внушить искреннее и благородное отношение к людям и вещам; с другой стороны горячая, нежная, почти женская привязанность, самое чуткое внимание, самая

обворожительная ласка, в которых ясным пламенем светилась чистая и любящая душа привлекательного юноши. Глядя на них, нельзя было не полюбить того и другого. Путешествуя вместе втечение года, я подружился с Рихтером, а общее горе еще более нас сблизило. Когда после смерти наследника он сделался начальником штаба гвардейского корпуса, я останавливался у него во время поездок в Петербург. Скоро, однако, он должен был оставить это место и временно удалиться из столицы. Он женился на своей родной племяннице, дочери бывшего русского посланника в Брюсселе. Для всех это было неожиданностью. Рихтер любил позировать великосветским львом, ухаживал не без успеха за модными дамами, и никто не подозревал в нем глубокой привязанности к девушке, которая при отменных качествах ума и сердца, не блистала ни красотою, ни богатством, ни даже светским положением. По протестантским законам такие браки дозволялись; но она была православная. Ценя его прежнюю и настоящую службу, на это смотрели сквозь пальцы; но оставить его в Петербурге было невозможно. Его назначили военным агентом во Флоренции. И там я у него гостил среди самой счастливой семейной обстановки. Потом ему дали дивизию на юге, где он умел снискать всеобщую любовь. Наконец, в новое царствование он опять был призван в Петербург, на должность начальника главной квартиры, а вместе управляющего преобразованною комиссией прошений. Он стал одним из самых приближенных людей к царю. Тут, однако, ему пришлось пройти через всякого рода испытания. Сначала он откровенно высказывал свои мысли и взгляды, но скоро увидел, что лучше от этого воздержаться. Жестоким ударом был для него погром, постигший родные его балтийские губернии. Он говорил мне, что прослужит еще три года до полной пенсии, необходимой ему при недостатке средств, и затем удалится. Но три года прошли, и он не удалился. Придворная жизнь и высокие почести взяли свое. Это отразилось и на наших отношениях. Несмотря на то, что мы по целым годам не видались, дружеская связь поддерживалась дорогими нам воспоминаниями, и мы встречались всегда с искренним чувством. Но это продолжалось только до тех пор, пока я за слишком независимый

образ мыслей не подвергся немилости. Тогда я, вместо прежнего теплого привета, при сохранении внешних форм, почувствовал внутренний ледяной отпор. Отношения к людям вообще, испытываются во времена невзгод, которые служат пробным камнем истинного и ложного. Опыт жизни научает нас, что дружба придворных обращается в ледяную кору там, где перестает светит верховное солнце. Видя такие примеры перед глазами, я иногда спрашиваю себя: что есть истинного в душе человека? Были ли пустым призраком проявлявшиеся в молодости прекрасные свойства? Или, может быть, развращающая среда действует с неотразимою силой на всякую душу, не закаленную в борьбе, оттесняя в ней все хорошее, выдвигая все дурное, и мало по малу превращающая наконец человека в совершенео иное сочетание качеств, нежели каким он являлся в молодых летах? Думаю, что немногие, крепкие как скала натуры способны противостоять растлевающему действию почестей и власти; обыкновенные же смертные легко поддаются гибельным их чарам, а при слабости характера совершенно утопают в грязи. К сожалению, мне пришлось это видеть на близких людях.

Отменным, безукоризненно честным и добрым человеком был другой наш спутник Федор Адольфович Оом. Он весь был предан своему долгу и тому лицу, к которому он был приставлен. Живой, веселый, общительный, участливый, он сердцем стоял, может быть, выше всех остальных, но ума он был весьма недалекого, и мелочные стороны его характера выказывались иногда довольно забавно. Он важно обсуждал все вопросы, придавая преувеличенное значение мелочам, вкривь и вкось толковал о людях, пытался разыгрывать несвойственную ему великосветскую роль, обижался, когда ему давали слишком маленький крестик. Я полюбил его, как доброго человека, и всегда остался с ним в очень хороших отношениях; но общего было, в сущности, мало.

Еще менее я мог сойтись с доктором Шестовым. Он был человек не дурной и обходительный, но пошлый. К наследнику он был определен по рекомендации лейб-медика Енохина, которому он приходился племянником, и который всячески старался выдвигать русских. На этот раз выбор был неудачный.

Шестов, говорят, учился хорошо, но доктор он был плохой; он не имел ни любви к медицине, ни каких-либо научных интересов, а любил пожуировать и обладал весьма низкопробными артистическими наклонностями: делал наброски карандашом без всякого таланта и покупал старые галебарды, которые годились только на дрова. Увидав, что я собираю гравюры, он тоже накупил всякой дряни и очень огорчился, когда я ему сказал, что все это не имеет никакой цены. С Оомом они были в дипломатических отношениях, друг над другом исподтишка подсмеивались, однако, с соблюдением полного приличия.

Что касается до двух молодых ординарцев, то это были добрые, милые, веселые ребята, но настоящие гвардейские офицеры, без всяких умственных интересов и без малейшего образования. Козлов был больше идеалист, за что его особенно любил наследник. Впоследствии он сошел с ума, будучи женихом очень богатой, но некрасивой княгини Орбелиани, рожденной Сомовой, вышедшей потом замуж за Мюрата. Говорили, будто он не мог вынести мысли, что женится на деньгах, явление довольно редкое, которое делает ему честь. Барятинский, напротив, очень красивый собою, более прилегал к прозе. Отец его, Анатолий, брат фельдмаршала, был известный кутила, мать столь же же известная красавица и кокетка.[1] Сам он был добрейший малый, без всяких претензий, веселый товарищ, но совершенный младенец, родившийся еще до изобретения различия между добром и злом, и таковым он остался всю свою жизнь. Каково же было всеобщее удивление, когда много лет спустя, другого наследника, тоже Николая Александровича, отправили путешествовать на восток и руководителем поставили Владимира Барятинского! Граф Сергей Григорьевич Строганов и Владимир Барятинский! Одно сопоставление этих имен показывает, какое коренное изменение во взглядах произошло в промежуток двух царствований, как прежде смотрели на путешествие наследника и как смотрят на него ныне.

Граф Строганов действительно был проникнут сознанием своих высоких обязанностей. Он хотел, чтобы путешествие принесло серьезную пользу, чтобы наследник видел и понял

---

[1] Олимпиада Владимировна Каблукова.

все замечательное в Европе, чтобы он набрался новых, возвышенных впечатлений. Объезд германских дворов, с сопровождающим их пустым церемониалом, был неизбежен; имелось в виду и приискание невесты. Но главная цель поездки был Рим, где мы должны были провести четыре или пять зимних месяцев. Я скоро увидел, что я был в путешествии необходимым элементом, ибо мы одни с графом Строгановым могли поддерживать серьезный умственный разговор, в котором наследник, с свойственною ему восприимчивостью, всегда принимал живой интерес. Остальные делали свое дело. Молодые люди веселились и хохотали; на Ооме лежала вся хозяйственная часть; доктор исполнял свои обязанности. Все клеилось, как нельзя лучше. Все жили в полном согласии; втечение годичного путешествия не было и тени неприятности. Отношения были самые непринужденные; стеснения не было ни малейшего; разговор был всегда оживленный и дружественный; можно было высказываться обо всем с полною откровенностью. Мы путешествовали, как кружок друзей, разных возрастов, различных положений, но все соединенные общим чувством и общими стремлениями. Центром этого маленького мира был прелестный юноша, с образованным умом, с горячим и любящим сердцем, веселый, приветливый, обходительный, принимающий во всем живое участие, распространяющий вокруг себя какое-то светлое и отрадное чувство. И как хранитель этого драгоценного цветка, надежды отечества, стоял русский вельможа старого времени, пользовавшийся всеобщим уважением, имевший за собою незабвенные заслуги, одушевленный самыми возвышенными стремлениями к просвещению и самою пламенною любовью к отечеству, с цельным характером, выражавшимся в строгих внешних формах, но мягкий и обходительный в частной жизни. Все преклонялись перед его авторитетом, но рука его не тяготела ни над кем. Впоследствии говорили, будто граф Строганов сурово обходился с наследником, особенно во время его последней болезни. Я, близко видевший их отношения, могу свидетельствовать, что ничего подобного не было и не могло быть. Тут было благоговейное уважение с одной стороны и самое мягкое попечение с другой. Лучшего ничего нельзя было желать.

Так мы отправились в путь. Могли ли мы предчувствовать, как мы через год вернемся?

Первая остановка была в Берлине, где на этот раз мы только переночевали. Мы не избегли мундиров и представлений, но все это было в весьма умеренном количестве. Нас поместили в доме русского посольства. Вечером я пошел к наследнику и застал его одного с князем Николаем Алексеевичем Орловым, в то время нашим посланником в Брюсселе. Он случайно был проездом в Берлине и пришел откланяться великому князю, с которым был близок,

Орлова я знал уже прежде. Еще в 1858 году, во время моего кратковременного пребывания в Париже, где он в ту пору жил, он сам приехал ко мне знакомиться, позвал меня обедать, и с тех пор между нами завязались хорошие отношения. Это была одна из самых странных личностей, каких мне доводилось встретить. Сын первого любимца императора Николая, воспитанный в придворной сфере, близкий к великим князьям, он был совершенно чужд господствовавших в этом круге понятий, а, напротив, питал в себе неодолимое стремление к просвещению, при ярко либеральном образе мыслей. А так как он не был довольно умен, чтобы сладить с этим противоречием между стремлениями и средою, то он в сущности не знал, что́ делать с своим умственным достоянием, и часто попадал в неловкое положение. Сначала он служил в военной службе. Под Силистрией безрассудная храбрость, которая побудила его настаивать на предприятии несчастного ночного штурма, была причиною потери глаза. Он вышел в отставку и поселился в Париже. Там он водился преимущественно с литераторами, часто без большого разбора. Он был в коротких отношениях с Тургеневым, с графом Салиас, с Феоктистовым; в Брюсселе, куда он был назначен посланником после внезапной смерти Рихтера, одним из его приближенных был Молинари. Во время Польского восстания он вдруг выкинул самую удивительную штуку. Как либерал, он стоял за независимость Польши, а как человек, витающий в облаках, он вздумал осуществить эту мысль немедленно, по собственной инициативе. С этой целью он отправился к Людовику-Наполеону и на частной аудиенции предложил ему

решить польский вопрос назначением великого князя Константина Николаевича королем Польши. Император французов, разумеется, скоро согласился, о чем Орлов тотчас поехал сообщить государю. Для дипломата это было нечто чудовищное. Только высокое положение и мягкость государя, который любил его за его честность и прямоту, спасли его от отставки. Впоследствии он сделался послом, сначала в Вене, потом в Париже. Везде он умел снискать любовь подчиненных, которых привлекали его мягкий, обходительный нрав и безукоризненное благородство характера. Отношения были чисто товарищеские, чему я сам был свидетелем, проезжая через Вену. Но света он попрежнему чуждался, что для посла было не совсем удобно. В Париже он часто видался с Тьером, а после смерти последнего жил почти в полном уединении. С летами его яркий либерализм несколько угомонился; но в то время, о котором идет речь, он выражался иногда в весьма резкой форме. После довольно продолжительной беседы, прощаясь с наследником и со мною, он меня обнял и сказал: „До свидания, надеюсь, в русском парламенте, хотя мы с вами, по всей вероятности, будем сидеть на разных скамьях, ибо я наверное буду сидеть налево". Эта странная выходка, не вызванная даже предшествующим разговором, поразила как меня, так и великого князя, который очень любил князя Орлова. Что она означала? Хотел ли он внушить молодому человеку мысль о необходимости конституции или это была просто либеральная поза? Всего менее я мог понять, зачем ему нужно было заранее обрекать себя на оппозиционную роль, между тем как созвание русского парламента очевидно предполагало в правительстве такое направление, которое должно было найти сочувствие и поддержку всех либеральных людей. После смерти наследника, Орлов хотел почтить его память проведением в русском законодательстве отмены телесного наказания. Он явился ко мне в Москву с этим проектом, которому я, разумеется, вполне сочувствовал. Он был главным двигателем этого дела, чем оказал серьезную услугу России.

Из Берлина мы проехали прямо в Киссинген, где императрица пила воды и где находился сам государь. Наследнику тоже было предписано лечение ваннами. Перед отъездом из

России у него вдруг сделалась сильная боль в пояснице. В отсутствии Рихтера, который уехал на несколько дней в Остзейский край проститься с родными, он в сырую погоду отправился на охоту с Николаем Максимилиановичем Лейхтенбергским. Говорили, что он тут простудился и схватил lumbago. Доктора, созванные на консилиум, не нашли ничего серьезного и предписали киссингенские ванны и затем морские купания в Схевенингене. Но ваннами великий князь не пользовался, ибо чувствовал себя совершенно хорошо. На вид он казался бодрым и здоровым. Никто не подозревал, что в нем таилась уже болезнь, которая через несколько месяцев должна была свести его в могилу.

В Киссингене был большой съезд. Тут находился Баварский король,[1] в то время еще совершенно юный, с интересною наружностью. Он был неразлучен с наследником, которому однако скоро надоел своими фантазиями. Был также большой сбор дипломатов: сам канцлер князь Горчаков, наш посол в Париже — барон Будберг, человек умный, сметливый, живой, но интриган и неразборчивый на средства; приехал из Турина и граф Штакельберг. Горчакова сопровождали ближайшие его сотрудники, Гамбургер и Жомини. Были и другие высокопоставленные лица, которые толпились около двора.

Свиту наследника разместили по разным гостиницам. Я обедал обыкновенно за обер-гофмаршальским столом, под председательством графа Андрея Петровича Шувалова, в пестрой компании скучных стариков и не менее скучных молодых. Иногда меня приглашали к царскому столу, где чопорный этикет царил во всем своем величии. Разговоров почти не было; все больше молчали и глядели подобострастно, в ожидании, что на них упадет милостивое слово. После чинного обеда были столь же чинные обходы; каждому дарилось пустое словечко, которое делало его счастливым. Когда нас распускали, я уезжал с чувством невольного облегчения. К счастью, придворная жизнь для меня этим ограничивалась. Граф Строганов и Рихтер, которые почти ежедневно приглашались по вечерам, говорили, что там царила такая невообразимая скука, что они просто не знали, куда деваться.

[1] Людвиг II (род. 1845).

В Киссингене происходили однако важные дипломатические совещания. Это был тот момент, когда раздавленная немецкими войсками Дания готова была сдаться на всех условиях. Англия и Франция предлагали России сделать для ее защиты совокупную морскую демонстрацию. К этому, сколько мне известно, подбивал Будберг, который вел интригу против Горчакова и громогласно порицал его политику, как лишенную всякой цели и всякого содержания. Он мне самому высказал это, вовсе не стесняясь. Я отправился к Горчакову и нашел его в очень дурном расположении духа вследствие затеянных против него подкопов. „Говорят, зачем канцлер в Киссингене,— сказал он мне.—А затем, что присутствием канцлера в Киссингене предупреждена европейская война". Действительно, Горчаков настоял на отказе русского правительства в совместном действии. Дания была отдана на жертву врагам, и у Пруссии были развязаны руки. Это был роковой шаг, из которого вытекли все последующие события. Князь Горчаков ничего этого не предвидел. Впечатлительный и тщеславный, он руководствовался в своей политике не глубоко обдуманными целями, не сознанием истинных интересов России, а случайным настроением в пользу той или другой державы. В первые годы после Крымской войны вся наша дипломатия двигалась одним чувством: ненавистью к Австрии, которая отплатила нам неблагодарностью за оказанные ей услуги. После Польского восстания предметом негодования сделались французы, хотя Людовик-Наполеон заранее предупреждал государя о разногласии по польскому вопросу. В то время Пруссия, которая не менее нас была заинтересована в подавлении польского мятежа, одна оказала нам дипломатическую поддержку, и за эту ничего не стоившую ей услугу она теперь получила существенное вознаграждение.

Из Киссингена мы прямо отправились на морские купания в Голландию. Мы выехали с царским поездом. Императрица оставалась еще допивать свои воды, а государь вернулся в Россию. Часть пути мы ехали вместе; на станциях были общие завтраки и обеды за царским столом. Я все всматривался в фигуру монарха, который здесь являлся мне в обыденной жизни, и я все удивлялся, как мало его наружность говорила о величии

совершенных им дел. В нем не было ни обворожительных приемов Александра I, которые покоряли сердца, ни внешнего величия Николая, поражавшего всех, кто к нему приближался. Лицо было довольно красивое, с мягким выражением, но ничего не значащее; какие-то телячьи глаза, тщательно приглаженные наперед виски, пустая речь, довольно пошлые ухватки. Вместо самодержавного венценосца, я видел перед собой армейского майора. Откуда же взялись все эти великие деяния, которые перевернули русскую землю и разом поставили ее на новый путь? За эти деяния я готов был любить его всем сердцем, но понимал, что личным обаянием он действовать не мог. Этого дара ему не было дано. Мягкий, добрый, снисходительный, одушевленный самыми благими намерениями, он не доверял ни себе, ни другим, а потому не в состоянии был никого к себе привязать. Его трагическая смерть поразила всех ужасом, но мало возбудила сожалений. Он мог служить примером того, что провидение для совершения величайших дел употребляет иногда весьма обыкновенные орудия. Когда вопрос созрел в общественном сознании, для решения его не нужно гения; достаточно человека благонамеренного и здравомыслящего.

Прибыв в Голландию, мы прежде всего заехали на поклон к вдовствующей королеве Анне Павловне, весьма известной в России тем, что ее имя последнее провозглашалось на ектинье, в те времена, когда диакон с амвона перечислял одних за другими нескончаемых членов царской фамилии. Она приняла нас в своем загородном дворце, и тут я увидел настоящий старый тип вдовствующей королевы, тип, исчезнувший навсегда среди новых условий и понятий. Во всей ее особе выражалась какая-то торжественная важность и павлинность, прикрывающая совершенную пустоту. Она двигалась и поворачивалась медленно и плавно, снисходительно роняла поочередно любезные слова, и в каждом слове выражалось глубокое сознание, что этим самым оказывается милость и что эту милость должны чувствовать [1].

За обедом я сидел возле секретаря русского посольства, Сиверса, который приехал встретить наследника. Чтобы завязать

[1] Ср. А. Ф. Тютчева, При дворе двух императоров, вып. II.

разговор, я самым невинным образом спросил его: давно ли он в Гааге. Вдруг он выстрелил, как бомба—это было самое больное его место: „Представьте, двадцать лет!—воскликнул он с жаром.—Никто не понимает, отчего я так долго здесь сижу. Я давно бы имел право на высшее назначение, но вследствие интриг меня все обходят". Конечно, все, кроме самого Сиверса, очень хорошо понимали, отчего он так долго сидел на месте. Карикатурист Всеволожский, незадолго перед тем состоявший при посольстве в Гааге, оставил там прелестный альбом с жизнеописанием Сиверса, который завершал свою дипломатическую карьеру тем, что в придворном мундире, с глубоким поклоном подавал свою кредитивную грамоту какому-то негритянскому корольку.

В Схевенингене мы пробыли месяц, и это время осталось для меня лучшим воспоминанием всего путешествия. Мы жили исключительно в своей компании, купались в море, гуляли, осматривали достопримечательности страны. Все были бодры и веселы. Никаких придворных приемов не было. Ежедневно к обеду приезжал приставленный к наследнику адъютант короля, ван Капеллен, очень милый человек, которого мы расспрашивали о Голландии и который сопровождал нас иногда в наших экскурсиях.

Все мы Голландиею очень заинтересовались. Мне в первый раз доводилось быть в этой совершенно оригинальной стране, отвоеванной у моря; и непохожей ни на какую другую. Свежая зелень лугов, во все стороны перерезанных каналами; пестрые пасущиеся на них стада; всюду вертящиеся мельницы, оживляющие ландшафт; паруса, которые, вздымаясь над невидимою лодкой, как бы скользят по траве, и рядом с этим безбрежное море с тысячами переливов, усеянное судами, пенистые валы, прибивающиеся к плоскому берегу, окаймленному грядою песчаных холмов,—все это представляло своеобразную и привлекательную картину. Кругом все носило печать мирной и довольной жизни: необыкновенно опрятные жилища; голландки с их чистыми юбками и золочеными головными уборами; крепкие рыбаки, вытаскивающие с судов ежедневную морскую добычу; всюду следы заботливости, бережливости и труда. И среди этой обстановки целый рой воспоминаний о героических

временах и чудеса искусства, свидетельствующие о высоком некогда подъеме народного духа. Создания художества делают особенно сильное впечатление, когда их видишь в той среде, которая их произвела. Граф Строганов был любитель и знаток картин. В этом мы с ним сходились вполне. Мы с жадностью посещали музеи в Гааге, Амстердаме, Гарлеме, Лейдене, Роттердаме. В первый раз я увидел это чудо голландского искусства, единственное произведение, достойное стать на ряду с итальянскою живописью, „Ночной дозор" Рембрандта, где яркость, сила и игра красок и света, вместе с энергическим выражением лиц, могут соперничать с лучшим, что производила человеческая кисть. Я любовался и изумительно тонкими переливами теней в знаменитом „Уроке анатомии", и полными жизненной правды фигурами Ван-дер-Гельста, и смелыми, выразительными портретами Франца Гальса, быком Поль Поттера, внутренностями жилищ Питтер-де-Гуга, которым врывающийся в окно солнечный луч придает какое-то чарующее освещение, прелестными семейными сценами, животными, пейзажами, подобных которым не производила никакая школа. Каждая маленькая картинка представлялась перлом, на который нельзя было наглядеться.

Здесь я положил начало и своему собранию картин. Однажды, когда мы с графом Строгановым осматривали в десятый раз Гаагский музей, директор сказал нам, что у него в задней комнате есть картины для продажи. Граф Строганов тотчас же накинулся на два маленьких пейзажа ван-Гойена, за которые он заплатил триста франков, а я столько же дал за два фамильных портрета Петра Назона, которые продавались каким-то разорившимся роттердамским семейством. Они теперь висят у меня в Карауле.

Я продолжал собирать и гравюры. Каждый день после завтрака, когда не было других предположений, я отправлялся пешком через лес, соединяющий Схевенинген с Гаагою. Я или шел в музей или чаще заходил к продавцу гравюр Фишеру, у которого был порядочный материал. Я показывал свои приобретения наследнику, который тоже любил и умел ценить искусство. Он, в свою очередь, заинтересовался гравюрами и положил начало собранию, которое после его смерти исчезло

неизвестно куда. Там, между прочим, были довольно ценные портреты Вильгельма Оранского, которого великий князь высоко чтил. Живя в Схевенингене, он читал историю Мотлея, которая могла внушить уважение к изумительной стойкости этого маленького народа и к доблестям его героев.

В наших поездках, разумеется, не был забыт и Заандам, эта колыбель русского величия. С глубоким благоговением вошли мы в низенький деревянный домик, где жил могучий гений, создавший новую Россию; мы видели простые стулья и убогую кровать, на которой богатырь едва мог растянуться. Здесь он в униженном виде работал неутомимо для славы своего народа, и теперь, на поклонение его памяти, в эту ветхую хижину являлся наследник русского престола, хранитель великих преданий, будущий властитель земли, разросшейся во все стороны и ставшей одною из могущественнейших держав в мире. Мы нашли здесь и следы прежних посещений русских царственных особ: подписи в книге, стихи Жуковского, некогда сопровождавшего тогдашнего наследника Александра Николаевича; нашли и курьезный перевод, сделанной на доске голландской надписи: „Ничто великому человеку мало" (Nichts ist dem grossen Mann zu klein) [1]. Посещение Заандама могло исполнить нас патриотическою гордостью при сравнении прошедшего с настоящим, при мысли о великом начале, принесшем столь обильные плоды.

Среди этой приятной жизни нас постиг неожиданный удар. Из России пришло известие, что старший сын графа Строганова [2] скончался внезапно. Он лег спать здоровым, а поутру его нашли мертвым в постели. Старик был совершенно сражен горем. Он обыкновенно разыгрывал из себя спартанца, но тут он не выдержал; таившаяся в сердце любовь выразилась самым трогательным образом. Он немедленно по телеграфу просил позволения поехать недели на две в Петербург, чтобы утешить жену. Разумеется, разрешение было тотчас дано. При своей ненависти ко всяким демонстрациям, он просил, чтобы его не провожали на железную дорогу. Но я рассудил, что ему слишком грустно будет уезжать одному, и все-таки поехал;

[1] Ничто не мелко для великого человека.

[2] Александр Сергеевич Строганов (1818-1864).

он был этим тронут. Я нашел там и старого его товарища, тогдашнего русского посланника в Гааге, добрейшего старика Мансурова. Они оба были адъютантами Александра Павловича и вместе, еще молодыми офицерами, сопровождали тело императора из Таганрога.

Нас крайне озабочивало назначение временного заместителя. Ну, как пришлют какое-нибудь высокопоставленное лицо, которое нарушит весь строй нашей жизни! Скоро однако мы успокоились: назначен был граф Матвей Юрьевич Виельгорский, брат весьма известного в петербургских литературных кружках, в то время уже покойного Михаила Юрьевича, добрейший и милейший человек, обходительный, ласковый, страстный музыкант. Я знал его давно по родственным связям с Веневитиновым, который был женат на его племяннице, дочери Михаила Юрьевича, и мог только радоваться этому назначению.

Прежде однако нежели он прибыл, наша компания умножилась лицом совсем другого типа. На свидание с наследником приехал в Схевенинген Владимир, или, как его называли, Вово Мещерский, будущий редактор „Гражданина". Рихтер объяснил мне, что его старались сблизить с великим князем вследствие того, что из всех петербургских молодых людей высшего общества он один имел некоторые умственные и литературные интересы. Действительно, он был внук Карамзина и хранил в себе литературные предания семьи. Но рядом с этим у него была прирожденная наклонность к самому утонченному искательству и раболепству. Еще будучи совершенно молодым человеком, чуть ли не двадцати лет, он выхлопотал себе весьма характеристическое поручение в Западном крае: он должен был присутствовать на экзаменах в мужских и женских заведениях и лучшим ученикам и ученицам раздавать фотографические карточки императрицы. Такое начало обещало много. С тех пор заветною его мечтою сделалось сближение с наследником русского престола. Он всячески подольщался к Николаю Александровичу, но вследствие ранней смерти последнего хлопоты его пропали даром. Тогда он обратился к новому цесаревичу. Однако, тут его искательство было до такой степени беззастенчиво и назойливо, что он наконец совершенно подорвал свой кредит. Как видно, он с летами

не научился тонкости, а потому иногда самым забавным образом попадался в просак. Однажды он встречает Оома и, глядя на него с участием, говорит: „Федор Адольфович, вы что-то очень бледны и худы; вам бы следовало полечиться. Поедемте в Карлсбад“.—„Куда мне в Карлсбад!—отвечал тот—Я должен сопровождать наследника[1] в его путешествии по России, и мне некогда разъезжать по водам“. Через несколько дней произошла новая встреча. „Федор Адольфович, на вас лица нет!—воскликнул Мещерский.—Поверьте, вам необходимо лечиться. Поедемте вместе в Карлсбад“. Тот опять решительно отказался. Вдруг, несколько времени спустя, Оому приносят список лиц, назначенных сопровождать наследника, и оказывается, что его имени тут нет, а вместо него назначен Мещерский. Он тотчас отправился к великому князю узнать, что̀ это означает. „Да разве вам не нужно ехать лечиться в Карлсбад?—спросил цесаревич.—Мещерский мне сказал, что вам это необходимо, но что вы совеститесь об этом говорить“.—„Я, ваше высочество, никогда не отказывался от исполнения своих обязанностей и вовсе не в таком положении, чтобы мне нужно было непременно ехать на воды. Мещерский меня уговаривал ехать вместе с ним, и я решительно отказался“.—„Я тебе давно говорила об этом Мещерском“, воскликнула сидевшая тут цесаревна. Тотчас было приказано назначить Оома для сопровождения во время путешествия, а Мещерскому запрещено было даже являться в те места, где будет проезжать наследник.

Он успел однако опять втереться в милость. Чтобы заманить к себе великого князя, он устраивал у себя вечеринки, на которые приглашал более или менее интересных людей, способных вести серьезный разговор. Но и это была неудачная выдумка. До умственных интересов Александр Александрович был не охотник, и это скоро ему надоело. В 1871 году я проводил зиму в Петербурге. Однажды я получаю записку от Мещерского, с которым мы даже не обменивались визитами; он приглашал меня на вечер, устроенный будто бы по желанию наследника для известного педагога, барона Корфа, который в это время гостил в Петербурге. Барон Корф был

[1] Будущего Александра III.

человек интересный, и я поехал; но меня заранее предупреждали, что эти вечера — дело известное: они всегда устраиваются по желанию наследника, и наследник никогда на них не бывает. И точно, Мещерский встретил меня с выражением сожаления, что великий князь никак не может быть, потому что отозван на вечер к государю. После я узнал, что никакого вечера у государя не было, и наследник преспокойно просидел дома. Для меня это было безразлично, и я провел приятный вечер с бароном Корфом, в котором нашел человека очень живого и страстно преданного своему делу. Но сам Корф был в большом затруднении. Мещерский уверил его, что великий князь пламенно желает его видеть, а, между тем, ему необходимо было ехать в Новгород, где ему готовились овации и хотели дать обед. „Я не могу медлить поездкою в Новгород,—говорил он,—но для нас так важно, что наследник русского престола интересуется народными школами, что я готов пожертвовать всем". Несколько времени спустя я случайно встретил Мещерского. „Ну, чем же кончились затруднения барона Корфа?" спросил я. Он только отвернулся и замахал рукой.„ Лучше не говорите", сказал онг рустным тоном. Оказалось, что несчастный Корф съездил в Новгород наскоро и нарочно оттуда вернулся, чтобы видеть великого князя, и все-таки егоне видал. Нельзя не сказать, что симпатическую роль играл тут один барон Корф.

Видя, что не удается ему сделаться другом наследника, Мещерский избрал другой путь: он затеял газету с ярко крепостническим направлением, нечто вроде „Московских Ведомостей", но без ума, без образования и без таланта. На этот раз предприятие вышло удачное. Несмотря на то, что газета была смесью пошлости и нахальства, она имела успех в высших сферах, которые на этот счет весьма неразборчивы. Я слышал, что она получает довольно значительные субсидии. Даже случившаяся с редактором грязная история, наделавшая скандал, не лишила его оказываемых ему милостей. Мещерскому не удалось снискать дружбу царственных особ, но он сделался лицом в русском обществе.

В отсутствие графа Строганова королева София вздумала развлечь наследника, устроив для него маленький вечер. Она пользовалась репутацией значительного ума и любезности, но

вечер вышел один из самых невыносимых, какие мне доводилось проводить в своей жизни. Для увеселения гостей устраивались разные хитроумные игры (jeux d'esprit). Я вспомнил баронессу Раден, которая говорила, что это страсть всех царственных особ. Сама королева заранее к этому приготовилась и хотела блистать своим остроумием, но все остальные были поставлены в тупик. Тут, между прочим, был лорд Нэпир, бывший английский посол в Петербурге, человек очень умный, образованный и приятный, который нарочно приехал в Гаагу на поклон к королеве. С его помощью можно было вести салонный разговор, оживленный и интересный. Вместо того, его заставляли разгадывать разные глупые загадки, и он играл роль совершенного дурака. До сих пор не могу забыть его печальной физиономии, когда он в раздумьи стоял перед королевой, не зная, чтó ему вымолвить. Столь же неудачны были попытки выказать ум принца Оранского [1]. Он тоже не умел ничего разгадать и ответить, и постоянно убегал в соседнюю комнату болтать с фрейлинами, что для него было гораздо интереснее. Наследник, разумеется, не мог отвертеться, а мы все время старались прятаться по углам, чтобы нас не притянули к этой пытке. Когда кончился вечер, мы вздохнули свободно и с чувством облегчения от нестерпимого гнета вернулись домой.

Перед отъездом пришлось раскланяться с королем, и тут опять произошла комическая сцена. Тяжелый и неповоротливый король голландский [2] видимо не находил, чтó ему сказать этому ряду облеченных в мундиры людей, совершенно ему незнакомых. Он подходил по очереди к каждому и с грустным видом повторял одну и ту же фразу: „Et vous aussi, vous nous quittez!“ [3]. Кто-нибудь один из нас мог отвечать, что жаль расставаться с таким интересным краем; но разнообразить ответ было мудрено. Из всех венценосцев, которыми нам приходилось представляться, я нашел, что самый изобретательный был король португальский [4]. Обходя всех по очереди, он

---

[1] Вильгельм (род. 1840).

[2] Вильгельм III.

[3] „Вы тоже нас покидаете!“.

[4] В 1864 г. королем Португальским был Людвиг I, брат умершего в 1861 г. Педро V.

каждому шептал что-то на ухо, так что соседи не могли расслышать. Этим способом можно было одну и ту же фразу отпустить всем, не будучи смешным.

Из Схевенингена мы прямо проехали в Копенгаген. Это была одна из главных целей нашего путешествия, ибо тут находилась та юная особа, которую наследнику прочили в невесты[1]. С первого взгляда впечатление было самое благоприятное: мы увидели прелестную молодую девушку, с миловидным лицом, с скромным и симпатическим выражением. Наследнику она тотчас полюбилась, и мы все были очарованы. Под этим впечатлением все окружающее показалось нам в привлекательном виде: и добрый датский король и его умная и глухая жена[2], и несколько патриархальный пошиб двора, и любезная и приятная статс-дама, графиня Ревентлов, прогулки, обеды, даже обходы и вечера. Нам было так весело на душе, что мы ничем не тяготились.

Русским посланником в Дании был в то время барон Николай, женатый на сестре жены моего брата, рожденной Мейендорф. Они были очень милые люди, и я был с ними в хороших отношениях. Они стали расспрашивать меня о наследнике; я сообщил то, что я видел и знал. Они чрезвычайно обрадовались. „Представьте,—сказали они мне,—в виду предполагаемого брака, мы старались собрать сведения о великом князе, и от людей, повидимому весьма близко стоящих к этим сферам, получили самое безотрадное изображение его характера. Нас уверяли, что он очень сердит, очень лукав и очень скуп.“ Этот отзыв показал мне, какие чувства господствуют в окружающей престолы среде, где самое низкое раболепство умеет сочетаться с самым беззастенчивым злословием.

Через несколько дней мы уехали с самым радостным чувством и направились в Дармштадт, где наследник должен был сообщить родителям о результатах своего посещения. Императрица гостила там у своего брата; вслед за тем подъехал и государь. По этому случаю великий герцог[3], большой любитель театра, задал парадный спектакль. У государя спросили:

---

[1] Принцесса Дагмара, будущая имп. Мария Федоровна.

[2] Христиан IX, и королева Луиза.

[3] Людвиг III.

какую пьесу он хочет видеть. Он выбрал „Robert et Bertrand“, историю двух воришек. Для парадного представления это был довольно странный выбор. Государь любил театр, как отдохновение, и особенно, как случай посмеяться. Когда он несколько лет спустя, поехал в Париж, он еще с дороги по телеграфу заказал себе ложу и в самый вечер при езда отправился смотреть оперетку „La duchesse de Géroldstein“. Великий герцог дармштадтский, который гордился своим театром, при вторичном представлении сам уже назначил пиесу: давали „Гугенотов„ Во время антрактов выходили пить чай в боковую залу, где на двух противоположных концах накрыты были большие столы, один для высочайших особ, другой для придворных и свиты. Матвей Юрьевич Виель горский приходил от этого в негодование. „Посмотрите на этих немецких князьков,—говорил он мне,—как они держат себя особняком. У нас к царскому столу всегда приглашают и других, а тут они считают ниже себя мешаться с обыкновенными смертными“.—„А я нахожу этот этикет очен удобным,—отвечал я,—мы тут сидим и разговариваем без всякого принуждения, а если бы произошло смешение, непременно почувствовалось бы общее стеснение“.

В Дармштадт приехал и граф Строганов. Он остановился в Франкфурте и прислал пригласить меня к себе. Мы обедали вдвоем. Он расспрашивал о Копенгагене, и я сообщал ему свои впечатления. Во время обеда старик вдруг остановился. „А мне, право, совестно,—сказал он,—что я в Схевенингене вел себя совершенно ребенком“. И при этом он опять не выдержал, слезы полились градом. Напускная спартанская твердость не в состоянии была побороть внутреннего горя.

Надобно было опять ехать в Копенгаген с формальным предложением. Но прежде этого пришлось сделать несколько родственных визитов. Мы отправились в Фридрихсгафен, резиденцию Вюртембергского короля [1] на Боденском озере, где собралась вся царская семья праздновать полное совершеннолетие наследника. 8 сентября ему минуло 21 год.

Пошла обычная рутина придворной жизни: представления, мундиры, парадные обеды, скучные обходы с пустыми

[1] Карла, женатого на дочери Николая I, вел. кн. Ольге Николаевне.

разговорами и, к довершению всего, пожалование крестиков. Я питал к ним неодолимое отвращение, видя как суетные люди страстно их домогались и с гордостью их носили, и я не раз упрашивал, чтобы меня от них избавили; но мне говорили, что это невозможно. Утром 8 сентября нам принесли вюртембергские ордена, которые мы должны были надеть к обеду. В первый раз мне приходилось украшаться этою вывескою человеческой пошлости, и я сделал это с каким то чувством негодования и отвращения. Перед обедом наследник, увидев меня в полном параде, подошел ко мне и сказал с улыбкою: „А, наконец и вы в ордене!"—„Мне очень жаль, ваше высочество,—отвечал я,—что мне пришлось в первый раз оскверниться в день вашего рождения". Он рассмеялся. Скоро пришлось к этому привыкнуть, а после смерти наследника я, при парадной форме, всегда надевал датский орден, как грустное воспоминание прошлого.

К счастью, в Фридрихсгафен приехала великая княгиня Елена Павловна со своею свитой. Среди придворной суеты и пустоты это было для меня умственное и сердечное отдохновение. После первого вечера мы возвращались домой вместе с баронессой Раден. „А знаете ли,—сказал я—ей, что король вюртембергский, который слывет далеко не за умного человека, сделал на меня хорошее впечатление. Он подошел ко мне и стал говорить о своих путешествиях. Это—первое человеческое слово, которое я слышу на этих придворных обходах". Она расхохоталась. „Это я ему непременно скажу,—отвечала она. —Представьте, он вас принял за отчаянного республиканца; говорит, что вы слушаете с таким высокомерным видом, как будто все, что вам говорят, не стоит внимания". Я заметил, что это вероятно происходит оттого, что они все привыкли видеть вокруг себя раболепные физиономии, и когда их не встречают, находят это странным и неприличным. На следующий день король вюртембергский отыскал меня в толпе и долго беседовал со мною. Он, видимо, был польщен моим отзывом.

Из Фридрихсгафена мы поехали на поклонение к другому старому родственнику, будущему императору Вильгельму, который в это время находился в Потсдаме. Опять пошли представления, мундиры, парадные обеды, которые отличались

только тем, что здесь была несметная толпа генералов и все носило военный характер; пошли обходы с пустыми разговорами и, наконец, неизбежное пожалование крестиков. Федор Адольфович пришел сообщить мне с огорчением, что нам дали самый маленький орден короны. Я воспользовался пребыванием в Потсдаме, чтобы всякий день ездить в Берлин, где я проводил утро, осматривая музеи и рыская по продавцам гравюр.

Наконец, в Киле мы сели на царскую яхту, которая привезла нас в Копенгаген. Наследник с графом Строгановым и Рихтером тотчас отправились в загородный дворец, где находилась королевская семья, а прочие остались в Копенгагене дожидаться результата. К вечеру нам прислали сказать, что мы можем ехать с поздравлением. Мы встретили молодую чету в коридоре, отправляющуюся вдвоем, под руку, в свои апартаменты. Это была одна из самых радостных минут моей жизни. Оба были молоды, красивы, влюблены друг в друга; оба сияли счастием. Будущее представлялось в самом радужном свете не только для них самих, но и для всей России. Мы с неудержимым порывом бросились их поздравлять. А шесть месяцев спустя, мы провожали гроб нареченного жениха, увядшего в цвете лет.

Однако любовь его не пропала даром. Избранная им невеста сделалась русскою императрицею и проявила на престоле те прекрасные сердечные свойства, которыми одарила ее природа. Иным это казалось мало. Граф Строганов, который требовал от императрицы ума, образования и характера, способных поддержать высокое общественное и всенародное положение, приходил иногда в отчаяние. Глядя на сохранившуюся до зрелых лет неумеренную любовь к танцам и нарядам, он с горечью говорил: „C'est une poupée de Saxe!“ [1]. Но этот приговор был слишком строг. Она гораздо более, нежели саксонская кукла: она—чистое и любящее существо, добрая жена и нежная мать. Ей в значительной степени нынешняя царская семья обязана тем счастливым семейным бытом, который составляет лучшее ее украшение. Когда изредка случается представляться императрице, меня всегда пленяет ее милый и приветливый взгляд, ее ласковая улыбка, даже некоторая робость

[1] „Это кукла из саксонского фарфора“.

и неумение выражаться, несвойственные высокому сану. Я вспоминаю ту поэтическую минуту, когда я видел ее молодою и счастливою, под руку с столь же счастливым царственным женихом, и мне кажется, что не даром он отдал ей свое сердце.

Мы две недели прожили в находящемся близ Эльзенёра загородном дворце датского короля, Фреденсборге. Для влюбленной четы время, конечно, быстро летело, но мне оно показалось очень долгим. Придворная скука совсем меня одолела. Для человека, привыкшего к серьезным умственным интересам, этот быт через некоторое время становится невыносимым. Я не тяготился этикетом; напротив, я находил его чрезвычайно удобным, ибо знаешь заранее все, что нужно делать. Меня даже забавлял вид торжественных церемоний в довольно патриархальной среде. Перед обедом все собирались в аванзале, а царственные особы проходили в гостиную. Старый гофмаршал с важностью затворял двери, пока те строились в ряд. Затем дверь с шумом растворялась, и вся процессия попарно шествовала торжественным ходом мимо нас. За нею все устремлялись в обеденную залу, где каждому назначено было свое место. За обедом еда была некоторого рода развлечением; но самое убийственное начиналось после. Каждый из членов королевской семьи считал непременною обязанностью ежедневно обойти всех и всякому сказать приветливое слово. Намерение было самое похвальное; но приветливые слова исчерпывались, и говорить было решительно нечего. Я старался прятаться где-нибудь сзади, в надежде, что меня не заметят, но редко удавалось ускользнуть от разговоров. Однажды я в грустном ожидании стоял поодаль, рядом с милейшим и добродушнейшим капитаном царской яхты Дмитрием Захаровичем Головачевым, и вдруг мы видим, что после всех пускается в движение какая то молодая королевская родственница, гостившая в Фреденсборге. „Господи, и эта с своими подходцами!“—воскликнул он в отчаянии. Хорошо еще, когда этим все кончалось; но обыкновенно после роспуска нас ловили и приглашали на вечер. Не могу забыть, как я раз, получивши такое приглашение, зашел сообщить это печальное известие графу Строганову. Старик только что снял мундир, облекся в халат и уселся спокойно писать письма домой. Как теперь вижу его негодующую

физиономию: „О, о, о! Это уж слишком", воскликнул он, качая головой. Чтобы избавиться от придворных приемов, он уезжал на несколько дней в Копенгаген, будто бы для осмотра древностей, а я ездил с ним под предлогом, что нельзя старика оставлять одного. Я разыскал там у одного любителя собрание гравюр, где среди всякого хлама были отличные вещи. Здесь я приобрел перл своей коллекции, великолепный оттиск „Поэта Виргилия в корзине" Луки Лейденского, что вознаградило меня за всю испытанную скуку.

Приезд принца Вельского [1] с семейством и свитой внес более внешнего оживления, но нисколько не более занимательности в патриархальную атмосферу копенгагенского двора. Я увидел здесь, какие глупые игры могут веселить англичан. Есть игра, которая вся состоит в том, что сосед говорит соседу: „Хотите купить мою утку?" (Will you buy my duck), и эта фраза идет кругом. Другая игра заключается в том, что один говорит: „Тот может мало сделать, кто не может сделать это, это, это" (He can do little, who cannot do this, this, this), и при этом три раза известным способом постукивает чем-нибудь по столу. Каждый по очереди должен это повторить, и так идет кругом, после чего первый говорит ту же фразу, но уже постукивая иным способом, и опять все должны повторить те же слова и жесты. Это называется игрою. Когда же хотят веселиться безумно, то садятся вокруг стола, посреди которого кладут большой кусок ваты. Все начинают дуть на эту вату, стараясь направить ее на соседа, который должен отдуваться. Если он не успеет этого сделать, и вата на него упадет, то возбуждается всеобщий хохот. Веселее этого уж ничего нельзя придумать.

Среди этих забав и развлечений, которые для молодежи могли иметь свою прелесть, наступила минута отъезда. Прощание было самое сердечное и трогательное. Мы прямо проехали в Дармштадт, где царская семья с радостным чувством встретила молодого жениха. Теперь нам предстояло отдохнуть от всех этих волнений среди возвышенных впечатлений Италии. Но предварительно надобно было сделать еще несколько

---

[1] Альберт-Эдуард, будущий король Эдуард VII.

официальных визитов к родственным германским дворам. От этого граф Строганов меня избавил. Он советовал мне поехать в Кассель посмотреть картинную галлерею и затем присоединиться к ним в Мюнхене. Баварский король находился в загородном дворце, куда наследник поехал один с Рихтером. По его возвращении, мы через Тироль проехали в Венецию.

Здесь нас встретило полное очарование. Погода была дивная, и Венеция сияла в полном блеске. Мы были опять одни, в своем дружеском кружке, и могли, не стесненные ничем, с легким сердцем наслаждаться окружающим нас великолепием. Днем мы с увлечением осматривали дворцы, церкви и галлереи; а вечером, на следующий день после нашего приезда, при открытых окнах, наследнику дана была серенада, представлявшая совершенно волшебное зрелище. Десятки гондол, украшенных разноцветными фонарями, собрались на Большом канале перед нашею гостинницею, и мелодические голоса итальянских хоров распевали нарочно сочиненную для этого случая песню. У меня осталась в памяти последняя строфа, грустно напоминающая то время:

Della Neva sulle sponde
Fra i pompi ed i tetori,
La conzone dei pittori
Forte in mente ti verra
E ricordo di Venezia
Essa mai per te sarà[1].

Бедному юноше не суждено было, среди пышности и блеска, вспоминать очаровательную Венецию на берегах Невы. Здесь в первый раз появились признаки той болезни, которая должна была свести его в могилу. Он почувствовал сильную усталость и в последние дни уже с видимо ослабевшим интересом осматривал картины. Мы приписывали это всем предшествующим волнениям и не придавали этому особеного значения, тем более, что доктор был совершенно спокоен.

Из Венеции мы отправились в Турин, остановившись на день в Милане, где в то время находился принц Гумберт. Граф Строганов не преминул воспользоваться остановкой,

[1] В виду особенностей народного диалекта, на котором составлена песнь, редакция воздерживается от исправлений возможных в копии „Воспоминаний“ список и от перевода.

чтобы съездить в Павию, посмотреть прелестную Чертозу,[1] которую мне довелось видеть в первый раз. В Турине Виктор-Эммануил задал нам большой обед, на котором присутствовали значительнейшие политические деятели Пиемонта. Это было, конечно, гораздо интереснее, нежели придворные церемонии. Меня посадили возле министра народного просвещения, с которым я вел приятную беседу. Короля мы нашли в мрачном настроении духа. Это была та минута, когда решено было перенести столицу из Турина во Флоренцию. Коренные пиемонтцы были от этого в негодовании. Председатель Сената, почтенный и ученый граф Склопис, которого я знавал еще во время первого моего путешествия, вышел в отставку. В спокойном Турине произошло нечто в роде народного возмущения; сам король подвергся неприязненным демонстрациям. Это глубоко его оскорбило, ибо он свой Пиемонт любил больше всего, и если решился на такую жертву, то единственно в виду блага Италии. После обеда он к нам подошел и долго, в общих выражениях, распространялся о неблагодарности людей, говоря, что он находит утешение только в охоте, где он может удалиться в горы, подальше от человеческого общения. Я с сочувствием смотрел на эту странную фигуру, невысокую, толстую и безобразную, с глазами на выкат, с громадными усами и эспаньолкой, имевшую вид какого то зверя, но с умным и энергическим выражением.

Из Турина мы проехали в Геную, где осматривали великолепные дворцы; затем, вместо того, чтобы прямо ехать во Флоренцию, мы завернули на несколько дней в Ниццу, куда прибыла на зиму императрица. Оттуда уж, на русском военном корабле, мы переправились в Ливорно и в тот же вечер прибыли во Флоренцию.

В самый день приезда я почувствовал себя нехорошо. Данное мне потогонное не подействовало, и на другое утро мне было еще хуже. В следующие дни болезнь шла, все возрастая. Я слег в постель. Открылся сильнейший тиф, который осложнился опасною местною, так называемою просяною горячкою (fièvre miliaire), с сыпью и судорогами. Больше месяца я пролежал в этом положении. И доктора и мои спутники считали

[1] Certosa di Pavia (основ. в 1396 г.), в 28 км от Милана.

меня безнадежным. Тело мое превратилось в щепку; у меня сделались мучительные пролежни. Меня переворачивали с боку на бок, ибо сам я поворачиваться был не в состоянии. Мне постоянно клали лед на голову и каждый час давали бульон для поддержания упадающих сил. За все это время я ни единой минуты не смыкал глаз, а, между тем, оставался в сознании, хотя временами довольно смутном. Была даже критическая минута, в которой я метался в бреду; об этом мне рассказывали после. Особенно мучительны были долгие ночи, когда все спало кругом, и не слышно было ни малейшего шороха. Час за часом считал я бой часов на колокольне по ту сторону Арно, пока, наконец, в семь часов утра я с каким-то облегченным чувством приветствовал стук молотков на мостовой, которая была повреждена недавним наводнением и чинилась перед нашей гостиницей. Я сам был уверен, что я умираю; не раз мне казалось даже, что жизнь так и утекает из меня каким-то тихим журчащим ручьем. Я подзывал приставленную ко мне сиделку, добрую старуху Терезу, и просил ее посидеть возле меня в мои последние минуты. Эти минуты не были для меня страшны. Смерти я не боялся; во мне не было того инстинктивного чувства, которое побуждает человека хвататься за жизнь, как за последнее убежище бренного его существования. В загробную жизнь я в то время не верил, но и прошедшая моя земная жизнь не научила меня ею дорожить. Я прощался с нею, как некогда прощался с молодостью, с грустным чувством чего-то неисполненного, каких-то неудовлетворенных стремлений, несбывшихся надежд и не успевших выказаться сил. В эти долгие ночи, когда я был как бы оторван от всего земного и погружен исключительно в себя, все мое прошлое восставало передо мною, в смутных, но вместе существенно ясных чертах. Подробности исчезали, но все заветное, все затаенное в глубине души, все, что составляет временно затмевающуюся, но в сущности, вечную и незыблемую основу человеческого существования, всплыло наружу с неудержимою силою. Одно непоколебимое отныне чувство овладело мною: сознание невозможности для бренного человека отрешиться от живого источника всякой жизни, от того, что дает ему и смысл, и бытие. Мне показалось непонятным,

каким образом я мог втечение пятнадцати лет оставаться без всякой религии, и я обратился к ней с тем большим убеждением, что все предшествующее развитие моей мысли готовило меня к этому повороту.

Я сказал уже, что под влиянием гегелизма и построенной на нем собственной философии истории, я верил в будущую религию духа, ведущего человека к конечному совершенству; все же существующие и существовавшие религиозные формы я считал преходящими моментами человеческого сознания, не достигшего полноты. Мои исторические исследования убедили меня, что мы в настоящее время стоим на перепутье между двумя религиозными эпохами: между христианством, которое я считал религиею прошлого, и поклонением духу, в котором я видел религию будущего, еще не раскрывшуюся человеку. На этом я и успокаивался, уверяя себя, что в такие переходные эпохи человеку мыслящему волею или неволею приходится оставаться без религии. Однако, более зрелое размышление убедило меня, что то, что я считал преходящими моментами сознания, в действительности выражает собою вечные, неустранимые начала мирового бытия. Если дух составляет конечную форму абсолютного, то есть и форма начальная, — никогда не оскудевающая всемогущая сила, источник всего сущего; есть и форма посредствующая, бесконечный разум, дающий всему закон. Христианство есть религия верховного разума, слова божьего, открывающегося в нравственном мире и полагающего нравственный закон человеку. Будучи совершенным в своей области, оно может только восполниться, а не замениться другою религиею, также как оно само только восполнило, а не устранило ветхозаветную религию бога силы. Это убеждение созревало во мне мало по малу, и я говорил себе, что на старости лет я обращусь к этим вопросам и постараюсь дать им посильное решение. Болезнь ускорила этот процесс. Я живо почувствовал, что каково бы ни было умственное состояние современного человечества, отдельный человек не может, не отказавшись от себя, от глубочайших основ своего духовного естества, от всего, что в нем есть самого высокого и святого, оторваться от абсолютного начала всякого бытия, сознание которого запечатлено в нем неизгладимыми чертами. Я понял,

что всякая религия служит живою связью между человеком и божеством, а потому человек не может и не должен от нее отрекаться, хотя бы она была несовершенна и не вполне отвечала его убеждениям. Это чувство возбудилось во мне с тем большею силою, что я вместе с тем живо сознавал, что сам человек, своею личною волею, не в состоянии себя обновить. Нужна высшая духовная власть, которая, проникая в тайны человеческого сердца, сказала бы ему: „прощаются тебе грехи твои", и благословила бы его на новый путь. И во мне возгорелось страстное желание приобщиться вновь к христианству. Как только мне стало несколько лучше, я попросил к себе находившегося на фрегате священника, который навещал меня во время болезни, и после многолетнего перерыва исповедывался и причастился.

В то же время во мне родилось и другое убеждение. В эти долгие, мучительные ночи, когда перед моим умственным взором проходила вся моя прошлая жизнь: мое счастливое детство, обуреваемая страстями молодость,—я живо почувствовал, что для человека нет и не может быть счастья вне семейной среды. До тех пор я об этом не думал; но теперь вся пустота одинокого существования представилась мне с такою же поразительною ясностью, как и горькая доля человека, отрешившегося от бога. Я понял, что для нормального человеческого существования необходимо основание собственного семейного очага.

Этим мечтам суждено было сбыться. Крепкая природа взяла свое, и я, неожиданно для всех, воскрес. Пробуждение к жизни имело ни с чем несравнимую прелесть. Физические страдания исчезли; в душе водворилось какое-то ясное, безмятежное, почти райское состояние. Всякая мелочь казалась мне полною чарующей поэзии. Когда в первый раз мне отдернули занавески и показали свет, я не мог оторвать своих глаз от пошлых обоев комнаты, где я лежал. На них изображались китайские беседки, окруженные гирляндами из роз с зелеными листиками. Эти цвета казались такими привлекательными, что я не мог ими налюбоваться. Когда затем открыли окно, окутав меня с головы до ног фланелью, и в комнату внезапно ворвался весь городской шум, голоса людей, стук

экипажей, плеск бегущего под окнами Арно, мне казалось, что я нахожусь в каком-то волшебном мире, где раздаются райские звуки. В окно как будто влетало все обаяние бытия, мечты, надежды, радости и волнения, уносившие меня в бесконечную даль. Самые детские яства, тюря из белого хлеба с теплым молоком, напоминавшая мне детские годы, парное ослиное молоко, которым поили меня ежедневно в семь часов утра, были для меня источником неизъяснимого наслаждения. Просыпаясь после тихого и глубокого сна, я с сладкими мечтами ждал свою ослицу и, выпивая стакан пенистого молока, говорил, что это наверное был тот нектар, который боги пили на Олимпе. Но еще более, нежели вещи, радовали меня люди. Каждый человек, который приходил меня навестить, представлялся мне ангелом, посланным с небес; я любил его всем сердцем и приветствовал его, как давно желанного друга. При известии о моей болезни приехал из Парижа брат Василий. Это было для меня величайшее счастие; но я был еще так слаб, что мне позволили видеть его только на минуту. Он долго не мог тут пробыть, а потому из Петербурга выписали брата Андрея, который и остался при мне до полного выздоровления.

Когда я стал поправляться, мне сообщили, что мои спутники уезжают и, вследствие нездоровья наследника, не в Рим, как предполагалось, а обратно в Ниццу. После я узнал, что во время моей болезни с великим князем сделался жесточайший припадок: вдруг появилась такая сильная боль в пояснице, что он должен был слечь в постель. Все переполошились; созвали консилиум. Один итальянский доктор сказал, что у него нарыв в спинной кости. Впоследствии оказалось, что это был единственный верный диагноз. Скоро, однако, ему сделалось лучше, и медики пришли в сомнение. Но двигался он все-таки с трудом и ходил сгорбленный. При таких условиях везти его в Рим было бесполезно. С другой стороны, доктора советовали уехать из Флоренции, опасаясь неблагоприятного климата. Решили возвратиться в Ниццу к императрице, которая очень беспокоилась о сыне. Но наследник не хотел уезжать, оставив меня между жизнью и смертью. Только когда моя болезнь приняла благоприятный оборот, он решился отправиться в путь. Из Ниццы мне писали, что

вызваны были знаменитейшие французские медики Рейе и Нелатон, которые не нашли ничего опасного. Они определили болезнь, как застарелую простуду, и предписали оставаться пока в Ницце, а на весну ехать в Баньер или Люшон, около По, для лечения ваннами. Эти известия меня успокоили.

Мое выздоровление шло медленно, но правильно. Все представлялось мне в радужном цвете. Воспрянув к новой жизни, я мечтал о возвращении домой, о разных работах, которые я хотел предпринять. Большим развлечением в моем затворничестве были собранные мною во время путешествия гравюры. Я часто рассматривал их с стариком Липгартом, который навещал меня почти ежедневно. Это был поселившийся во Флоренции немец из Остзейского края, высокий, сухощавый, необыкновенно живой, образованный, страстный любитель и знаток художества, на которое он потратил значительную часть своего состояния. У него также было отличное собрание гравюр, впоследствии пущенных в продажу. Было и собрание рисунков, которые он приносил мне показывать, что для меня было истинным наслаждением. Он все жалел о том, что в моем положении нельзя было со мною обегать все уголки Флоренции, которую он знал, как свои пять пальцев. У него можно было многому научиться, хотя у него были свои коньки. Подобно многим записным знатокам, он пренебрегал тем, что было всем известно, и склонен был давать преувеличенное значение тому, что он сам отыскивал. Его оригинальность выражалась иногда в забавных выходках. Десять лет спустя, когда я, женатый, приехал опять во Флоренцию, он с первого слова объявил мне, что он покончил с Перуджино и Франчиа. „Они скучны; у них все одно и тоже" — сказал он и тут же в лицах, с разными ужимками, начал представлять, как держит себя богоматерь Перуджино на известной фреске Распятия. Я познакомил его с женою. Он тотчас спросил ее, чтó она видела во Флоренции. Она отвечала, что пока мы успели побывать только в Уффици и Питти. „Я желал бы, чтобы эти галлереи сгорели до тла" — воскликнул он с негодованием. Жена с удивлением спросила его, отчего он так их не жалует. „Оттого, что они отвлекают внимание от фресков, которые несравненно важнее", — отвечал Липгарт.

Почти ежедневно по вечерам навещал меня и Юрий Федорович Самарин, который на обратном пути из Рима остановился на несколько дней во Флоренции. После освобождения крестьян он три года был членом Губернского присутствия в Самаре. Совершив свое дело, он вышел в отставку и поехал отдохнуть за границу. С ним мы беседовали больше о русских делах. В это время приходили из Москвы известия о бывшем там дворянском собрании. Газеты приносили речи Голохвастова, Безобразова, Орлова-Давыдова. Мы с Самариным сходились вполне в оценке тогдашнего напускного дворянского либерализма. Его тянуло туда, и ему, видимо, было досадно, что он не участвует в этих прениях. Впрочем, он был в отличном расположении духа и необыкновенно забавно передразнивал разных членов редакционных комиссий. Особенно памятна мне воображаемая речь, произнесенная при возвращении в Полтаву В. В. Тарновским. Все ужимки и акценты этого типического представителя Малороссии передавались с неподражаемым мастерством.

Как скоро я в состоянии был выехать, доктор—немец, пользовавший меня в течение всей болезни, советовал мне уехать из Флоренции, говоря, что я скорее поправлюсь с переменою климата. Но путешествие в Ниццу было еще слишком утомительно. Мы с братом Андреем решили поехать на несколько дней в Рим. Там мы нашли семейство Алексея Васильевича Капниста, богатого малороссийского помещика, сыновья которого воспитывались в Московском университете и были товарищами моих младших братьев. Андрей был очень дружен со всею семьей, и я был знаком с ними еще в Москве, в конце пятидесятых годов, перед первою поездкою за границу. Но я не знал старшей дочери, в то время 19-летней девушки, которая славилась красотою. Молва была не напрасна. Я увидел прелестный ангельский лик, напоминавший мадонны Беато Анджелико. Это был первый женский образ, который представился после моей болезни, образ полный грации и поэзии. Провидение как-будто указывало мне ту, которая должна была осуществить мои мечты. Но в то время я еще не подозревал, что несколько лет спустя, она сделается моею женою.

В Риме я быстро поправился и мог уже ехать к своим спутникам. Брат сопровождал меня до Ниццы и оттуда отправился обратно в Россию. Я был очень тронут его приездом и его заботами.

В Ниццу я приехал, как в свою семью. Все меня встретили с искренней радостью, как воскресшего из мертвых. Но мое впечатление было невеселое. Я нашел наследника исхудалым, осунувшимся, сгорбленным. Болей он не чувствовал, но он не мог разгибать спины, а потому лишен был возможности гулять пешком и ездить в общество. В ожидании будущих ванн в Люшоне, его лечили электричеством, но оно приносило мало пользы. Для молодого человека, и притом жениха, положение было незавидное. Он сделался задумчив, порой даже раздражителен. Прежняя беззаботная веселость, радужные мечты исчезли. На маслянице ему наняли комнату на главной улице, и он как-будто встрепенулся: бросал букеты, даже бегал по лестницам. Но это была только вспышка. Однако опасности никто не предвидел. Успокоеные французскими знаменитостями, мы все считали его болезнь упорно засевшим ревматизмом. Один граф Строганов беспокоился. Ему казалось неестественным, чтобы молодой организм не мог осилить ревматического состояния. Слабость и худоба внушали ему сомнения. Он поехал в Париж, чтобы повидаться с братом, но, в сущности, чтобы поговорить с докторами. Вернувшись, он рассказывал свой разговор с Рейе, который его успокоил. Он прямо поставил последнему вопрос: считает ли он возможным для великого князя жениться. „Я не вижу никакого препятствия", отвечал Рейе.—„Но подумайте, что это наследник русского престола; от его здоровья зависит судьба его потомства, а вместе и судьба России".—„Если вы так на это смотрите,—отвечал Рейе,—то отложите свадьбу на три месяца. Другого я ничего не могу посоветовать". Граф Строганов несколько успокоился, но продолжал зорко следить за вверенною его попечению молодою жизнью. Когда его впоследствии обвиняли в том, что он ничего не видел и даже побуждал наследника делать чрезмерные усилия в видах спартанского воспитания, то это опять одна из тех клевет, которые так легко возникают в придворных сферах и оттуда

обильными потоками распространяются по великосветским гостиным.

Одно время казалось, что великому князю стало лучше. „Знаете ли,—сказал он мне однажды, недели за две до последней болезни,—я сегодня посмотрел на себя в зеркало и увидел, что моя спина почти совсем выпрямилась“. Он сам несколько повеселел. По вечерам у него обыкновенно сидели некоторые из нас, и он откровенно беседовал о себе и о братьях. Мне врезалось в память одно его изречение: „У нас у всех несколько лисья натура,—сказал он,—у одного брата Александра хрустальная душа“. Это был любимый его брат, с которым он в детстве был неразлучен. Увы! развращающее действие самодержавной власти таково, что от нее тускнеет самый чистый кристалл. Даже сильные характеры принуждены лукавить; слабые неизбежно заражаются двоедушием.

Я воспользовался вынужденным затворничеством великого князя, чтобы заинтересовать его чтением. Я дал ему прочесть Токвиля: „L'ancien Régime et la Révolution“. Эта книга произвела на него сильное впечатление. Между прочим, его поразила мысль, которую в одной из своих речей привел Кавур, именно, что отобрание имуществ у католического духовенства оторвало его от почвы и обратило его к ультрамонтанизму. Я не совсем был согласен с пригодностью такого лекарства для отвращения католического духовенства от излишней преданности папе, но уже одно то, что эта мысль поразила молодой ум, показывало в нем недюжинные политические способности, которые со временем могли принести благодатные плоды.

Этому не суждено было быть. Незамечаемая никем, уже приближалась роковая развязка. В конце марта великому князю стало хуже. Болей он не чувствовал, но он был в нервном состоянии, спал плохо, принужден был отдыхать днем. После прогулки он не мог уже всходить по лестнице; его вносили на креслах. Собранные на консилиум доктора решили, что это вероятно происходит от приморского климата. Послали Оома нанять виллу на берегах Комского озера, а, между тем, великого князя, который дотоле жил на набережной, перевезли в отдаленную от моря Villa Bermond, которую занимала императрица. Мне давно хотелось съездить на несколько дней

в Париж—повидаться с братом Василием, которого я только мельком видел во Флоренции; но я все медлил, не желая оставить великого князя в таком положении. Мне сказали, что теперь самое удобное время для поездки в Париж, откуда я могу прямо проехать на Комское озеро. Накануне отъезда я провел вечер у наследника на Villa Bermond. Он был оживлен, разговаривал охотно; на нем не заметно было болезненное состояние. Я решился ехать и сообщил ему свое намерение. Но на следующее утро, когда я пришел с ним проститься, он мне не понравился. Я застал его сидящим в саду, сгорбленным, осунувшимся, с зеленоватым цветом лица. Он как-будто устал и простился со мною с несвойственным ему равнодушным видом. Отказаться от поездки не было возможности; это значило только возбудить тревогу Но я просил Рихтера телеграфировать мне каждый день о состоянии здоровья великого князя.

Я уехал на страстную среду и первые дни по приезде в Париж получал самые успокоительные телеграммы: великий князь чувствовал себя лучше, спал хорошо. Вдруг, в понедельник на святой неделе, я получаю известие, что у него сделался мозговой припадок и что он почти безнадежен. Я немедленно полетел в Ниццу и застал его уже в беспамятстве. У него оказался туберкулезный менингит, от которого не было спасения.

Отовсюду созваны были знаменитейшие доктора. Из русских приехали Пирогов и Здекауер; из Вены выписан был Оппольцер. Все было напрасно. При первом известии о болезни наследника государь приехал из Петербурга с Александром Александровичем; из Копенгагена прибыла молодая невеста с матерью. Как недавно еще мы видели ее рука об руку с женихом, обоих сияющих счастьем, и вдруг, вместо брачного венца, она явилась к одру умирающего! Говорят, он ее узнал, но только сквозь туман; он едва мог произнести несколько слов. Было что-то раздирающее душу, и вместе и высоко поэтическое в этой торжественной драме, которая разыгрывалась перед лицом всего мира: этот царственный юноша, надежда отечества, угасающий на чужом берегу, вдали от любимой родины; всевластный повелитель необъятного

государства, из своей северной столицы поспешающий к одру умирающего сына, пораженного недугом, против которого тщетны были все человеческие усилия; мать, удрученная горем, в эти последние дни не отходившая от больного; молодая, полная прелести невеста, встречающая жениха на пороге смерти; вдали миллионы сердец, которые с напряженным вниманием и горячими молитвами следили за медленною борьбою угасающей жизни; а кругом великолепная обстановка южной природы, сияющее солнце, голубое Средиземное море, цветущие померанцевые деревья, разливающие в воздухе свой упоительный аромат. Когда я выходил из дома, где лежал умирающий, душа еще мучительнее надрывалась при виде этого контраста между ликующею в невозмутимой красе природою и исполненными скорбью сердцами людей. Весна сияла в полном блеске; безоблачное небо простирало свой лазоревый свод над цветущими долинами, над пышно вздымающимися горами, над сверкающими тысячью переливов волнами безбрежного моря; все воскресало к новой роскошной жизни; а там смерть сторожила свою обреченную жертву, готовая унести все человеческие радости и надежды.

12 апреля с утра уже ждали конца. Царская семья окружала постель больного. Нареченная невеста стояла возле него на коленях, даруя ему последние ласки и последние заботы. В соседней комнате, куда отворены были двери, собрались все окружающие, а также сановники, сопровождавшие государя, или находившиеся в то время в Ницце. Все стояли безмолвно или говорили шопотом. Страшны были эти долгие томительные часы в ожидании неизбежной развязки. Агония была тихая, но продолжалась весь день. Только поздно вечером он испустил последнее дыхание. Все было кончено. Царь, обливаясь слезами, обнял и благодарил графа Строганова и Рихтера, благодарил и других спутников покойного. Все молча разошлись, убитые горем.[1]

На следующее утро, также молча, собрались все к первой панихиде. Посреди комнаты стоял смертный одр и на нем лежал юноша, с тем торжественным и привлекательным обли-

[1] Ср. письма Б. Н. Чичерина к К. П. Победоносцеву, напечатаеное в Рус. архиве (1910 № 6).

ком, который налагает на человека смерть. Духовенство облачилось в свои ризы. Диакон хотел возгласить: „Упокой, господи, душу раба твоего“, но, вместо слов, из груди его вырвалось громкое рыдание, и за этим стоном зарыдали все стоящие кругом. Так продолжалось несколько минут. Немного успокоившись, диакон хотел снова начать надгробную молитву, и снова неудержимые рыдания прервали его голос, и за ним опять громким воплем зарыдали все. Это была раздирающая душу сцена.

Вернувшись к себе, я почувствовал неодолимую потребность излить свое горе и вместе возвестить России понесенную ею утрату, не в официальных выражениях, а в исходящих от сердца словах. Я написал статью, которую передал Рихтеру для представления на одобрение государя. Адлерберг сказал мне, что государь и императрица были ею очень тронуты. Она была напечатана в „Инвалиде“ и других газетах.[1]

Вскрытие тела обнаружило не только туберкулезный менингит, но и внутренний нарыв в спинной кости, который был коренным источником болезни. Оказалось, что итальянский доктор один был прав в своем диагнозе.

Пошли догадки, откуда мог произойти этот нарыв. Тогда вспомнили, что года два тому назад наследник, в присутствии всей царской фамилии, скакал вперегонки с принцем Ольденбургским. В отсутствии Рихтера, который на несколько дней был в отпуску, он велел себе положить новое, щегольское, но непривычное для него английское седло и на всем скаку слетел с лошади. Он тут же встал на ноги; казалось, падение не оставило по себе следа. Но прирожденная ему золотуха, повидимому, устремилась в ушибленное место, медленно и незаметно подтачивая организм. С тех пор он изредка стал жаловаться на боль в пояснице. Бывший с ним перед отъездом из России припадок, который приняли за ревматизм, был очевидно признаком таившейся в нем болезни. Если бы его не унес менингит, он мог умереть в страшных мучениях.

Решили тело покойного вести в Россию морем, на русском фрегате, представлявшем уже русскую землю. Граф Строганов

---

1 Эта статья, как напечатанная („Военный Сборник,“ 1866 № 5: „Несколько слов о вел. князе наследнике“), здесь опускается.

отказался ехать. Дело его было кончено; пользы он принести уже не мог, церемоний не выносил, а в Петербурге терпеливо ждала его семья, тоже постигнутая недавним домашним горем. При таких условиях, в его летах, совершить такое далекое плавание было ему невмочь. Вместо него, для сопровождения тела, назначен был проводивший зиму в Ницце генерал-адъютант Анненков. По старым отношениям к наследнику, просил позволения ехать и прибывший на похороны Владимир Павлович Титов. Кроме лиц, сопровождавших наследника в его путешествии, с телом ехали также Скарятин и Стюрлер, недавно назначенные, один гофмаршалом, другой шталмейстером вновь образованного двора великого князя.

Бесконечная похоронная процессия двинулась из Ниццы в Виллафранку, где стоял фрегат „Александр Невский“, который должен был везти тело в Россию. Для сопровождения собрана была целая эскадра: корвет „Витязь“, под командой капитана Кремера, другой корвет, которого имени не помню, под начальством Бирилева, и клипер „Алмаз“, с капитаном Зеленым. „Александром Невским“ командовал Федоровский, а всею эскадрою адмирал Лесовский.

Шествие продолжалось несколько часов. Одни были верхами, другие пешком. Я шел с находившимся тут князем Петром Андреевичем Вяземским, с которым беседовал о понесенной Россиею утрате. К вечеру уже прибыли на место. Убранный цветами гроб взвился на воздух и был поставлен на фрегат. Отслужена была панихида. Когда все уже почти разошлись, я пошел бродить по палубе. В уединенном углу я нашел сидящего, убитого горем старика. Это был граф Строганов. Воспитанию наследника он отдал всю свою душу; казалось, на склоне своих дней, он мог еще оказать отечеству незабвенную услугу, и вдруг все исчезло, как дым. Сраженный столь недавним своим личным горем, он постигнут был новым, еще более жестоким ударом. И сердечная привязанность, и любовь к отечеству, и мысль о собственном его назначении в жизни, все соединилось, чтобы повергнуть его в прах.

Между нами слова были излишни; мы молча пожали друг другу руку. Я проводил его до трапа, и мы простились с глубоким чувством общего, связывающего нас горя. Фрегат уже

разводил пары; скоро зашумел крутящийся винт, и корабль медленно отошел от берега, неся драгоценные останки через голубое Средиземное море, через бурные валы океана, в отдаленную северную родину.

Путешествие продолжалось целый месяц. Три дня мы стояли в Гибралтаре. При входе в океан нас застигла сильная буря. В первый раз я видел вздымающиеся, как горы, валы, по которым громадный фрегат носился, как щепка. Но мне было не до грозных картин. Я, вместе с большинством своих спутников, лежал в каюте, как пласт. Все люки были забиты, и все-таки по полу переливалась морская волна. Прикрепленные вещи иногда с грохотом отрывались и кидались в противоположную сторону. О принятии пищи не было помину. Надо было лежать с чувством невыносимой тошноты, с далеко неутешительной надеждой, что авось-либо через много часов успокоится взволнованная стихия. Так мы пришли в Лиссабон, где также простояли несколько дней, нагружаясь углем. Затем были стоянки в Плимуте, в Христиании и в Эльзенёре прежде, нежели мы вошли в Балтийское море.

Это долгое плавание было тем томительнее, что в нашей компании были элементы, вовсе не подходящие к общему настроению. Николай Николаевич Анненков был совершенный контраст с графом Строгановым. Ума у него было очень мало, а образования еще меньше; разговор был самый пошлый, тоску наводящий. Это был не вельможа с независимым положением, а человек, пробивший себе дорогу бюрократическим путем. Когда-то, при графе Чернышеве, он был главным деятелем в военном министерстве. С тех пор его употребляли на все руки; ему давали самые важные поручения. При Николае он послан был ревизовать Сибирь; в 1849 году его сделали председателем верховного цензурного комитета, который должен был решать судьбу несчастной русской литературы. В Крымскую войну он был генерал-губернатором Одессы, во время польского восстания—генерал-губернатором в Киеве. Наконец, он занимал должность государственного контролера. Глядя на него, я все удивлялся, какие способности могли побудить русских монархов дорожить такого рода деятелем. Он невольно напоминал известное изречение Бомарше, вложенное

в уста Фигаро: „médiocre et rampant, avec cela on parvient à tout“[1]. Другое, совершенно такое же лицо, может быть, с еще более низким нравственным уровнем, я узнал впоследствии в московском генерал-губернаторе, князе Владимире Андреевиче Долгоруком. Иногда Анненков забавлял нас своими выходками. Однажды за обедом доктор Шестов вздумал вольнодумничать: отрицал существование бесов. Анненков обратился к нему с строгим увещанием: „Как,—воскликнул он,—неужели вы не признаете ничего в пространстве между вами, планетами и всемогущим богом?“. Этот анекдот рисует человека. Сей великий государственный муж воображал, что всемогущий бог сидит где-то непосредственно за планетами, а что между ними и землею непременно должны витать бесы. Каково же было мое положение, когда несколько лет спустя, мне случилось посетить в деревне его вдову, важную и напыщенную Веру Ивановну, которая приходилась деревенскою соседкою семейству моей жены, и после обеда эта почтенная дама отвела меня в отдаленный кабинет, заперла за собою двери и, показавши мне целый ряд тщательно переплетенных документов, обратилась ко мне с такою речью: „Вы так близко знали моего покойного мужа, что я должна вам прочесть свои воспоминания о нем“. И я принужден был в течение целого часа слушать тошнейшее повествование о том, какой великий государственный деятель был Николай Николаевич. Будущие историки, может быть, ей поверят.

Совсем иной человек был Владимир Павлович Титов. Это была честнейшая душа, мягкий, образованный, обходительный. Тем не менее, он в этом путешествии смертельно всем надоел. Мы были поражены глубоким горем, не оставлявшим места ни для каких других интересов. Не хотелось ничего смотреть и ни о чем говорить. А Титов был в вечной суете; ему нужно было все видеть, все осмотреть самым подробным образом; он приставал с разговорами о разных предметах, болтал без умолку. Однажды мы узнали, что он велел разбудить себя ночью, оделся и вышел на палубу, чтобы видеть отстоящий на несколько миль маяк, мимо которого мы проходили. Как это ни

[1] „Посредственный и раболепный—с такими качествами можно всего достигнуть“.

было забавно, но нам было вовсе не до того. Поэтому мы по возможности устранялись от сопутствовавших нам государственных людей и радовались, когда видели их погруженными в интересные разговоры друг с другом. Мне случилось выходить погулять на палубу; вижу: с одного бока ходит Владимир Павлович, а с другого Николай Николаевич, и я печально скрывался в свою каюту.

В Балтийском море, перед входом в Финский залив, нас опять настигла буря. Фрегат кренило на 45 градусов на один бок и столько же на другой. Все опять были больны; однако, в силу привычки, я выдержал пытку несколько лучше, нежели в первый раз. Наконец, мы кинули якорь в Кронштадте. Встреча была торжественная; весь Балтийский флот убрался трауром. Приехал великий князь Константин Николаевич и отслужил панихиду. Дежурными к гробу были приставлены два старых адмирала, один из них наваринский герой Епанчин. Лежа в своей каюте, я слышал, как один рассказывал другому, что он может съесть целое ведро соленых грибов.

Через день мы пошли в Петербург. Погода была тихая, но мрачная и холодная, совершенно подходящая к общему настроению. Однообразное серое небо уныло расстилалось над северной столицею. Одетые гранитом берега Невы, с их величественными дворцами, были уставлены многими тысячами народа. У пристани возвышался убранный трауром павильон, где ждала царская семья. Все в глубоком безмолвии смотрели на приближающуюся эскадру. Зрелище было торжественное и внушительное. Тихо и плавно подошел фрегат, неся дорогие останки. Гроб был поставлен на катафалк, и длинная процессия, состоявшая из всех чинов государства, двинулась к Петропавловской крепости. Нас распределили в разные места; мне пришлось итти с ученым сословием. Я встретил тут Победоносцева, которому очень обрадовался. Я был с ним в то время очень дружен; близко зная покойного, он горевал, так же, как и я. Были и другие профессора Московского университета—Бабст, Соловьев—преподававшие великому князю. Я находился опять в своей родной среде.

Пробраться в собор при такой толпе не было никакой возможности. Я дождался, пока все разбрелись, и вошел в

опустевший уже храм, чтобы поклониться дорогому праху. Погруженный в воспоминания, я стоял в раздумье перед едва закрывшеюся могилой. Услыхав шорох, я обернулся; за мною стоял Владимир Мещерский. Он тотчас приступил ко мне с модными в то время нападками на графа Строганова. Я отвернулся с негодованием. Для Мещерского восходило новое светило, и он кидал грязью в то, что окружало старое. Он являлся как бы представителем того, что ожидало нас впереди. Для меня не было нового солнца. В этой ранней могиле были похоронены лучшие мои мечты и надежды, связанные с благоденствием и славою отечества. Россия рисковала иметь образованного государя с возвышенными стремлениями, способного понять ее потребности и привлечь к себе сердца благороднейших ее сынов. Провидение решило иначе. Может быть нужно было, чтобы русский народ привыкал надеяться только на самого себя.

ВЫХОД ИЗ УНИВЕРСИТЕТА

Вернувшись в деревню, я принялся за сочинение, которого план созрел у меня уже во время путешествия. Бродившие в русском обществе конституционные стремления, вызванные отчасти желанием дворянства вознаградить себя за отмену крепостного права и этим путем захватить власть в свои руки, отчасти общим брожением умов, не дававших себе ясного отчета в положении дел, давно убедили меня в необходимости выяснить этот вопрос в печати. В этих видах была написана упомянутая выше статья о польских крестьянах, которая никогда не увидела света. Недавние прения в Московском дворянском собрании и разговоры во Флоренции с Юрием Самариным еще более утвердили меня в этой мысли. Но обсуждать конституционный вопрос в газетных статьях особенно в приложении к России, не было возможности. Правительство никогда бы этого не допустило. Чтобы высказаться печатно, надобно было придать изложению ученый характер, воспользовавшись изъятием книг от предварительной цензуры, установленным новыми законами о печати.

Я тем более сознавал потребность напечатать именно книгу, что в моих глазах журналистика без книжной литературы лишена всякой серьезной почвы. Только книги дают прочную основу общественной мысли; журналы, особенно там, где нет политической жизни, служат лишь средствами популяризации. В русском обществе начали уже бродить политические мысли, а, между тем, политической литературы вовсе не было. Надобно было положить ей основание. Мне казалось что только этим способом можно было несколько умерить и

ввести в правильную колею то хаотическое брожение, в которое было погружено так называемое общественное мнение, безотчетно следовавшее за голосом журнальных заправил. Этим, вместе с тем, можно было показать, что русская мысль достаточно созрела для достаточного и всестороннего обсуждения политических вопросов.

Конечно, при тогдашних условиях, исполнить эту задачу было не легко, ибо с полною откровенностью все-таки нельзя было высказаться. В самодержавном правлении, даже мягком и склонном к реформам, трудно выставить наглядно все темные стороны самовластия и выгоды конституционного порядка, который в будущем представлялся мне идеалом, хотя я считал его неприложимым в настоящую минуту. Надобно было сделать это весьма осторожно, скорее дав читателю почувствовать, в чем дело, нежели явно выразив свою мысль. Но я надеялся на то, что русский читатель привык читать между строками, и думал, что во всяком случае книга, обсуждающая самые животрепещущие политические вопросы, подаст повод к разностороннему рассмотрению их в печати.

Я ошибся в своем расчете. Русский читатель привык понимать между строками только либеральные намеки, а никак не серьезную мысль. Даже люди развитые не поняли, что́ именно я хотел сказать, а большинство поняло меня совсем навыворот. Основная мысль моего сочинения заключалась в том, что теоретически конституционная монархия лучший из всех образов правления, что к представительному порядку неизбежно стремится всякий образованный народ, но что он требует условий, которые не везде на-лицо. Исследование этих условий составляло, по моему мнению, пробел в самой европейской литературе, посвященной этому предмету, и я хотел его восполнить, имея главным образом в виду состояние русского общества, но не делая прямых приложений, а обсуждая вопросы с общей точки зрения и предоставляя читателю самому выводить заключения. Между тем, многие приняли меня, вообще, за противника представительных учреждений. Вследствие этого либералы остались недовольны моею книгою, усматривая в ней отпор их необдуманным стремлениям, а приверженцы самодержавия, с своей стороны, не сочувствовали сквозящему

сквозь умеренный тон либеральному направлению. Когда в обществе разыгрались страсти и партии увлекаются в противоположные стороны, человеку умеренному, стоящему посредине, вообще приходится плохо. Но в образованной среде, по крайней мере, понимают, что́ автор хотел сказать, существует уважение к мысли и труду; у нас же все это блистало полным отсутствием. Журналистика, несмотря на то, что ей давался повод обсуждать эти вопросы по-своему, встретила книгу молчанием. Только в „Русском Вестнике“ явилась пустая, но недоброжелательная статья только что начинающего в то время Градовского, приправленная шпильками Леонтьева, который мстил за прежние отношения. Редакция во всех случаях руководилась чисто личными видами и здесь осталась верна себе. Несмотря на то, книга „О народном представительстве“, в отличие от всех других моих произведений, разошлась вполне. Впоследствии меня не раз настойчиво убеждали предпринять второе издание; но при существующем настроении русского общества я считал это совершенно лишним, тем более, что я занят был другими работами, от которых не хотел отвлекаться. Я был доволен и тем, что нашлись читатели, хотя следов этого чтения я нигде не мог приметить. Во всяком случае, эта книга остается пока единственным самостоятельным политическим сочинением в русской литературе.

Этот труд занял у меня не только лето, но также и осень и даже часть зимы, которая разделялась между работою и чтением курса.

Не с радостным чувством вернулся я в университет. Я нашел там своих друзей, которых увидел с удовольствием; но большинство, патронированное редакциею „Московских Ведомостей“, царило беспрепятственно и услаждалось своим торжеством. Оно считало уже себе все позволенным; пошли всякого рода мелкие гадости. Случилось, что какая то проделка ректора,—не помню именно что́,—дошла до Совета. Клевреты Баршева хотели ее прикрыть; но мы вывели дело наружу. Тогда на нас ополчились в особенности Никольский и медик Матюшенков. Уверяли, что даже невежливо обличать таким образом ректора. Так как вопрос был неважный, мы не настаивали. Дмитриев

довольствовался тем, что сочинил по этому поводу следующую эпиграмму:

Когда Диану дерзновенно
Узрел нагую Актеон,
Он был богиней раздраженной
На растерзанье обречен.

И мы игуменью святую
Узрели тож в дезабилье,
Простоволосую, босую,
Да и в запачканном белье.

И вот уже готова кара:
Собаки ринулись тотчас,
И лает бешеная пара,
И учит вежливости нас.

Никольский то зальется шавкой,
То вдруг поднимет хриплый вой;
А Матюшенков с бородавкой,
Беснуясь, брызгает слюной.

Ужасен этот лай сугубый,
Страшна отвага забияк,
Но к счастью их тупее зубы,
Чем актеоновых собак.

Скоро однако поднялась история, которая и для нас, и для университета имела самые печальные последствия. Мы принуждены были выйти в отставку. Юридический факультет был разгромлен; университет временно был отдан на жертву негодяям и никогда уже более не мог подняться на свою прежнюю высоту. Расскажу эту историю документально. Так как я играл в ней главную роль, то постараюсь изложить дело так, чтобы оно было ясно из самых фактов.

В декабре 1865 года кончили пятилетний срок службы двое из профессоров, Лешков и Менщиков. О Лешкове я говорил уже выше. Это был человек мягкий и добрый, но глупый и бездарный. Еще будучи студентами, мы смеялись над ним, когда он читал нам полицейское и международное право, а с тех пор, под влиянием славянофильских идей, превратившихся в его мутной голове в невообразимый хаос, он изобрел собственную свою новую науку, общественное право, которую и читал в университете, как плод русской мысли. Трудно себе

представить, какая это была изумительная чепуха. Студенты на смех приносили иногда нам его тетради, и мы смеялись не меньше их, но так как этот бесконечный вздор приправлялся патриотическими и либеральными фразами, то были молодые умы, на которые это действовало. Для всякого человека, имеющего смысл и дорожащего пользою университета, было ясно, что терпеть в университете подобное преподавание было невозможно. Менщиков отличался от Лешкова только тем, что он не изобрел новой науки и довольствовался преподаванием всем известного греческого языка; но крайняя его ограниченность не была тайною ни для кого. Заменить его более молодыми силами было насущною потребностью.

По уставу, профессора, прослужившие двадцать пять лет, избирались Советом на каждое новое пятилетие, причем для выбора требовались две трети голосов. Это было установлено именно с тем, чтобы парализовать слишком привычное во всякой замкнутой корпорации кумовство и очистить место для более свежих элементов. И Лешков, и Менщиков прослужили уже тридцать лет; предстояло этих старцев или удалить или оставить еще на пять лет.

В январе 1866 года происходили выборы. Баллотирующиеся профессора отсутствовали; но было заявлено, что они передают свои шары друг для друга: Менщиков Бодянскому, а Лешков Беляеву. Я заметил, что это едва ли правильно. Они были выбраны на пятилетие, и в декабре кончился срок их службы, стало быть, они перестали быть профессорами, а потому не могут заседать в Совете и принимать участие в его действиях до тех пор, пока не будут выбраны вновь. Ректор согласился с моим замечанием, которое очевидно было юридически правильно, и Совет единогласно устранил оба шара.

При баллотировке оказалось, что Менщиков не получил даже простого большинства, а Лешкову было положено 25 белых и 13 черных, так что одного шара недоставало до двух третей. Делать было нечего; надобно было приступить к выбору декана юридического факультета,—должность, которую дотоле занимал Лешков. Выборы производились факультетом в заседании Совета. Перед баллотировкою ко мне сзади подошел Никольский и шепнул на ухо: „Поздравляю вас деканом".—

„Отчего ж меня?“ спросил я. — „А кого же?“—Я указал на сидящего возле меня Капустина и Бабста, которые были гораздо старше меня профессорами. Он махнул рукой и отошел. Действительно, при баллотировке я оказался выбранным.

Лично мне этот выбор был неприятен. Должность декана влекла за собою участие в хозяйственных делах университета, которыми заведывало Правление, разбор массы мелких студенческих дел и просьб, а, главное, значительное сокращение каникул, которыми я очень дорожил. Приходилось жертвовать и временем потребным для ученой работы и любимою мною деревенскою жизнью для всякого рода мелочных хлопот. Я бы очень рад был оставить Лешкова деканом, лишь бы он перестал быть профессором. Но отказываться я был не в праве. Друзья мои радовались тому, что влиятельное место в юридическом факультете, а с тем вместе и в университете, получил человек из нашего кружка.

Деканом, однако, мне быть не пришлось; судьба избавила меня от этой обузы. Большинство было недовольно исходом выборов. Друзья Лешкова придумывали, как бы это дело исправить. Другого средства не было, как поднять вопрос об устраненных голосах. В следующем заседании Совета прочтено было письмо Лешкова, в котором он заявлял, что считает устранение голосов неправильным. Начались прения; решено было обратиться к начальству с вопросом: законно ли поступил Совет, устранивши голоса окончивших срок службы профессоров. Дело переходило таким образом к попечителю, а затем к министру.

Если бы в это время попечителем был Исаков, то исход, без сомнения, был бы правильный и для нас благоприятный. Но добрейший Дмитрий Сергеевич Левшин, патриархальный генерал старого времени, не имел ни малейшего понятия ни о науке, ни о преподавании, ни об юридических требованиях. Старые профессора к нему подлезли и обошли его кругом. К несчастью, в это время отсутствовал человек, с которым он имел обыкновение совещаться, Сергей Михаилович Соловьев. Он был вызван в Петербург для преподавания русской истории наследнику и великим князьям. Левшин вообразил, что все будут довольны, если он так устроит, что Лешков останется

профессором, а я деканом. В этом смысле он сделал представление министру.

Министром был описанный выше Александр Васильевич Головнин. Здесь являлся для него случай себя показать, и он выказал себя в полном блеске. Он собрал совет мужей Министерства народного просвещения, и что́ же они изобрели! Во-первых, вопреки закону и здравому смыслу, они решили, что кончившие срок службы профессора все-таки сохраняют права профессоров до тех пор, пока не будут забаллотированы, а потому имеют право выбирать друг друга. Принявши такое решение, очевидно, оставалось только кассировать выборы и предписать произвести новые. Это был единственный исход, дозволенный и законом и логикой. Но мудрый совет решил иначе. Так как Менщиков, будучи забаллотирован, не мог уже участвовать в выборе, то министерство предписало попечителю спросить у Бодянского: куда бы он положил шар, если бы он был допущен до баллотировки? Бодянский отвечал, что он положил бы направо. На этом основании, министр народного просвещения А. В. Головнин, собственною властью причислил шар Менщикова к положенным в ящик 25 белым шарам и утвердил Лешкова на новое пятилетие.

Это было нечто чудовищное, неслыханное. И закон, и здравый смысл, и практика всех русских учреждений, все беззастенчиво попиралось ногами, и для чего? Для того, чтобы сохранить в университете никуда негодного профессора, которого всякий человек, имеющий малейшее понятие о народном просвещении, рад был бы сбыть с рук при первом удобном случае. Надобно заметить, что министр легко мог получить настоящее понятие об этом деле, переговоривши с Соловьевым, который в это время был в Петербурге. Но призывая к совещанию всяких журналистов, через которых он надеялся приобрести популярность, Головнин считал совершенно излишним совещаться с человеком, пользующимся всеобщим уважением, вполне беспристрастным и близко знающим Московский университет.

Содержание министерской бумаги было нам известно, прежде нежели она была прочитана в Совете. Возник вопрос: что же нам делать? Мы видели очень хорошо, что дело про-

играно. Когда попечитель и большинство Совета были заодно, когда министерство в угоду этому большинству, оказывало полное презрение к самым элементарным требованиям права, то на что́ же было надеяться? Но молчать при таком вопиющем нарушении закона мы считали неприличным и недостойным университета. Решено было предложить Совету сделать представление министру на основании 78-й статьи основных законов, которая обязывает всякое подчиненное лицо или место, получившее противоречащее законам предписание, сделать о том представление начальству. Мы знали, что Совет не примет нашего предложения, но это был протест закона против беззакония. Дмитриев взялся его представить.

Когда бумага была прочитана в Совете, Дмитриев заявил, что желает сделать по этому поводу предложение, так как решение министра не согласно с университетским уставом. Ему заметили, что лучше сделать это заявление письменно, ибо вопрос требует большой осторожности. Он согласился, и к следующему заседанию приготовил бумагу, в которой, в весьма умеренных и почтительных выражениях, но с полною ясностью выставил всю незаконность решения министра. Содержание ее было следующее.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОФЕССОРА ДМИТРИЕВА ПО ПОВОДУ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА ЛЕШКОВА.

В 78-й статье Свода законов основных сказано: „Если бы в предписании, непосредственно от власти министра исходящем, начальство, ему подчиненное, усмотрело отмену закона, учреждения или объявленного прежде высочайшего повеления, тогда оно обязано представить о сем министру. Если и засим предписание будет подтверждено от лица министра в той же силе, тогда начальство обязано случай сей представить на окончательное разрешение Правительствующему Сенату“.

Из этого следует, что представление министру о несогласии предписания его с законами есть не только право, но и непременная обязанность всякого подчиненного лица и места.

Опасаясь ответственности за неисполнение этой обязанности, находя в распоряжении г. министра народного просвещения, по делу профессора Лешкова, отмену закона

о баллотировке, имею честь представить на усмотрение Совета следующее:

По 72-й статье университетского устава, министру предоставлено право утверждать профессоров только по избранию Совета, и случаи, когда профессора назначаются без избрания, указаны тут же, в ясных и определенных выражениях. Но в деле профессора Лешкова избрания не было, и не только Совет университета, но и Совет министра народного просвещения единогласно признали выбор несостоявшимся. Университетский Совет никогда не представлял профессора Лешкова, а ходатайствовал только о разрешении сомнения, возникшего после баллотировки, относительно законности устранения профессоров Менщикова и Лешкова. Разрешая сомнение подчиненного места, г. министр имел право только объявить выборы недействительными и предписать произвести новые, но никак не мог утвердить профессора Лешкова, ибо когда нет избрания, то и утверждать нечего. Это не только очевидно вытекает из смысла закона, но сверх того подтверждается и постоянною практикой русской администрации. Правительствующий Сенат, которого указы должны исполняться всеми подчиненными местами и лицами, как собственные указы императорского величества, в прошлом году точно таким же образом поступил относительно Московского дворянского собрания. Когда министр внутренних дел возбудил вопрос, законно ли были лишены шаров некоторые из дворян, и Сенат не нашел этого правильным, то он уничтожил произведенные выборы и разрешил министру открыть новые, но не уполномочил его отобрать голоса незаконно устраненных дворян, по состоявшимся уже выборам и на этом основании изменять результат их. Если бы и г. министр народного просвещения кассировал нашу баллотировку, то был бы совершенно в праве; но он этого не сделал, а, вместо того, сам произвел выбор за нас, на что не был вовсе уполномочен законом.

Другая неправильность состоит в способе, которым был отобран голос заслуженного профессора Менщикова. Заключение Совета министра основывается, как в нем сказано, на „официальном“ заявлении профессора Бодянского, что профессор Менщиков поручил ему положить шар в пользу

профессора Лешкова. Очевидно, что выражение „официальное“ употреблено здесь по недоразумению, ибо официальные заявления делаются только с соблюдением узаконенного порядка инстанций, следовательно, профессор Бодянский должен был сделать свое заявление в Совете, а он никогда не делал ничего подобного и даже не мог сделать: Совет не допустил бы такого нарушения тайной баллотировки, точно так же, как не допустил того же профессора Бодянского объявить свой голос после баллотировки, при избрании г. ректора. Устанавляя закрытую подачу голосов, закон никому не разрешает подавать голос явно, а тем менее в другом месте и спустя долгое время после выборов. Причисление же к баллотировке шара, который мог бы быть положен, лишено всякого законного основания. А потому и утверждение на основании голоса, заявленного впоследствии и вне Совета, не может быть рассматриваемо иначе, как отмена в данном случае того порядка выборов, который установлен университетским уставом. Если при этом, по замечанию Совета министра, шар неизбранного профессора Менщикова уже не может быть восстановлен, то подобное соображение нисколько не усиливает законного утверждения, а доказывает только всю несостоятельность того мнения, по которому профессор, сам баллотирующийся на новый срок, сохраняет свой голос при выборе другого лица.

Итак, распоряжение г. министра противоречит 46-й и 72-й статьям высочайше утвержденного Устава российских университетов. Полагаю, что отступление от закона в обоих случаях может иметь важные последствия. Решение г. министра есть прецедент, на который будут ссылаться впоследствии, и закон, ясный и определенный в своем смысле, может исказиться в приложении. Между тем, эти оба постановления Устава суть драгоценные права, ограждающие свободу университетской корпорации. Тайная подача голосов есть гарантия независимости от всяких личных влияний. Что же касается до статьи 72-й, определяющей права министра относительно утверждения профессоров, то она составляет важное приобретение университетов, шаг вперед с сравнении с прежним порядком. Устав 1835 года ничем не ограничивал права министра

замещать кафедры, и оно действовало совместно с правом выбора университетских советов. Устав 1863 года, стремясь расширить самодеятельность университетов, ограничил влияние министра на состав профессорских корпораций и допускает назначение, помимо выбора, только в виде редкого исключения. Это было сделано притом не случайно, а вследствие единодушного желания всех университетов, в том числе и Московского, которые, в своих замечаниях на проект устава, все высказались в пользу подобной меры.

„Поэтому,— так как Совет никогда не представлял профессора Лешкова на утверждение г. министра народного просвещения, а только просил разрешения сомнения насчет правильности баллотировки; — так как выборы должны быть кассированы, если произведены неправильно, а если они произведены правильно, то профессор Лешков не может считаться избранным; — так как не положенный шар не может быть причислен к баллотировке, и голос, поданный явно, вне Совета, после выборов, не может служить законным основанием для утверждения: то, на основании 78-й статьи I тома Свода законов основных, предлагаю Совету почтительнейше представить г. министру народного просвещения, что распоряжение его высокопревосходительства по делу профессора Лешкова не согласно с законами об избрании профессоров и тайной баллотировке.“

Однако, это предложение не было допущено до чтения. Когда в следующем по заявлении заседании Совета Дмитриев хотел его прочесть, ему объявили, что, как входящая бумага, оно должно быть предварительно представлено ректору на просмотр. Дмитриев отвечал, что это вовсе не входящая бумага, а мнение члена по поводу предъявленного Совету решения министра, и что требование представить его предварительно ректору не основано ни на университетском Уставе, ни на практике Совета. Баршев, который сначала колебался, окончательно объявил, что он прочтения не допустит, и когда Дмитриев сказал, что в таком случае он изложит свое предложение словесно, ректор собственною властью прекратил

всякие прения, объявив, что бумага министра прислана к исполнению, а потому никакому обсуждению не подлежит. Таким образом, протест во имя закона был устранен актом чистого произвола. Я заявил, что считаю такой способ действия незаконным и представлю об этом особое мнение.

Я изложил это мнение письменно, с возможною ясностью и осторожностью. Для большей уверенности я прочел его Щербатову, которому хорошо были известны бюрократические порядки и который всегда мог дать добрый совет. Мы тщательно просмотрели бумагу и выкинули все, что могло показаться неумеренным или подать повод к нареканиям. Прилагаю ее здесь, дабы читатель мог судить, насколько она способна была вызвать ту бурю, которая из-за нее поднялась.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ПРОФЕССОРА ЧИЧЕРИНА ПО ПОВОДУ ВОПРОСОВ, ВОЗБУЖДЕННЫХ В ЗАСЕДАНИИ 28 АПРЕЛЯ 1866 ГОДА.

В заседании 28 апреля профессор Дмитриев хотел прочесть заявленное им уже прежде в Совете предложение, по поводу утверждения профессора Лешкова на новое пятилетие г. министром народного просвещения. Но г. ректор не позволил ему объяснить это предложение ни письменно, ни словесно, объявив оное противозаконным и себя ответственным за допущение возражений против бумаг министра, присланных к исполнению. Сверх того, г. ректор потребовал, чтобы письменные предложения членов Совета были предъявлены ему на предварительный просмотр. Когда же было возбуждено сомнение в законности требования, то г. ректор сказал, что он не может допустить, чтобы члены оспаривали его права, как это неоднократно делается в Совете, ибо, если при всяком действии председателя каждый член будет иметь возможность подвергать вопросу законность его поступка, то ректор не в состоянии будет исполнять своих обязанностей, охранять порядок в заседании и руководить прениями. Поэтому его превосходительство объяснил, что считает нужным представить дело на усмотрение высшего начальства. Я, с своей стороны, вместе с профессором Дмитриевым, счел долгом протестовать против действий и требований, уничтожающих свободу голоса

членов и заявил, что подам об этом особое мнение, которому прошу дать законный ход. Права председателей присутственных мест определены общими законами и в этих границах должны быть свято уважаемы, но не менее уважаемы должны быть права членов. Свободное их мнение должно быть ограждено от произвола, как этого прямо требует 95-я статья Общих правил о производстве дел в присутственных местах, и если председатель, выходя из постановленных законом пределов своей власти, стесняет права членов, если им не дозволяется исполнять по совести свои служебные обязанности, то каждый из них имеет не только право, но и обязан по закону и по совести возражать против этого и протестовать, если возражение его не будет уважено. Протест, основанный на законе, не может считаться неуважением к председателю. Если в Московском университете с недавних пор, к сожалению, неоднократно поднимаются вопросы о правах ректора, то причина этому заключается единственно в том, что члены Совета неожиданно узнают о новых правах председателя, которые в законе не объявлены, которые никогда не существовали и в обычае и о которых не было помину, даже когда ректор назначался от правительства. С тех пор, как я имею честь принадлежать к университету, я ничего подобного не видал. Московский университет радовался восстановлению своих выборных прав, но полагаю, что последствием выборного начала должно быть не ограничение прав членов, не произвол председателя, устраняемый самою буквою закона, а справедливость и ограждение свободы голоса как большинства, так и меньшинства.

Вопросы, возникшие в последнее время насчет прав ректора, касаются трех пунктов: 1—права останавливать предложения членов и не допускать их до обсуждения в Совете; 2—права требовать письменные мнения или предложения членов на предварительный свой просмотр; 3—права, помимо Совета, представлять начальству особые мнения по делам, обсуждаемым в Совете и восходящим на высшее утверждение. Рассмотрю эти три пункта один за другим.

1. Сомнение насчет права ректора не допускать предложений членов к обсуждению в Совете, возникло по следующему

случаю: в январе нынешнего года профессор Лешков, вместе с профессором Менщиковым, баллотировался на новый пятилетний срок службы. При этом оба передали свои шары друг для друга, один профессору Бодянскому, другой профессору Беляеву. Совет, по сделанному мною замечанию, подтвержденному самим г. ректором, устранил эти голоса. Профессор Менщиков был забаллотирован; профессор Лешков получил 25 белых и 13 черных шаров, следовательно, менее двух третей голосов, требуемых закоком, а потому также был сочтен неизбранным. Но профессор Лешков, в письме на имя г. ректора, протестовал против этого решения Совета, считая исчисление голосов неправильным и устранение двух шаров незаконным. Совет усомнился насчет последнего пункта и решил просить у начальства разъяснения, правильно ли была произведена баллотировка. При этом профессор Дмитриев представил особое мнение, а г. председатель объявил, что и он, по праву, присвоенному ректору, пошлет также свое мнение. Г. министр народного просвещения согласился с профессором Лешковым и нашел, что устранение голосов было неправильно, но не кассировал на этом основании произведенных выборов, а утвердил профессора Лешкова, причислив к 25 избирательным шарам шар профессора Менщикова, переданный профессору Бодянскому, но не положенный в ящик, а заявленный впоследствии г. попечителю профессором Бодянским, который объявил, что если бы его допустили к баллотировке, то он положил бы направо. Профессор Дмитриев счел этот способ утверждения противным закону и, когда бумага г. министра была прочтена в Совете, заявил, что желает сделать об этом предложение, ссылаясь на 78-ю статью основных законов, которая обязывает каждое подчиненное начальство, получившее незаконное распоряжение министра, сделать ему о том представление и затем, если последует подтверждение, вознести дело на окончательное решение Сената. Но г. ректор тогда же сказал, что считает незаконным обсуждение предписаний министра и не может принять на себя этой ответственности. Однако, профессору Дмитриеву было предложено объяснить свое мнение письменно; но, когда в заседании 28 апреля он хотел его прочесть, г. ректор решительно объявил предложение

противозаконным на том основании, что бумага прислана к исполнению. Хотя профессор Дмитриев ссылался при этом на основной закон Российской империи, но его превосходительству не угодно было обратить на это внимание. Таким образом, предложение професоора Дмитриева не было допущено к обсуждению, и член Совета был лишен возможности исполнить возложенную на него законом обязанность.

Я не вхожу в разбор мнения профессора Дмитриева. Оно могло быть совершенно неосновательно; Совет мог с ним согласиться или не согласиться. Но не было никакой законной причины не допускать его к обсуждению, а потому я, с своей стороны, считаю долгом протестовать против того, что́, по моему убеждению, составляет нарушение и прав членов и прав Совета. В качестве председателя, г. ректор, несомненно, имеет не только право, но и обязанность не допускать противозаконных прений, но из этого не вытекает право устранять предложения, основанные на точной и ясной букве закона. Статья 78-я основных законов совершенно определительна. Какая бы бумага министра не была прислана к исполнению, если возбуждается сомнение в ее законности, этот вопрос не только может, но и должен быть обсужден в присутственном месте, и каждый член имеет при этом право совершенно свободно изъяснять свое мнение и делать предложения коллегии Статья 147-я Общих правил о производстве дел в присутственных местах (Св. Зак., т. II, ч. I) не только дает каждому члену право, но и возлагает на него обязанность по всем выслушанным делам давать советы и объяснять свое мнение, а статья 149-я гласит: „Каждый член объясняет свое мнение свободно и явственно, по прямому своему разумению и чистой совести, несмотря на лица и не уважая ни посторонних предложений, ни частных писем, хотя бы они были от первейших особ в государстве“. Следовательно, не дать голоса члену, не позволить ему выполнить по совести свои обязанности есть прямое и ясное противоречие закону. Никакому председателю не присвоено такое право и каждый член обязан против этого протестовать.

Но устранение предложения профессора Дмитриева нарушает не одни права членов; оно еще более нарушает права

и обязанности Совета. По статье 248-й Общих правил о производстве дел в присутственных местах, за всякие упущения и беспорядки ответствует не один только председатель, но и все присутствующие. Следовательно, Совет несет на себе всю ответственность за исполнение незаконного распоряжения министра. Получивши такое предписание, Совет имеет не только право, но и обязанность сделать о том представление начальству. Отрицать у него это право, объявлять противозаконным всякое возражение против бумаги министра, на том основании, что она прислана к исполнению, значит низвести Совет на степень слепого орудия и безмолвного исполнителя приказаний начальства. Это опять прямое противоречие закону. Ни одно присутственное место не исполняет присланных ему предписаний административной власти, не удостоверившись наперед в их законности. На каком же основании Совет императорского Московского университета будет в этом отношении поставлен ниже других? Он сам далеко не считал себя лишенным права обсуждать присланные ему предписания. Не далее как в прошедшем году, г. министр народного просвещения разослал по университетам одну изданную за границей брошюру. Г. министр действовал в пределах своего права; он не нарушал никакого закона. А между тем, Совет Московского университета не принял бумаги к исполнению, но, по предложению самого г. ректора, отослал брошюру назад, объявивши ее памфлетом, который университет не желает поместить в свою библиотеку. Даже в настоящее время, рядом с устранением всяких бумаг, присланных к исполнению, самим г. председателем признаются иногда и другие начала. В то самое заседание, в котором г. ректор объявил предложенне профессора Дмитриева противозаконным, была прочтена бумага, в которой г. попечитель, пользуясь своим правом, отказывал в утверждении вновь избранного библиотекаря университета. Но г. ректор не принял бумаги к исполнению, а сам предложил Совету сделать попечителю новое представление об утверждении библиотекаря. На каком же основании к однородным делам прилагаются различные правила и мерила и как согласить это с справедливостью, с законностью и с уважением к правам членов?

2. По поводу того же предложения профессора Дмитриева г. ректор объявил, что письменные мнения или предложения (что по закону вовсе не различается) должны быть представляемы ему на предварительный просмотр. В заседании 7 апреля, при чтении бумаги г. министра народного просвещения, профессор Дмитриев хотел тут же изъяснить о ней свое мнение словесно, но ему предложили изложить свои соображения письменно, так как этот вопрос считался важным. Когда же он на это согласился, заявлено было, что письменное предложение должно быть предварительно одобрено г. ректором. Вопрос этот возобновлялся в двух следующих заседаниях: профессор Дмитриев не соглашался на требование, лишенное законного основания и протестовал против него. Я, с своей стороны, присоединяюсь к этому протесту, во имя свободы голоса и прав членов. Русские законы нигде не устанавливают цензуры председателя над мнениями членов. Нигде также они не делают ни малейшего юридического различия между мнениями и предложениями. Предложение есть только мнение известного рода. Приведенная выше статья 147-я Общих правил о производстве дел в присутственных местах, предоставляя членам право и возлагая на них обязанность подавать советы и объяснять свое мнение по всем выслушанным делам, не различает того и другого и не постановляет никаких ограничений. Статья 95-я тех же Правил до такой степени ясна и определительна, что не оставляет ни малейшего сомнения на счет прав, присвоенных председателю и членам присутственных мест. Она говорит: „Члены обязуются должным к председателю почтением и повиновением во всем, относящемся до обязанностей службы; но власть его не распространяется на их мнения, которые во всяком случае свободны и от произвола его не зависят". Следовательно, требование г. ректора очевидно не согласно с законом. Права председателя в присутственных местах ограничиваются охранением внутреннего порядка; он, по статье 248-й, вместе со всеми присутствующими отвечает за медленность, беспорядки и упущения, но никогда за мнения членов, и если г. ректор сослался на свою ответственность при устранении предложения профессора Дмитриева, то эта ссылка не имеет законного основания.

Впрочем, насчет письменных мнений членов, существуют в некоторых коллегиях особые правила, но они имеют чисто формальный характер и клонятся к облегчению порядка делопроизводства, не давая председателю никакой власти. Таким образом, в собраниях, где обсуждаются многосложные дела, например, в Государственном совете—постановлено, что письменные мнения членов должны присылаться накануне заседания для того, чтобы можно было, если нужно, навести справку, или приготовить объяснение. В университете, ни по Уставу, ни по обычаю такое правило не установлено, и оно совершенно лишнее. При немногосложности дел, нужную справку можно навести тотчас же. В случае необходимости, дело может быть отложено до следующего заседания, на что всякий член, подающий мнение, охотно согласится, ибо это несравненно меньшее стеснение, нежели установление цензуры председателя, которая, ограничивая свободу голоса членов, может, в крайних случаях, повести даже к тому, что ректор, выбранный большинством, будет устранять все предложения меньшинства. В университете доселе никогда не признавалось подобное правило, и это не затрудняло решения дел. Даже в то время, когда ректор назначался правительством, он не предъявлял притязания на цензуру над мнениями членов Совета и не требовал их предложений на предварительный свой просмотр. Но, даже если бы это правило было в высшей степени полезно, председатель не имеет ни малейшего права установлять его собственною властью. Делопроизводство коллегии, права председателя и членов определяются законом, иногда инструкциями высших правительственных лиц; в законодательных палатах они установляются самим собранием; но нет примера, чтобы председатель сам от себя предписывал новые правила и создавал себе небывалые прежде права. Только в чисто канцелярском порядке начальник может требовать всякие бумаги на предварительный свой просмотр; но Совет Московского университета не состоит к своему председателю в отношении канцелярии к начальнику. Члены его пользуются свободою голоса и ограждены законом от произвола председателя, то есть от требований, лишенных законного основания.

3. При обсуждении возражений профессора Лешкова против решения Совета, объявившего его неизбранным на новое пятилетие, г. ректор заявил, что он, по праву ему присвоенному, пошлет свое особое мнение на усмотрение начальства. Это мнение не было прочитано в Совете и доселе осталось ему неизвестным. Не желая дать делу личный характер, я в то время не счел нужным возражать; но в следующем заседании, при чтении протокола, просил позволения возбудить вопрос о том, действительно ли существует право ректора посылать, помимо Совета, свое особое мнение по делам, решаемым Советом и восходящим на утверждение высшего начальства. Так как в прениях я не мог убедиться доводами защитников этого права, то я предложил просить разъяснения этого вопроса. В то время мое предложение не получило дальнейшего хода, но я заявил, что внесу его письменно, и теперь пользуюсь своим правом, чтобы дать этому делу законное движение.

Я не считаю права, которое приписал себе г. ректор, основанным на законе. Оно не существует ни в одном присутственном месте и не присвоено законом никакому председателю. Оно противоречит взаимным отношениям, установленным между председателем и членами коллегий, и еще более тому доверию, которое должно господствовать между выборным ректором и Советом. Если председатель желает представить особое мнение об обсуждаемом вопросе, он прежде всего предлагает его коллегии для утверждения своих товарищей. Если они не согласятся, он имеет право приложить его к протоколу и послать на усмотрение начальства, точно так же, как делают члены. Но трудно понять, на основании каких законных соображений можно представить начальству мнение, не внесенное в коллегию для ее убеждения. Такой чисто личный путь помимо коллегии уместен только там, где все управление сосредоточивается в председателе, а прочие члены состоят при нем с чисто совещательным голосом. Там же, где дела решаются коллегиально и члены имеют самостоятельное значение, этот способ действия может иметь весьма важные неудобства. Это —мнение, на которое нельзя возражать; следовательно, начальство имеет перед собою одну только сторону дела, тогда как

возможный ответ остается ему неизвестен. С своей стороны и коллегия решает вопрос, не имея в виду всех данных, ибо председатель не счел нужным представить их на ее усмотрение. В настоящем случае, посылка мнения ректора, помимо Совета, едва ли могла иметь важные последствия; однако, для пояснения дела можно сослаться и на этот пример. Г. министр народного просвещения, утверждая профессора Лешкова, основался, между прочим, на заявлении г. ректора, что профессора Лешкова некем заменить на кафедре. Но это обстоятельство не было выставлено г. ректором в прениях Совета, и если бы оно было высказано, то немедленно последовало бы возражение, что суждение о замещении кафедр прежде всего принадлежит факультету, факультет же никогда не был об этом спрошен.

Едва ли впрочем кто-либо станет утверждать, что право посылать особые мнения помимо Совета принадлежит ректору в качестве председателя Совета. Защитники этого права ссылаются главным образом на то, что ректор имеет права и обязанности и независимо от Совета. В § 4 университетского Устава ему вверяется ближайшее управление университетом; § 28 возлагает на него ближайшее попечение о благоустройстве университета. Но из этих постановлений закона нельзя вывести означенного права. В § 28 прямо обозначено, какие права вытекают из попечения о благоустройстве университета: они вовсе не относятся к делам, обсуждаемым в Совете, а касаются единственно исполнения. 4-й же параграф не установляет власти безграничной и не делает из Совета простое совещательное учреждение, существующее при ректоре, ибо в следующем 5-м параграфе сказано, что в состав университетского управления входят и факультеты, и университетский совет, и правление и университетский суд. Следовательно, вопрос сводиться к тому, какие права и обязанности присвоены каждому из этих лиц и учреждений. Все это точно обозначено в университетском Уставе. Права ректора изложены в главе IV-й; следовательно, из нее только можно вывести право, о котором идет речь. Но в ней нет ни единого слова, которое бы оправдывало подобный вывод. Здесь означены некоторые дела, возложенные исключительно на ректора, и в которые

Совет не имеет права вступаться: так, например, ректор делает представления о награждении преподавателей и служащих. Но по всем делам, предоставленным ведению Совета, ректору, по 31 статье IV-й главы университетского Устава присвоены права председателя, и никакие другие. Все, выходящее из этих пределов, не имеет основания в законе, и хотя в Совете и было высказано мнение, что то, что не означено в законе, следует считать дозволенным, однако, относительно должностных лиц, юридическая теория и практика держатся противоположного начала. Им принадлежат только те права, которые именно присвоены им законом.

Сам г. ректор, в одном из следующих заседаний Совета, настаивая на своем праве, объявил однако, что не будет им пользоваться, так как оно возбуждает противоречия. Но отречение от законного права столь же мало дозволяется должностному лицу, как и присвоение себе права, не установленного законом. Права должностных лиц суть вместе и обязанности. Они даются не для частных целей, а для общественной пользы. Поэтому никто не может отказаться от прав, предоставляемых ему законом, и объявлять, что не будет ими пользоваться. Во всяком случае, юридический вопрос нисколько этим не разрешается.

Таковы сомнения насчет прав ректора и членов, возбужденные в последнее время в Московском университете. Заявивши, что я подам об этом письменное мнение, покорнейше прошу приложить его к протоколу и дать ему дальнейшее движение. Соглашаясь в этом отношении с г. ректором, я считаю необходимым представить это дело на усмотрение высшего начальства, в видах ограждения свободы голоса и прав членов Совета.

Когда я это мнение прочел в Совете, Никольский вскочил и закричал, что это донос. Я обратился к председателю с вопросом: позволяет ли он в прениях Совета подобные выражения. „Отчего же нет?" отвечал Баршев. Я просил занести это в протокол. Никольский продолжал, несколько более сдерживаясь в своих выражениях, но таким же запальчивым тоном.

После него все заговорили разом; поднялся невообразимый шум, среди которого ректором было предложено не принимать моей бумаги. Профессора, в знак согласия, вскочили с своих мест. Я молчал; видя, что бумагу не хотят принимать, я спокойно положил ее в карман, думая, что все равно, я подам ее прямо попечителю. Но тут опять поднялся страшный гвалт, в котором я ничего не мог разобрать. Вокруг ректора стояла толпа, которая обращалась ко мне с какими то требованиями, крича во все горло, как пьяные мужики в кабаке, а я только делал знаки, что не понимаю, чего от меня хотят. Тут Дмитриев не вытерпел: обращаясь к профессору хирургии Басову, который вопил громче всех, он сказал: „Да полноте орать!" Тогда на него из толпы посыпались ругательства, а Матюшенков устремился на него с поднятыми кулаками, но к счастью был удержан другими. Наконец, кто-то подошел ко мне и объяснил, что хотят, чтобы я отдал бумагу с тем, чтобы возвратить мне ее с надписью. Я тотчас ее отдал, ибо не имел причины ее держать. Совет кончился невообразимым хаосом. Это был неслыханный в летописях университета скандал.

Мое мнение было мне возвращено с надписью, как оскорбительное для ректора и Совета. Я немедленно представил его попечителю с письмом следующего содержания:

„Милостивый Государь Дмитрий Сергеевич. Честь имею представить вашему превосходительству мое особое мнение, подписанное некоторыми из моих товарищей, насчет возбужденных в Совете вопросов о правах ректора и членов. Это мнение было внесено в Совет, но большинство объявило себя оскорбленным бумагою, в которой я на основании закона отстаиваю свои права, и, по предложению г. ректора, решило ее не принимать. На каком законном основании это могло быть сделано, не умею сказать; я не мог потребовать ни объяснений, ни даже формальной подачи голосов, ибо заседание Совета окончилось такою сценою, которую я отказываюсь описывать. Покорнейше прошу Ваше превосходительство разобрать это дело и довести мое мнение до сведения г. министра народного просвещения, ибо это вопросы весьма существенные. От разрешения их зависит многое в университете. Могу заявить вашему превосходительству, что если права членов Совета

не будут ограждены от произвола и их личность от оскорблений, то пребывание в Московском университете сделается совершенно невозможным".

Между тем, мне предстояло подать особое мнение еще по другому поводу. В том же заседании 12-го мая, в котором я подал свой протест, еще прежде нежели дошла до него очередь, была прочитана бумага попечителя, в которой он делал замечание насчет того, что, при представлении на его утверждение выбора доцента Зайковского, ему не было представлено мнение профессора Захарьина. Дело в том, что Захарьин в этом случае расходися с факультетом, представлявшим доцента; в своей бумаге он разъяснял, почему он не считал Зайковского достойным избрания. Выбор, на основании факультетского представления, все-таки состоялся, и Зайковский был представлен на утверждение попечителя, но мнение Захарьина было удержано, и попечитель узнал о нем только из „Университетских Известий", где оно было напечатано. На это и последовало замечание. Ректор объяснил, что он сделал это на основании закона, ибо при вопросах, решаемых баллотировкою, особые мнения не представляются. Такое объяснение очевидно было неправильно, ибо с протоколом о баллотировке представлено было заключение факультета, а приложенное к нему особое мнение было удержано. Тем не менее, Совет решил, что ректор поступил согласно с законом, присовокупив, однако, что впередь все особые мнения должны посылаться попечителю. Одно решение прямо противоречило другому. Я объявил, что подам об этом особое мнение.

После происшедшего скандала было ясно, что второе мнение возбудит такое же негодование как и первое. Но заявивши, что я подам особое мнение, я не мог уже отступить; это имело бы вид, что с испугался. С другой стороны, я вовсе не желал быть свидетелем новых подобных сцен в стенах университета. Поэтому я решился отправить свое мнение ректору, с запискою, объясняющею причины такого отступления от обычного порядка. Записка была следующего содержания:

„Милостивый Государь Сергей Иванович. В прошедшем заседании Совета, по поводу бумаги г. попечителя о непредставлении ему мнения профессора Захарьина, я заявил, что

подам об этом деле особое мнение. Но, видя настоящее настроение Совета и не желая подавать повод к новым оскорбительным выходкам, честь имею препроводить свое мнение прямо Вашему превосходительству, для приобщения к протоколу или для прочтения в Совете, по вашему усмотрению".

Вот и самый текст представленной мною бумаги:

„В заседании 12 мая была читана бумага от г. попечителя Московского учебного округа, в которой его превосходительство сделал замечание насчет того, что особое мнение профессора Захарьина по делу о выборе доцента Зайковского, напечатанное в 7 номере „Университетских Известий", не было представлено ему вместе с протоколом о баллотировке. Г. ректор изъяснил, что, удержавши мнение профессора Захарьина, он поступил на основании закона, который не допускает подачи особых мнений при вопросах, решаемых баллотировкою, и Совет признал этот способ действия правильным. Я, с своей стороны, считая замечание г. попечителя Московского учебного округа вполне основательным и удержание мнения профессора Захарьина совершенно незаконным, заявил, что подам об этом особое мнение.

„В примечании к § 45 университетского Устава прямо сказано: „в делах Совета, восходящих на утверждение высшего начальства, прилагается и мнение меньшинства членов". А так как выбор лиц идет на утверждение высшего начальства, то нет сомнения, что при этом должны быть представляемы и отдельные мнения членов, если они есть. Мнение профессора Захарьина было внесено в Совет, принято, приобщено к протоколу и напечатано в „Университетских Известиях". Следовательно, непредставление его г. попечителю Московского учебного округа есть прямое противоречие университетскому Уставу.

„Однако, в Совете было высказано мнение, что самое принятие к протоколу мнения профессора Захарьина было неправильно; поэтому Совет, который прежде допустил представление этой бумаги, в настоящем случае решил, что г. ректор поступил правильно, удержавши ее. Большинство основалось на том, что: 1) § 45 не относится к делам, решаемым баллотировкою, которые означены в § 46; 2) что § 70

прямо излагает способ избрания профессоров: они баллотируются в факультете, который доносит о результатах баллотирования в Совет, где производится новая баллотировка, но о представлении особых мнений здесь ничего не сказано; 3) что подача особых мнений раскрывает тайну баллотировки.

„Я не могу убедиться этими доводами и остаюсь при прежнем своем мнении, что при выборе профессоров, по самому существу дела, баллотировка не устраняет отдельных мнений. Закон, постановляя общее правило о мнениях меньшинства, не устраняет их при баллотировке; следовательно, недопущение их при выборах основывается не на букве закона, а на толковании. Это толкование могло бы быть правильным единственно в том случае, если бы баллотировка устряняла всякие словесные и письменные мнения, как большинства, так и меньшинства. Но этого никогда не бывает и быть не может, по самому характеру выбора профессоров. Факультет, когда делает Совету представление о замещении кафедры, никогда не ограничивается сообщением избирательного листа, но изъясняет достоинства предлагаемого лица. В некоторых университетах,— например, в Харьковском, в Киевском,—весьма целесообразно прилагаются подробные разборы сочинений баллотирующегося кандидата. Но как скоро допускается хвала, так необходимо должны быть допущены и возражения. В Совете происходят прения, которые не могут быть устранены без существенного ущерба преподаванию. Иначе значительное большинство членов Совета должно будет класть свои шары слепо, не имея возможности убедиться в достоинствах или недостатках предлагаемого преподавателя. Если же допускаются словесные мнения, то должны быть допущены и письменные, которые ничто иное как более подробное и отчетливое изложение мнений словесных. Представление от факультета делается письменно и вносится в протокол; следовательно, должны быть допущены и письменные мнения членов, не согласных с факультетом. Это не есть раскрытие тайны баллотировки, ибо прения предшествуют баллотировке. Мнение не считается подачею голоса, но может иметь влияние на следующее решение, так же как на утверждение начальством. Каждый член имеет и право и обязанность излагать все, что он знает в пользу

и против избираемого лица, после чего он кладет свой шар в ящик по долгу и по совести. Таким образом, в настоящем случае, медицинский факультет представил Совету кандидата Зайковского, как вполне достойного занять кафедру общей терапии; профессор Захарьин имел и право и обязанность изложить об этом свое мнение, выразить и словесно и письменно, что не считает представление уместным, ибо кандидат Зайковский занимался отраслями наук, вовсе не подходящими к этой кафедре. Здесь дело идет не о нравственных качествах, а об ученых достоинствах преподавателя, которые подлежат открытому и свободному обсуждению.

„Но далее возникает вопрос: должно ли подобное мнение быть представлено высшему начальству? Утверждают, что баллотировкою в Совете покрывается все остальное, и что один баллотировальный лист должен быть представлен начальству, как выражение мнения Совета. Г. ректор подтвердил это тем, что избрание преподавателей принадлежит собственно университету, утверждение же имеет чисто формальный характер: начальство удостоверяется только, что нет законных препятствий к выбору. Но эти толкования не имеют основания в законе. Как скоро есть мнение меньшинства, так оно должно быть представлено начальству во всех делах, восходящих на его утверждение. По смыслу Устава, к баллотировальному листу должны быть приложены, как представление факультета в Совет, так и особые мнения членов, если они есть. Это необходимо для того, чтобы и начальство не утверждало слепо, но имея в виду как достоинства, так и недостатки предлагаемого преподавателя. Утверждение избираемых профессоров вовсе не имеет чисто формального значения. Если бы право избрания было дано Совету для собственной его пользы, если бы избираемые были не преподаватели, а просто доверенные от Совета лица, начальство могло бы ограничиться рассмотрением чисто формальных препятствий. Но выборное право дано Совету единственно для пользы преподавания, а это—точка зрения, которую нельзя отнять ни у попечителей учебных округов, ни у министра народного просвещения. Начальство утверждает избранного кандидата не потому только, что нет формальных препятствий к выбору,

а потому, что считает его достойным занять кафедру. Но для этого необходимо, чтобы все дело было у него на виду, чтобы оно имело перед собою доводы обеих сторон. Отдельные мнения имеют целью не пустое заявление, не одно ограждение ответственности членов, но, главным образом, всестороннее разъяснение дела, восходящего на высшее утверждение. Они не могут быть устранены, даже если бы утверждение имело чисто формальный характер. Член может сделать возражение, которое Совет не примет во внимание, но которое начальство сочтет достаточною причиною для отказа в утверждении. Польза преподавания, которая должна быть здесь единственным решающим началом, требует, чтобы подобные возражения не были скрываемы, но чтобы все дело было выставлено на вид самым полным и всесторонним образом.

„Итак, закон и польза народного просвещения равно не уполномочивают устранять особые мнения членов по вопросам об избрании новых преподавателей. Во всяком случае, если на этот счет существует сомнение, то оно должно быть возбуждено в Совете и разрешено высшим начальством. В Совете есть возможность возражать; член, которого мнение устраняется, который считает свои права нарушенными, может представить о том начальству, прежде нежели дело получило окончательное решение. Но удерживать мнение, которое принято в Совете и приобщено к протоколу, на это нет ни малейшего законного основания. Никакой председатель не имеет подобного права; это—прямое нарушение прав члена и Устава университета. Никакое последующее решение Совета не может прикрыть подобного отступления от закона, ибо самые решения Совета должны иметь законное основание. Поэтому я считаю необходимым представить этот вопрос на усмотрение высшего начальства. Подача особых мнений есть драгоценное право членов, особенно в закрытой корпорации, которой суждения не публичны. Оно одно дает гарантии меньшинству, охраняет свободу голоса членов и дозволяет начальству решать вопросы, восходящие на его утверждение, на основании всестороннего обсуждения дела. Поэтому считаю в высшей степени важным ограждение этого права от всякого произвола“.

Моя записка ректору была вызвана желанием избежать нового скандала; но ею воспользовались, чтобы выжить меня из университета. Когда я пришел в Совет, за несколько минут до открытия заседания, я увидел Баршева в таинственном совещании с Леонтьевым, который являлся в Совет только в важных случаях. После происшедшей сцены, испуганное собственными поступками большинство обратилось к своим патронам, которые и взялись устроить это дело. Тут представлялся удобный случай для мщения, а вместе для избавления университета от неприятных членов, и редакция воспользовалась им вполне. Как только открылось заседание, Баршев заявил, что он получил от меня особое мнение при записке и приказал секретарю прочесть то и другое. После чтения Леонтьев встал и объявил, что моя записка содержит в себе неприличные и непозволительные выражения, и что второе особое мнение мне надобно возвратить с надписью так же, как и первое. Я отвечал, что записка была предназначена для ректора, а вовсе не для чтения в Совете, и ничего неприличного и непозволительного в себе не заключает. Употребленные мною слова: „оскорбительные выходки" были только слабым указанием на то, что в прошедшем заседании происходило в Совете. Мне отвечали, что в Совете не происходило ровно ничего, что бы подавало мне повод употреблять подобные выражения. Я выразил удивление. Тогда Баршев, совершенно спокойным тоном, глядя мне прямо в глаза, спросил: „Да где же ваши доказательства?"—„Мои доказательства в ушах всех тех, которые здесь сидят", отвечал я.—„Тридцать человек будут свидетельствовать противное", возопили мне со всех сторон. Я увидел, что тут был формальный заговор. Это была уже не толпа пьяных мужиков, галдящих в кабаке, а шайка мошенников, которая решилась наглостью и бесстыдством прикрыть свои проделки и с невозмутимым цинизмом заявляла прямо в глаза, что ее не уличишь, потому что они все готовы лжесвидетельствовать. Это была самая возмутительная сцена, какую мне довелось видеть в своей жизни. Не только всякая совесть, но и всякое чувство приличия исчезли в первом ученом сословии России. И эту гнусную стачку вел человек, жаждущий мести и лишенный всякого

нравственного чувства, человек, для которого и университет, и польза просвещения, и самое достоинство корпорации, к которой он принадлежал, были только орудиями личных целей самого низкого свойства. По предложению Леонтьева, Совет постановил и внес в протокол: 1) что я в записке к ректору употребил неприличные и непозволительные выражения; 2) что в Совете не происходило ничего, что бы подавало повод употреблять подобные выражения; 3) что мое особое мнение должно быть мне возвращено с надписью, как оскорбительное для ректора и Совета. Меньшинство подписало несогласие; но к чему это служило? Выходя из заседания, Сергей Рачинский сказал мне: „Нынешнее заседание было не так скандально, как предыдущее, но оно было еще гораздо противнее".

Очевидно, мне оставалось только просить высшее начальство об отмене этих постановлений или выдти из университета. При сохранении их в силе, оставаться в нем с честью не было возможности. Но, признаюсь, я с некоторым омерзением смотрел даже на самый благоприятный исход этого дела. Я всю свою жизнь жил в порядочном обществе и не воображал, что мне придется когда-либо сидеть за одним столом с людьми способными на такие поступки. Я чувствовал себя униженным и оскорбленным не действиями Совета, а тем, что я принадлежу к коллегии, где возможны подобные явления. Продолжать заседать в этой среде было подвигом, требовавшим значительной доли самоотвержения. Но отступать в эту минуту не было возможности. Дело было не мое личное, а дело учреждения, которое было мне дорого и по воспоминаниям и по своему значению для русского просвещения. Надобно было дожидаться, что́ скажет начальство, от которого окончательно зависело решение.

Попечитель совершенно перешел на нашу сторону. Он увидел, что его кругом обошли. Все его маниловские планы насчет удовлетворения обоих сторон рушились. Лешков не только был утвержден профессором, но и вновь был выбран деканом. Большинство, находя всюду поддержку, закусило удила и считало себе все позволенным. В университете происходили неслыханные скандалы. Против членов Совета, выступающих в защиту закона, делались лживые и оскорбительные

постановления, с целью выжить их из университета. Мнения, писанные в подкрепление требований самого попечителя, возвращались с надписью. Этому надобно было положить предел. Но попечитель был тут не главным лицом; окончательно все зависело от министра. И вот, новый министр народного просвещения явился в Москву.

Выстрел Каракозова был сигналом для свержения совершенно неповинного в этом Головнина. Он считался главным виновником общей разнузданности молодежи и пал жертвою возбужденного против либералов общественного мнения. Никто об нем не жалел. Не имея ни ума, ни образования, ни умения распознавать людей и с ними обходиться, чиновник с головы до ног, хотя с либеральным направлением, он все свои усилия устремлял на снискание популярности, но именно ее не нашел. Министр он был никуда не годный. Последние университетские события показали всю его несостоятельность. Он всеми неправдами поддерживал именно тех, кого следовало удалить, как в видах общественной пользы, так и для собственных его выгод. „Московские Ведомости“ были его злейшим врагом, а он покровительствовал их клевретам и упрочивал их влияние в университете, прибегая при этом к самым непозволительным ухищрениям. Тупоумие этого человека обнаруживалось здесь вполне.

Теперь предстояло подтянуть слишком будто бы распущенные возжи. С этой целью призван был обер-прокурор святейшего Синода, граф Дмитрий Андреевич Толстой. Я не имел о нем понятия. Когда Соловьев, кончив преподавание великим князьям, вернулся в Москву я спросил у него: видел ли он нового министра и какое он на него произвел впечатление. „Как я на него взглянул,—отвечал он—так у меня руки опустились. Вы не можете себе представить, что́ это за гнусная фигура“.

Впечатление было не напрасное. Немного можно назвать людей, которые бы сделали столько зла России. Граф Толстой может в этом отношении стать на ряду с Чернышевским и Катковым. Он был создан для того, чтобы служить орудием реакции: человек не глупый, с твердым характером, но бюрократ до мозга костей, узкий и упорный, не видавший ничего,

кроме петербургских сфер, ненавидящий всякое независимое движение, всякое явление свободы, при этом лишенный всех нравственных побуждений, лживый, алчный, злой, мстительный, коварный, готовый на все для достижения личных целей, а вместе доводящий раболепство и угодничество до тех крайних пределов, которые обыкновенно нравятся царям, но во всех порядочных людях возбуждают омерзение.

Граф Толстой воспитывался сначала в Университетском пансионе, а затем в Царскосельском лицее. Рано он стал искать путей, чтобы пробить себе дорогу в высших сферах. Подлаживаясь к Уварову и графу Строганову, он вздумал блеснуть учено-литературным трудом. Еще очень молодым человеком он издал „Историю финансов в России". Мне рассказывали, что все выписки из актов делал товарищ его Джунковский, который, уехав на несколько лет за границу, оставил свои бумаги в его руках и по возвращении очень удивился, увидев свою работу изданною под именем графа Толстого [1]. Думаю, что это не сплетня, ибо, когда мне пришлось самому изучать этот предмет, я увидел тут такие невероятные ошибки, которые могут объясниться только пользованием чужим материалом. Вдобавок это подтверждается проделкой с другим его сочинением: „Историей католицизма в России"[2]. Этим вопросом занимался приятель его Дмитрий Петрович Хрущев, бывший товарищем министра государственных имуществ; он посвятил на это не мало труда, делая выписки из архивов. Толстой упросил Хрущева дать ему просмотреть эти выписки, обещая скоро их возвратить. И что же вышло? Работа приятеля послужила материалом для собственной книги, и Хрущев никогда не мог получить обратно своих тетрадей. Он поднял бурю, взывал к посредникам; все было напрасно. Я знаю эту историю от сына Д. П. Хрущова.

В николаевское царствование граф Толстой, естественно разыгрывал роль консерватора. Грановский со смехом рассказывал мне, что после посещения Поречья, куда Уваровым

---

1 „История финансовых учреждений в России со времени основания государства до кончины императрицы Екатерины II". (СПБ 1848.)

2 „Le Catholicisme Romain en Russie" (Paris, 1863—1864).

приглашен был и граф Толстой, тогда еще молодой человек, последний явился к нему и распространялся о том, что надобно в историю вносить консервативные начала. „Как это в историю вносить консервативные начала? — говорил Грановский, — если они есть, то их нечего вносить, а если их нет, то как же искажать историю?“ Ученому казались дикими взгляды молодого карьериста. Но и с переменой декорации, этот юный консерватор умел надевать и маску либерала. Одно время он подладился к Константину Николаевичу и приютился в его либеральном министерстве. Скоро, однако, он нашел, что благочестие выгоднее либерализма: он подольстился к обер-прокурору святейшего Синода Ахматову, который вывел его в люди и, по выходе в отставку, рекомендовал на свое место. Как далеко простиралась благочестивая начитанность графа Толстого — это обнаружилось в речи, произнесенной им несколько позднее, во время путешествия по России. На одном из многочисленных обедов, которые устраивались посланными вперед клевретами, но выдавались за самопроизвольное выражение общественного мнения, он сказал: „Французская пословица гласит: нет пророка в своем отечестве“. Слова Христа выдавались обер-прокурором святейшего Синода за французскую пословицу. Речь была напечатана, и над нею много потешались.

Обер-прокурор жил тогда в небольшом доме на Невском. Но у графа Толстого подрастала дочь; надобно было давать балы, а для этого квартира была тесна. Представился случай купить на Литейной большой дом Нарышкина. Обер-прокурор убеждал членов святейшего Синода сделать для него это приобретение, но те противились, ибо церковному ведомству новое помещение было вовсе не нужно. Наконец заключена была сделка. В Синоде заседал протоиерей Богословский, человек пользовавшийся общею любовью и уважением, но по своей независимости неприятный другим членам. Графу Толстому предложили удалить Богословского в Москву, и тогда покупка будет совершена. Это и было исполнено. Князь С. Н. Урусов прозвал этот дом „село скудельничье“, или „село крови“.

Подобные проделки не были новостью для обер-прокурора святейшего Синода. Женатый на дочери Дмитрия Гавриловича

Бибикова, он имел весьма хорошее состояние; но жадность его не знала пределов. При освобождении крестьян он хотел ограбить своих мужиков, присвоил себе земли, купленные ими в прежнее время на собственные деньги, но, как водилось при крепостном праве, на имя помещика. Кошелев, который был членом Рязанского губернского присутствия, говорил мне, что они остановили это вопиющее дело. Мировой посредник, помогавший Толстому во всех его грабительских предприятиях, Голубцов, впоследствии был сделан попечителем учебного округа.

Все это Толстому сходило с рук, ибо подлость его была непомерная. Однажды на выходе в Московском дворце, Александр Алексеевич Васильчиков, который сам был придворный и не чужд угодничества, подскочил к Соловьеву со словами: „Что за подлец ваш министр! Он публично поцеловал руку у государя". Но это было еще наименьшее из его прегрешений: граф Толстой унижался не только перед государем, но и перед его любовницами. В то время как петербургское общество, к его чести, чуждалось княжны Долгорукой, впоследствии княгини Юрьевской, граф Толстой не только приглашал ее на свои балы, но встречал ее внизу лестницы и под ручку вводил в зал. Мудрено ли, что он неудержимо лез вверх? И когда он в конце царствования Александра II, при страхе, внушенном заговорами нигилистов, отдан был на жертву всеобщей возбужденной им ненавести, он в новое цаствование, на беду отечества и как бы на зло всем честным людям, снова был поднят на высоту и сделался первым человеком в государстве.

Но об этом будет речь впереди. Теперь граф Толстой явился в Москву и старался обворожить всех своею любезностью. Он пригласил меня к себе, и я имел с ними длинный разговор наедине. Ничего путного он не высказал, не расспрашивал ни о чем, заметил только, что он не согласен с моим мнением насчет бумаги Захарьина, но никакого серьезного возражения не представил, а очень долго распространялся о том, что ему, министру, занимающему два таких важных места, некогда заниматься мелочами. Я уехал с впечатлением, что тут нет ни крепкого ума, ни нравственной основы, ни любви к просвещению, а есть только личные цели и темные

бюрократические пути. Затем он задал профессорам великолепный обед, на котором разносились двух-аршинные осетры, подчевал всех, рассыпался в разговорах и сам на моих глазах подавал стулья даже молодым людям. Но насчет нашего дела толку от него нельзя было добиться никакого. Положение его было действительно довольно затруднительно. Если бы пререкания шли только между нами и большинством Совета, он не колебался бы ни на минуту. Мы были люди известные и в литературе, и в обществе, и при дворе; некоторые из нас были преподавателями покойного наследника и нынешнего. Большинство же, с Баршевым во главе, не представляло ровно ничего такого, чем бы можно было дорожить; к тому же они были кругом неправы и позволили себе неслыханные скандалы. Но за большинством стояла редакция „Московских Ведомостей", газеты влиятельной и в обществе, и в правительстве, а это существенно изменяло дело. Какое бы решение ни принял министр, он неизбежно должен был возбудить против себя неприязнь одной из сторон. Поэтому он попробовал прибегнуть к хорошо известному ему приему: уклониться от всякой ответственности и свалить все дело на плечи подчиненного. Он уехал, не сказавши ни да, ни нет, и предоставил Левшину, самому расправиться с Советом.

После каникул пошла война между попечителем и Советом. Попечитель указывал Совету на неправильные его действия и предлагал отменить сделанные против меня постановления. Большинство, руководимое Леонтьевым, оправдывало свои действия и отказывалось принимать предложения попечителя. При этом предъявлялись совершенно неслыханные притязания. Неприсвоенное никакой коллегии право—возвращать членам их мнения с надписью—выводилось из принадлежащей будто бы Совету дисциплинарной власти над профессорами. Утверждали, что Совет имеет право не только делать своим членам замечания, но и удалять их от должности за всякие действия, которые большинство сочтет неправильными. Ни Дмитриев, ни я, мы не участвовали в этих прениях. После происшедшего скандала мы перестали ходить в Совет и дожидались окончательного решения. Но Капустин подавал особые мнения, которые подписывались и другими.

Наконец, попечитель решил покончить дело, объявив действия Совета неправильными и сделав ему замечание. Но прежде нежели послать эту бумагу, он хотел заручиться согласием министра. С этою целью он поехал в Петербург по случаю бракосочетания наследника. Вернувшись он мне самому рассказывал, что ему никак не удавалось поймать министра: все как-нибудь ускользнет. „Наконец,—говорил он,—мне удалось изловить его на обеде у Делянова. Я его припер к стене, прочел ему свою бумагу и получил его согласие. Дело, кажется может считаться улаженным".

Не тут-то было. Видя такой оборот, редакция „Московских Ведомостей" пустила в ход все свои батареи. Против Толстого была пущена язвительная статья, и ему дано было знать, что если дело не будет решено так, как они хотят, то он может ожидать непримиримой вражды „Московских Ведомостей". Толстой очень верно расчел, что поддержка влиятельной газеты ему, в сущности, гораздо нужнее, нежели удовлетворение нескольких профессоров, которые, хотя и пользовались литературном именем, но не имели ни малейшего веса в правительственных сферах. Справедливость, совесть, закон, польза университета, все это ни мало не входило в круг его забот. Ему нужно было держаться на месте, а для этого требовались две вещи: иметь опору при дворе, что обеспечивалось ему угодничеством и низкопоклонством, и заручиться поддержкой влиятельного органа так называемого общественного мнения. Последнее предлагал ему Катков с тем, чтобы он пожертвовал ему университетом. Сделка была заключена. Для совершения ее был послан в Москву товарищ министра народного просвещения Делянов.

Это был клеврет, вполне подходящий к своему патрону. Маленький, толстенький старичок, с совиною армянскою физиономиею и с мягкими, добродушными приемами, он умственно был полнейшее ничтожество, а нравственно совершеннейший подлец, холоп всякого, у кого были сила и власть. Сам он не имел никаких целей и видов, кроме желания держаться, и готов был на всякие пакости, чтоб угодить начальству. Будучи попечителем, он трусил перед студентами, когда они волновались; они заставляли его делать, что хотели, высказывая ему при

этом полное презрение. Как товарищ министра, он был чистым лакеем Толстого и употреблялся им на всякие грязные дела. Сделавшись впоследствии сам министром, он был таким же лакеем Каткова, который его посадил и держал его в руках. Капустин остроумно приложил к двум особам, которым в то время были вверены судьбы народного просвещения в России, имена действующих лиц в юмористической испанской трагедии Кузьмы Пруткова. Мы Толстого и Делянова иначе не называли как Дон-Мерзавец и Донна-Ослабелла.

Нам известен был день и час, когда заключена была сделка. У Каткова был обычный еженедельный приемный вечер; но ни он, ни Леонтьев не являлись к гостям. Наконец, в 12 часов ночи, отворился запертый на ключ кабинет Каткова, и оттуда вышли Делянов, Катков, Леонтьев, Баршев и Щуровский. Заседаний Совета не было втечении трех недель, чего никогда прежде не бывало. Ожидали чего-то важного.

Наконец, решающая бумага из Петербурга явилась. Это было утвержденное министром заключение его Совета. Помещаю здесь этот удивительный образчик министерской изобретательности. Бумага обращена была к попечителю.

„Представленные вашим превосходительством от 21 января за № 151 бумаги по делу о возникших в Совете Московского университета недоразумениях вследствие оставления заслуженного профессора Лешкова на службе при университете еще на пять лет, подвергнуты были рассмотрению в Совете министра народного просвещения, в заседании которого 27 января состоялись по этому делу следующие заключения:

„1. Недоразумения по означенному делу возникли в Совете Московского университета вследствие заявления со стороны исполняющего должность экстраординарного профессора Дмитриева, который признает распоряжение бывшего министра народного просвещения относительно профессора Лешкова несогласным с законом об избрании профессоров. По буквальному смыслу 78 ст. I тома Свода законов основных, профессор Дмитриев мог считать себя в праве войти с представлением в Совет университета, но он необходимо должен был принять в соображение, что решение министерства по делу о баллотировке профессора Лешкова и об оставлении его на

службе уже принято было Советом университета к сведению и надлежащему исполнению и что засим на основании точного смысла той же 78 ст. основных законов вполне зависело от усмотрения Совета дать или не дать протесту профессора Дмитриева законный ход.

„2. Ректор не допустил прочтения протеста профессора Дмитриева в присутствии заседания Совета. Большинство членов Совета не воспротивилось этому запретительному заявлению ректора и этим самым одобрило его распоряжение и решило оставить бумагу профессора Дмитриева без дальнейшего движения.

„3. Несмотря на столь ясно и положительно одобренное Советом распоряжение ректора, профессор Чичерин счел нужным, с своей стороны, внести в Совет университета особое заявление по поводу этого распоряжения. В этом заявлении он не входит в разбор соображений префессора Дмитриева, которые, как он сам говорит, могли быть совершенно неосновательны, но протестует против недопущения ректором рассмотрения протеста профессора Дмитриева, вменяя, так сказать, в вину одному ректору такое распоряжение, которое усвоено Советом. Сверх того, профессор Чичерин осуждает в этом заявлении и действие ректора, обвиняя его в превышении власти, в стеснении прав Совета, в попытках низвести его на степень слепого орудия и безмолвного исполнителя приказаний начальства.

„4. Совет университета, хотя и подвергнул, как объяснено в журнале 28 сентября 1866 года, заявление профессора Чичерина обстоятельному разбору, но в журнале 12 мая большинством 24 голосов против 5 постановил краткую резолюцию: „Бумагу, зачитанную профессором Чичериным, как явно несправедливую и оскорбительную для ректора и Совета, возвратить г. Чичерину с надписью на оной сей резолюции".

„Совет министра, сообразив все обстоятельства дела, считает нужным объяснить, что ректор, будучи только председателем коллегии, ни в одном из случаев, указанных профессором Чичериным, не мог действовать и не действовал единолично, по собственному произволу, но всегда совокупно с Советом и не иначе, как с его одобрения. Осуждение ректора за действия и распоряжения, которые он совершил в присутствии

членов Совета, при выражении значительным большинством, а иногда и единогласно, полного их к этим распоряжениям сочувствия, Совет министра находит совершенно несправедливым и неуместным, и вполне сознает, что подобным заявлением г. Чичерина Совет университета мог почитать себя оскорбленным. Но, с тем вместе, Совет министра считает полезным обратить внимание, что хотя Совет университета и не был обязан, по несуществованию в общем Уставе университетов 1863 года положительного правила, изложить в протоколе подробно и обстоятельно все причины и основания, по которым он признал мнение профессора Чичерина несправедливым и оскорбительным; но исполнив эту, в существе своем весьма важную, а в данном случае, при взаимных пререканиях, даже необходимую формальность, Совет университета поступил бы и осторожнее и более согласно с общепринятым порядком составления протоколов, так как протоколы должны быть кратким и обстоятельным повествованием не только того, что решено присутствием, но изложением причин, по которым то или другое решение состоялось. Такое краткое и обстоятельное означение соображений Совета поставило бы г. попечителя округа, которому протокол представляется для рассмотрения, в возможность вполне ознакомиться с основаниями, принятыми Советом при обсуждении мнения профессора Чичерина, и затем от него зависело бы или оставить дело без дальнейшего движения или же дать ему надлежащий ход.

„Что касается вопросов, разрешение которых г. попечитель Московского учебного округа признает необходимым, в видах предупреждения на будущее время недоразумений, подобных возникшим в Совете Московского университета, то Совет министра, принимая в уважение, что разрешение этих вопросов должно иметь применение и к другим университетам, полагал подвергнуть эти вопросы особому от настоящего дела рассмотрению, в связи с некоторыми другими, в разных университетах и в самом министерстве уже возникшими.

„Г. Министр народного просвещения, „соглашаясь вполне с вышеизложенным определением Совета министра, присовокупил, что настоящим определением он признает дело о возникших в Совете Московского университета пререканиях по

поводу избрания профессора Лешкова на пятилетие и о обвивинении г. ректора в противозаконных действиях совершенно оконченным".

„При этом г. министр выразил уверенность, что в недрах Совета не найдется ни одного члена, который не поставил бы процветание Московского университета выше каких бы то ни было личных воззрений, и что со стороны членов Совета будут употреблены все усилия для восстановления в среде университетского Совета того единомыслия и единодушия, которые необходимы для поддержания заслуженного и всеми признаваемого достоинства Московского университета".

Итак, поднятые мною вопросы были найдены столь существенными и важными, что они рассылались для обсуждения во все университеты, а мне, поднявшему эти вопросы, не только не давалось ни малейшего удовлетворения, но я подвергался осуждению на основаниях бессмысленных и даже ложных, ибо в виду у меня были только действия ректора; ни по одному из этих вопросов не было постановления Совета, и не было ни малейшей причины, почему бы он мог считать себя оскорбленным! Кто был нравственно безобразнее, ученая кооперация или министерство?

Попечитель сообщил мне копию с бумаги министра. Я немедленно повез ее Соловьеву, куда созвал и других товарищей, которые действовали с нами заодно. После прочтения бумаги, Соловьев немедленно сказал, что нам не остается ничего более, как выдти в отставку. Присутствовавшие тут Бабст, Капустин, Рачинский, Дмитриев и я, — единогласно выразили то же мнение. Действительно, после того как бумага была заявлена Совету, мы все шестеро порознь подали прошение об отставке.

После сцен, которых я был свидетелем, для меня это был желанный исход. Но для других, в особенности для Соловьева, это был подвиг. Соловьев был человек с весьма небольшими средствами, обремененный семейством. Он и материально, и нравственно был связан с университетом, которому он отдал всю свою жизнь. К тому же он к делу вовсе был непричастен; из Петербурга он вернулся, когда в Совете все было кончено При всем том, он не считал для себя возмножным оставаться в университете при таком вопиющем нарушении всякого закона

и всякой справедливости. Этот благородный человек ни единой минуты не поколебался пожертвовать всем для долга чести и совести. Столь же мало колебались и другие.

Подавши в отставку, мы сочли нужным написать министру письмо с изложением причин, заставивших нас сделать этот шаг. Копию с этого письма мы распространили в Москве и в Петербурге. Оно было следующее:

„Милостивый государь, граф Дмитрий Андреевич. Решение вашего сиятельства по делу о возникших в Московском университете пререканиях вынудило нас подать в отставку. Считаем долгом объяснить вам в частном письме, почему мы не можем долее оставаться в университете.

„В одобренном вашим сиятельством заключении Совета министра признается, что „профессор Дмитриев имел право на основании 78-й ст. Свода законов основных войти с представлением в Совет университета о неправильности утверждения профессора Лешкова бывшим министром народного просвещения". Но профессор Дмитриев осуждается за то, что он хотел сделать свое представление после того, как решение министра было уже принято Советом к сведению и надлежащему исполнению. Между тем, это осуждение основано единственно на неверном представлении фактов. Каждый член каждого коллегиального учреждения имеет неотъемлемое право при решении всякого рода дел высказывать свое мнение и, если большинство голосов оказывается против него, представить свое мнение письменно. Бумага эта заслушивается и затем, если другие члены остаются при своих мнениях, заносится в протокол. Соблюдение этого, установленного законом и признанного всеми, порядка — вот единственное, чего мы домогались с самаго начала и в чем нам постоянно отказывалось. Профессор Дмитриев поступил совершенно сообразно с этими правилами. Он хотел высказать свое мнение не после принятия бумаги министра к исполнению, а при самом ее чтении в заседании Совета; но ему тут же было предложено представить свое мнение письменно. Он на это изъявил согласие. Но когда он в следующее заседание хотел прочесть свою бумагу, чтение это было сначала отложено, а потом и совершенно устранено решением ректора. При этом высказано было

не основанное ни на каком законе требование, чтобы письменные мнения членов представлялись ректору на предварительный просмотр, чего никогда не водилось в университете. Ни ректор для самого себя, ни Совет для своего председателя не имеют права собственной властью установлять новые права. Получив отказ, профессор Дмитриев объявил, что изложит свое мнение словесно; но и это не было допущено ректором. В этих действиях ректора мы не могли не видеть вопиющего нарушения свободы мнений в Совете. Если бы это было даже решение целого Совета против одного члена, то оно все-таки было бы беззаконием. Никакая коллегия не имеет права заглушать голос своих членов и устранять их мнения. Она может с ними не соглашаться, но она должна их выслушивать. Профессор Дмитриев в этом случае не только действовал в пределах своего права, но исполнял возложенную на него законом обязанность. Всякий член коллегии обязан указывать на то, что он считает законным, и представлять о том, что он считает незаконным. Этим ограждается и собственная его ответственность. Между тем, решением вашего сиятельства осуждается член Совета именно за исполнение своей обязанности и оправдывается очевидное нарушение общих правил относительно подачи голосов. Этим уничтожается свобода мнений в Совете, и мы лишаемся возможности действовать на почве права и исполнять свои законные обязанности.

„В утвержденном вашим сиятельством заключении Совета министра сказано далее, что распоряжение ректора было одобрено Советом тем, что большинство против этого не протестовало, а профессор Чичерин осуждается за то, что он, с своей стороны, представил протест и при этом поставил в вину одному ректору то, что было усвоено Советом. Но в русских законах существует один только способ решения дел в коллегии: подача голосов, которая заносится в протокол. Решение дел посредством молчания — совершенно новый способ, который не мог быть известен профессору Чичерину, так как он в законах не значится. Протестующий имел перед собою одно только юридически существующее решение ректора, а потому имел право представить только о неправильности этого решения. Далее, в том же заключении Совета

министра сказано, что „ректор, будучи председателем коллегии, ни в одном из случаев, указанных профессором Чичериным, не мог действовать и не действовал единолично, по собственному произволу, но всегда совокупно с Советом и не иначе, как с его одобрения. Осуждение ректора за действия и распоряжения, которые он совершил в присутствии членов Совета, при выражении значительным большинством голосов, а иногда единогласно полного к этим распоряжениям сочувствия, Совет министра находит совершенно несправедливым и неуместным и вполне сознает, что подобным заявлением г. Чичерина Совет университета мог почитать себя оскорбленным“. Такое изложение дела опять противоречит тому, что действительно было и что значится в протоколах. Ни по одному из пунктов, указанных профессором Чичериным, не было решения Совета ни единогласного, ни значительным большинством голосов. Следовательно, на этом основании Совет не мог считать себя оскорбленным. Но даже, если бы действия ректора были одобрены Советом, то профессор Чичерин, считая их незаконными, имел не только право, но и обязанность сделать о них представление. Каково бы ни было большинство Совета, оно не имеет права нарушать закон и стеснять свободу мнений даже самого незначительного меньшинства. Всякий член, когда он считает те или другие действия председателя или самой коллегии противными закону, обязан об этом представить, и никто не в праве оскорбляться таким исполнением законной обязанности. Вопросы о правах ректора, возбужденные профессором Чичериным, были сочтены даже вашим сиятельством до такой степени сомнительными и важными, что они рассылаются для обсуждения по всем университетам; а, между тем, профессор Чичерин осуждается за возбуждение этих самых вопросов. Его мнение объявляется несправедливым и неуместным. Подобным осуждением, основанным притом на мотивах, несогласных с фактами, члены Совета опять лишаются возможности исполнять свои законные обязанности.

„Сочтя себя оскорбленным бумагою профессора Чичерина, Совет университета определил возвратить ему его мнение с надписью. Присутственные места поступают таким образом

с посторонними просителями, когда находят их просьбы неуместными и неприличными; но никакой закон Русской империи не дает подобного права никакой коллегии относительно собственных членов. Г. попечитель Московского учебного округа объявил это определение незаконным и назвал подобное действие самоуправством. Решение вашего сиятельства узаконяет это новое право. Совет осуждается лишь за то, что он не изложил подробно мотивов своего решения, хотя и это изложение ваше сиятельство считаете, в сущности, необязательным для Совета. Этим узаконением неведомого дотоле права опять уничтожается свобода мнений в Совете. Имея в руках такое оружие, большинство коллегии всегда может не только устранить неприятные ему суждения, но и в этой форме подвергнуть наказанию члена, который осмеливается поднять голос против происходящих в Совете злоупотреблений. Совет московского университета, раз решившись на такую меру, пошел далее по этому пути. Профессору Чичерину возвращена была и другая бумага, в которой он, соглашаясь с предложением г. попечителя, считал неправильным удержание ректором мнения профессора Захарьина по поводу избрания доцента Зайковского. Это мнение было принято в Совете, но не представлено начальству, как требует Устав. Совет, с одной стороны, признал требование г. попечителя законным, ибо решил впредь посылать ему все отдельные мнения членов, с другой стороны признал правильным и удержание г. ректором мнения профессора Захарьина. Но профессор Чичерин, пользуясь законным своим правом, объявил, что не может с этим согласиться и подаст об этом особое мнение. И эта бумага была возвращена ему, как оскорбительная для ректора и Совета.

„Наконец, вашему сиятельству не угодно было обратить внимание на дальнейший ход дела. Мнение профессора Чичерина было в самом заседании Совета названо доносом, о чем он просил занести в протокол. Профессор Никольский произнес речь, которую потом изложил письменно, с дополнениями. Эта бумага была такого свойства, что самое большинство не сочло возможным допустить прочтение ее в Совете; она была без огласки приложена к протоколу. В самом Совете произошла

неслыханная и невообразимая сцена, о которой и вспомнить совестно. После этого профессор Чичерин, которому предстояло подать новую бумагу о неправильном удержании мнения профессора Захарьина, не решился прочесть ее сам в Совете, но послал ее к ректору с запискою, в которой объяснял, что делает это для того, чтобы не подать повода к новым оскорбительным выходкам. Эта записка была внесена г. ректором в Совет с тем, чтобы иметь повод сделать определения, которые бы заставили выдти из университета члена, осмелившегося поднять голос против действий ректора. Предлогом послужило выражение „оскорбительные выходки", употребленное профессором Чичериным в записке к ректору. Совет определил и внес в протокол, что профессор Чичерин употребил неприличное и непозволительное выражение. Затем большинство Совета решилось официально сделать заведомо ложное постановление, определивши, что в Совете не происходило ничего, что-бы уполномочило профессора Чичерина употребить подобное выражение. Очевидно, профессору Чичерину оставалось или выдти немедленно из университета или представить все обстоятельства дела на суд начальства. Гражданский долг требовал не оставлять этого дела без попытки добиться восстановления правды и закона. И его просьба, и протоколы Совета, которые служат здесь документом, находятся в руках вашего сиятельства. Весь ход событий вам вполне известен. Между тем, вы не сочли нужным дать по этим обстоятельствам какое бы то ни было решение и объявили все дело поконченным. На это мы не можем смотреть иначе, как на отказ в правосудии. После этого, никакой член Московского университета, как бы ни нарушались его права, каким бы он ни подвергался оскорблениям, не может надеяться найти защиту и законное удовлетворение от начальства. Большинство может все себе позволить и на него нет ни суда, ни расправы. Безнаказанность и в этом случае принесла уже свои плоды: в Совете, после того, происходили новые выходки, которые повели к форменному протесту десяти членов против нарушения приличия, протесту, разумеется, столь же бесполезному, как и все предыдущие. Для личности членов в Совете нет никакой гарантии.

„Таким образом, в Совете Московского университета произошел целый ряд незаконных действий, поводом к которым послужило незаконное решение бывшего г. министра народного просвещения. Действия эти имели целью устранить голос меньшинства и уничтожить свободу мнений в Совете. Когда меньшинство решилось протестовать, протест его хотели заглушить скандалом. Когда же оно обратилось к начальству, то нашло сперва заступника в лице г. попечителя Московского учебного округа, но Совет упорно отказывался принимать предложение г. попечителя, и дело дошло, наконец, до вашего сиятельства. Теперь же, вместо того, чтобы получить защиту и законное удовлетворение, меньшинство Совета осуждается за то, что исполнило свои законные обязанности. При таком порядке вещей для нас нет возможности оставаться долее в университете. Действовать в каком бы то ни было учреждении с сохранением своего нравственного достоинства можно только при двояком условии: чтобы соблюдались закон и приличие. Тогда все разногласия становятся безвредными. Но когда то и другое нарушается явно и безнаказанно, когда подчиненные не находят защиты против злоупотреблений, тогда им остается один исход: удалиться. Не личные воззрения, а долг и совесть требуют, чтобы мы оставили учреждение, с которым мы связаны воспоминаниями своей молодости и которому мы посвятили лучшие годы своей жизни. Ваше сиятельство делаете воззвание к единомыслию, которое должно господствовать в увиверситете; но желательно только единомыслие во имя нравственных начал. Оно одно в состоянии поднять достоинство университета и принадлежащих к нему профессоров“.

Это письмо было писано мною и подписано всеми подавшими в отставку профессорами, за исключением Дмитриева, который в это время получил по болезни заграничный отпуск, и, подавши прошение об увольнении, уехал сперва в Петербург, где он следил за ходом дела, а потом в чужие края.

Вместе с нами просил увольнения и попечитель. С ним была сыграна еще более удивительная штука. Очевидно, бумагою министра авторитет его подрывался в самом корне, и он выдавался всецело своим подчиненным. Рьяный защитник

начала власти, граф Толстой не колебался топтать ее в грязь, когда это требовалось личными его интересами. Но этим дело не ограничилось. После прочтения бумаги в Совете, Леонтьев стал рассказывать, что это еще не все: попечитель должен получить выговор за сделанное им Совету замечание. Встретив Левшина, я спросил его: правда ли это. Он отвечал, что никакой другой бумаги не получал. Но несколько дней спустя я встретил его вновь. „Представьте,—воскликнул он,—ведь я выговор получил. Леонтьев знал это заранее“.

Бумага министра к попечителю была следующего содержания:

„Конфиденциально.

„Милостивый государь Дмитрий Сергеевич, по поводу сделанного вашему превосходительству Советом Московского университета представления на предложение по делу профессора Чичерина, вы, милостивый государь, признали нужным объявить Совету университета замечание.

„Нисколько не желая ограничивать власть попечителя в тех чрезвычайных случаях, в которых попечитель, на основании 26-й ст. университетского Устава, уполномочен действовать всеми способами, хотя бы они и превышали его власть, я считаю однако необходимым покорнейше просить Вас, милостивый государь, на будущее время в случаях, подобных настоящему, сообщать мне предварительно о ваших предположениях. К сему я побуждаюсь тем соображением, что при скорости почтовых сообщений между столицами от некоторого, впрочем, весьма непродолжительного промедления едва ли могут произойти весьма существенные неудобства и упущения времени в тех случаях, когда событие не принадлежит к числу тех, для предупреждения или для прекращения которых необходимо принять неотлагательно чрезвычайные меры. Примите и пр. Гр. Д. Толстой“.

Таким образом, попечитель получил замечание за бумагу, которая была одобрена самим министром. Впоследствии, князь Владимир Андреевич Долгорукий рассказывал мне, что он спрашивал у графа Толстого: правду ли говорит Левшин, будто он читал ему ту бумагу, за которую он получил замечание. „Может быть,—отвечал Толстой,—я пропустил ее мимо ушей“.

Очевидно, Левшину невозможно было далее оставаться на своем месте. Он просил меня, по его указаниям, написать ему два письма, одно к графу Толстому в ответ на бумагу, другое к военному министру с просьбою о переводе в Комитет раненых. Вот эти два документа, которые и были посланы по принадлежности.

„Милостивый государь, граф Дмитрий Андреевич. На письмо вашего сиятельства от 2 февраля 1867 года за № 26, честь имею объяснить следующее:

„Замечание, которое я поставлен был в необходимость сделать Совету Московского университета, было вызвано вовсе не представлением Совета на мое предложение по делу профессора Чичерина, а нарушением в Совете законного порядка и превышением данной ему власти. Это и было выражено мною следующими словами: „что попрежнему я остаюсь при убеждении, что Совет в отношении к одному из своих членов действовал неправильно и в решении своем по его делу вышел из границ предоставленной ему власти, и что вследствие этого я не считаю себя в праве оставить без внимания какое-либо отступление от порядка в подведомственных мне учреждениях, и к крайнему моему неудовольствию, вижу себя вынужденным сделать по указанному обстоятельству замечание университетскому Совету“.

„Указавши на истинную причину, послужившую поводом к сделанному мною замечанию, я должен предположить, что вашему сиятельству были неправильно доложены бумаги.

„Далее, в письме своем вы изволите говорить, что не желаете стеснять власти попечителей в тех чрезвычайных случаях, когда они, на основании 26-й ст. университетского Устава, уполномочиваются действовать всеми способами, даже превышая свою власть; но что в случаях, подобных настоящему, я должен предварительно сноситься с вашим сиятельством. Из этих слов я усматриваю, что в настоящем случае вы считаете мою власть превышенною. На это считаю долгом объяснить, вашему сиятельству, что на этот раз я не имел даже нужды прибегать к присвоенному мне упомянутой 26-й статьею праву действовать с превышением власти,

а поступил на основании той же 26-й ст., которая вменяет попечителю в обязанность принимать все нужные, по его усмотрению, меры, чтобы принадлежащие к университету места и лица исполняли свои обязанности. Замечание, сделанное за отступление от законного порядка, есть самая легкая степень взыскания, которое может быть наложено начальником на подчиненных. Ст. 216-я II тома Свода законов, где излагаются различные виды дисциплинарных взысканий, присваивает право делать замечания прямо непосредственному начальнику. Без этого власть попечителя обращается в ничто, и он лишается возможности наблюдать за порядком в подведомственных ему заведениях, как требует от него закон. На основании 3 п. 262 ст. того же II тома Свода законов, я имею право сделать Совету даже выговор. А так как эти права присвоены мне законом, и, ваше сиятельство, вероятно, не желаете стеснять власти попечителей и в обыкновенном ходе дел, то я опять должен предположить, что все дело было предоставлено вам в превратном виде.

„Письмо вашего сиятельства, вместе с присланным вами решением по поводу возникших в университете недоразумений, тем более меня удивили, что в течениие всего дела, в неоднократных разговорах, ваше сиятельство изъясняли мне свое желание, чтобы я покончил эту историю сам, в силу предоставленной мне власти, давши законное удовлетворение, кому следует. Считаю долгом напомнить вашему сиятельству, что, в недавнюю бытность мою в Петербурге, предложения мои Совету были читаны вам и получили полное ваше одобрение. Замечание же, сделанное мною Совету, было ничто иное, как последствие тех самых предложений, которые Совет отказывался принять к исполнению. Достоинство вверенной мне власти не позволяло мне останавливаться на этом. Как начальник, я должен был настаивать на своем решении и имел, несомненно, право надеяться, что получу от вашего сиятельства полнейшую поддержку. Имея в виду и достоинство власти попечителя, и требование законного порядка, и наконец пользу вверенного мне учреждения, я не могу не считать этого нового, совершенно неожиданного для меня поворота дел в высшей степени прискорбным.

„В заключение, не могу не выразить сожаления о том, что содержание конфиденциальных писем вашего сиятельства становится известным в Москве, прежде нежели я их получаю".

Письмо к военному министру[1] было следующее:

„Милостивый государь, Дмитрий Алексеевич! Обращаюсь к вашему высокопревосходительству с покорнейшею просьбою, как к ближайшему начальнику по военному ведомству, к которому я имею честь принадлежать.

„В прошлое лето расстроенное мое здоровье заставило меня думать об оставлении настоящей моей должности и о приискании более спокойного места для окончания моего служебного поприща. Я тогда же хотел обратиться с этим к вашему высокопревосходительству. Но неожиданно возвратившиеся силы побудили меня отложить это намерение. Я не хотел, без крайней нужды, оставить место, на которое я был призван не по собственному моему желанию, а волею государя императора. Сорокасемилетняя моя служба может свидетельствовать о том, что я никогда не отказывался исполнять возлагаемые на меня обязанности. Но ныне нравственные причины первостепенной важности заставляют меня выдти из Министерства народного просвещения. Позвольте мне объяснить вам вкратце, в чем состоит дело.

„Еще весною прошедшего года в Совете Московского университета произошли между членами и ректором взаимные пререкания, которые сопровождались отступлением от законного хода дел и даже некоторыми беспорядками. Профессор Чичерин, который входил в Совет с представлением о том, что он считает незаконными действия ректора, обратился ко мне с просьбой рассудить дело. Его поддерживали некоторые из достойнейших профессоров университета. Я нашел, что ректор и Совет в данном случае поступили неправильно, и решился дать законное удовлетворение обиженному, основываясь в своих действиях на университетском уставе, который уполномочивает попечителя принимать все нужные по его усмотрению меры, чтобы подведомственные ему места и лица исполняли свои обязанности. В это время г. министр народного просвещения приехал в Москву. Я неоднократно с ним беседовал об этом деле; главные документы были ему известны;

[1] Милютин Дмитрий Алексеевич.

он сам говорил с обеими сторонами. Познакомившись с делом, г. министр выразил мне желание, чтобы я, во всяком случае, покончил его собственною властью, и именно в том смысле, в каком я предполагал. При этом он прибавил, что следует дорожить людьми, которые составляют цвет университета. Уверенный в поддержке начальника, я в сентябре месяце прошедшего года послал в Совет предложение, в котором изъяснял, что считаю действия его относительно профессора Чичерина неправильными. Совет отвечал мне отказом принять мое предложение к исполнению. Это побудило меня написать более настойчивую бумагу, и на этот раз я мог надеяться, что все дело будет покончено. Я сам в эту пору, по случаю бракосочетания государя наследника, ездил в Петербург, читал министру и свои бумаги и ответ Совета и получил от него полное одобрение моих действий. В то же время в Петербурге находился и ректор Московского университета. Я сказал министру, что одного его слова ректору будет достаточно, чтобы прекратить неуместные пререкания между подчиненными и начальником, и г. министр обещал, что это слово будет сказано. По возвращении ректора из Петербурга, Совет отвечал мне новым отказом. Достоинство вверенной мне власти не позволяло мне останавливаться на этом. Я сделал Совету замечание о неправильности его действий, сказал, что считаю неуместным вступать с ним в полемику и объявил все дело поконченным. Немедленно я донес об этом министру, причем препроводил и самое дело. Каково же было мое удивление, когда г. министр, с своей стороны, объявил новое решение, совершенно противоположное моему, им самим прежде одобренному, решение, вследствие которого шесть из лучших профессоров Московского университета немедленно подали в отставку. Самое замечание, сделанное мною Совету за отступление от законного порядка, было сочтено г. министром народного просвещения превышением власти! Что же такое после этого власть попечителя и какими способами может он исполнять возложенные на него законом обязанности? И если бы это решение было вызвано новыми, дотоле упущенными из виду обстоятельствами, оно было бы еще понятно, но ничего

подобного нет. Тут очевидно действовали посторонние влияния и интриги, о которых я не хочу распространяться.

„Из всего этого, ваше высокопревосходительство, можете усмотреть, что я просто был обманут и предан своим непосредственным начальником. Не могу скрыть от вас, что я глубоко оскорблен таким способом действия, подобного которому я не видел в течение своей многолетней жизни. Я думал, что моя почти пятидесятилетняя честная и усердная служба государю и отечеству дает мне право на большее уважение. Но еще больнее мне не за себя, а за участь вверенного мне учреждения, которое расстраивается удалением лучших его сил, и в котором водворяется торжество интриги и беззакония, как пример для воспитывающихся в нем молодых людей!

„Собственное мое нравственное достоинство и унижение в моем лице попечительской власти не позволяют мне оставаться при должности, на которую я был призван доверием государя. Усердно прошу вас довести до сведения его величества об истинных причинах, почему я должен просить увольнения. Извините, что я решаюсь вас этим утруждать. Знаю, что это дело щекотливое. Но вы—мой ближайший начальник, и других путей у меня нет. Зная вас, я надеюсь что вы не откажете честному человеку, поседевшему на службе, который дорожит доверием своего государя и не желает, чтобы конец его жизни был омрачен представлением его действий в превратном виде.

„В заключение, позвольте мне присоединить к этому еще одну просьбу. Я имел честь изъяснить вашему высокопревосходительству, что желаю кончить свое поприще на покойном месте. Если моя долголетняя служба и тяжелая рана, полученная в Турецкую кампанию, дают мне на это некоторое право, то я просил бы о назначении меня в Комитет раненых".

Последняя просьба была исполнена несколько времени спустя.

Между тем, наша отставка произвела шум. В жизни университета это было событие. Студенты волновались. Мы получали письма и адресы, покрытые многочисленными подписями, с заявлениями сочувствия и с просьбою не оставлять университета. Пошли толки и в обществе, как в Москве, так и в Петербурге. Но в высших сферах дело принимало неблагоприятный для нас оборот. Нас выдал единственный человек, который

мог нас поддержать и спасти любимый им университет от разгромления — граф Сергей Григорьевич Строганов.

Душою преданный общественному делу, граф Строганов никогда не входил в положение лиц. Едва ли в течение всей своей жизни он двинул пальцем, чтобы кому либо оказать помощь или защиту. Для него люди были пешки, призванные служить общей пользе. К этому присоединялись податливость на лесть, непомерное самолюбие и упорство. Ловкому человеку не трудно было, подольстившись, опутать старика, и граф Толстой сделал это с обычною своею вкрадчивостью и бессовестностью, представив дело в совершенно превратном виде. Я уже прежде посылал графу Строганову внесенные мною в Совет бумаги и получил от него одобрение. Теперь я послал ему изложение всех обстоятельств, резко выражаясь насчет министерских действий. Соловьев писал ему с своей стороны. Но он был уже задобрен министром, а входить в разбор юридических тонкостей он был не в состоянии. Все это казалось ему ничтожными пререканиями, которыми надобно жертвовать для пользы университета. Я получил от него письмо, в котором он писал, что, рассылая поднятые мною вопросы для обсуждения по всем университетам, министр тем самым оправдывал нас в принципе, и что этим удовлетворением мы могли бы довольствоваться, так как в интересах университета надобно было отложить в сторону всякие личности. „En quittant la professure (sic),—прибавлял он,—vous et vos collègues, vous portez un coup mortel à la civilisation de la patrie commune, vous sacrifiez toute une génération d'étudiants et assumez une immense responsabilité morale; devant une situation pareille le doute n'est pas possible; si je vous demande une preuve nouvelle de vertu civique, c'est parce que j'ai foi dans l'avenir et dans vos talents pour accomplir la grande oeuvre de régénération qui nous tient à coeur à tous“ [1].

---

[1] „Покидая профессуру (sic!), Вы и Ваши товарищи наносите смертельный удар цивилизации нашей общей родины, Вы приносите в жертву целое поколение студентов и принимаете на себя громадную моральную ответственность; перед такой перспективой — нет места сомнению; если я требую от Вас нового доказательства гражданской доблести, то это потому, что я верю в будущее и в Ваши таланты, для выполнения великого и дорогого для нас всех дела возрождения“.

Меня это письмо возмутило. Если он действительно так дорожил приносимою нами пользою, то надобно было нас оградить от оскорблений и сделать пребывание в университете возможным для порядочных людей. Одного слова графа Строганова было достаточно, чтобы правое дело было решено, как следует. Но вместо того, чтобы сказать это слово, он выдавал нас связанными по рукам и по ногам шайке негодяев, властвовавших в университете, и гнусному министру, который из личных видов оказывал им покровительство, и после этого он требовал от нас, чтобы мы пожертвовали и честью и нравственным достоинством для общественной пользы. Удар русскому просвещению, по его словам, наносили мы, уходя от невозможного положения, а не министр, который нас к этому принуждал. От нас требовалась добродетель, а от министра ничего. В этом смысле я написал ему ответ, прибавляя, что не иначе, как с сердечной болью приходится с ним расставаться, но другого исхода нет, после того как он вслед за министром отказывает нам в защите. Но когда я набросок этого письма прочел Соловьеву, он сказал мне: „Бросьте это! Старика совсем опутали; надобно ему простить за прежние его заслуги". Я разорвал письмо; но прежние сердечные отношения никогда не возобновлялись. Он считал меня беспокойным человеком, с которым ничего не поделаешь, а я увидел, что он под старость замкнулся для всех человеческих отношений и остался открытым только для потаенных путей. На графе Сергее Григорьевиче Строганове в значительной степени лежит вина в печальном исходе всей этой истории и в последовавшем затем падении Московского университета.

Дмитриев, остановившись в Петербурге, описывал мне подробно все тамошние толки и различные обороты нашего дела. Он был близок и ко двору Елены Павловны и к графу Строганову, по товарищеским отношениям к сыну, и к Исакову, и к Абазе, а потому хорошо был осведомлен обо всем, что говорилось и делалось. От 12 февраля он писал:

„Толков много самых разнородных. Наша отставка производит сильное впечатление. Это едва ли не единственный предмет разговоров. Все говорят, что Московский университет распадается, и в высших сферах об этом скорбят. Граф Толстой

встревожен и не скрывает своего затруднения, но уверяет, что не мог поступить иначе. Он, кажется, поступил довольно ловко с своею бумагою, т. е. заручился заранее одобрением многих лиц. Едва ли даже она не была заранее читана государю. Несомненно, что он или говорил о ней наперед графу Строганову, или читал вчерне; но должно быть не всю, ибо мне показалось, что старик видел в ней вежливый выговор большинству. Строганов в большом недоумении. Твое письмо произвело на него сначала впечатление одного личного раздражения, и он отнесся к нему неблагосклонно. Потом я видел его с глаза на глаз и старался объяснить ему наше положение. Он понял лучше, но, думаю, что ему надо писать еще и хладнокровнее. Ты не поскупился на выражения.

„В публике толки разные. Многие, очень многие нас обвиняют, особенно потому, что дело известно только в общих чертах. Многие воображают, что мы требовали смены профессора, неправильно утвержденного Головниным, и сердимся на непослушание министра. Как Толстой рассказывает дело, можешь заключить из того, что он неоднократно беседовал о нем с Мухановым, который все-таки ничего верного не знал.— Мне все толкуют, что мы забываем интерес университета. Я отвечаю, что положение между деспотическим большинством и выдающим министром невозможное, и что честному меньшинству остается только выдти, когда закон перестает его ограждать.

„Нет сомнения, что нашей отставке будут стараться дать вид демонстрации. Этот характер, во что бы то ни стало, надо с нее снять. Коллективное письмо министру — мысль хорошая, особенно если его распространять в копиях. Но письма к государю не одобряю [1]. Это примется за жалобу и заставит сильнее клеветать на нас. Впрочем, если вы пошлете такое письмо, то располагай моей подписью, ибо в этом деле нельзя отделяться.

„Толстой, кажется, ищет выхода. Глупый армянин Делянов уже говорил об этом с Победоносцевым и со мною; а Толстой, кажется, поручил Исакову разведать от меня. Я советовал послать путного и независимого человека разведать дело и

[1] Это предположение было нами оставлено. Прим. Б. Н. Чичерина.

решить его или ждать письма к министру (это я сказал конфиденциально). Исаков поразил меня и привлек своим огорчением. Он истинно привязан к университету. Думаю, что он может быть нам полезен. С ним будут очень советоваться.

„Все это я говорю потому только, что люблю университет, и сердце как то сжимается при разлуке с ним. Не хотелось бы предавать его в такие руки. Но сам за себя чувствую совсем другое. Не могу представить, как я ворочусь в среду дорогих товарищей. Так они мне омерзели, что, кажется, не буду смотреть на них равнодушно. Этот год, тяжелый для меня и в других отношениях, совсем испортил мои нервы... Ты не поверишь, в каком я грустном настроении духа. Даже путешествие нисколько меня не утешает. Мне и своего горя было вдоволь, а тут еще эта университетская история, которая и сердит меня и огорчает. В одном мы точно виноваты. Надо было знать заранее, что нас выдадут. На святой Руси нет союза прочнее личных интересов. Заметил ли ты нахлобучку Толстому от „Московских Ведомостей“, пока он медлил с отсылкой бумаги — статью о духовных училищах с похвалой Головнину и вчерашний их гимн справедливости и чувству законности нынешнего управления? Вот на чем держится Министерство народного просвещения!“

От 19 февраля Дмитриев писал:

„Ты, верно, уже знаешь, что министр народного просвещения точно так же понимает слова навыворот, как и ректор Московского университета. Это общая болезнь всего ведомства. Выражение: в частном письме навело Толстого на мысль внести ваше коллективное письмо в Совет министра. О логика тупоумия, усиленного бесстыдством! Разумеется, Совет министра остался неравнодушным к собственному осуждению. Он объявил, что за такое письмо стоит уволить без прошения. Толстой об этом рассказывал, чтоб удивлялись его великодушию.

„Придать нашей отставке вид демонстрации не совсем, однако, удается. Императрица, говорят, сказала Толстому: „Ce sont pourtant des hommes de gouvernement. Ils ont soutenu l'autorité à l'époque des troubles de l'université“ [1]. Граф Строганов,

[1] „Это, однако, люди государственного ума. Они поддерживали власть во время университетских беспорядков“.

уговаривая меня, в обществе держит нашу сторону (?) и говорит, что нельзя выпускать таких людей. Исаков также стоит за нас усердно. Его письмо к Соловьеву я читал и сказал ему, что успеха не будет. Чего же ты хотел, кроме общих мотивов? Честные все против того, чтобы остаться в университете. Это письмо делает честь Исакову. У него к университету теплое чувство. В обществе толки самые разные. Я заметил, что особенно огорчаются отцы и матери. Одна дама, княгиня Гагарина, урожденная Дашкова, сказала на бале у графини Протасовой очень милую вещь: „Je suis toujours pour les minorités, parce que l'intelligence n'est jamais en majorité“ [1]. В бюрократии наша отставка понимается плохо. Академия — старая — нас бранит.

„У великой княгини почти не было отношений к Толстому. Она видит его редко. Но она резко высказалась в нашу пользу и, может быть, это его смущает. С ним прямо она, кажется, не говорила.

„Существует проект, приписываемый Толстому и, кажется, одобренный графом Строгановым, перевести всех нас в Петербургский университет. Толстой говорит, что надеется на вступление многих в другие университеты и радуется, что у него и там будут хорошие профессора. Отвечать на письмо он хочет по пунктам. Уведомь о его ответе.

„Еще здешний слух. Говорят, на кафедру русской истории Толстой хочет пригласить Погодина. А редакция „Московских Ведомостей“ телеграфировала В. П. Безобразову, не хочет ли он на кафедру политической экономии. Кажется он принимает.

„Теперешняя версия нашей истории бьет уже не на демонстрацию, а на раздражительность ученых. Примирительная наружность Толстого и его благочестивая репутация дают вероятность его уверениям, что он действовал в видах соглашения. Но двух результатов мы положительно достигли: 1) многие заметили верноподданические чувства Толстого к Каткову; 2) репутация глупости Баршева сильно распространилась. Этого не отвергает даже недогадливый армянин Делянов. Сей

---

[1] „Я всегда стою за меньшинство потому, что ум никогда не имеет большинства“.

последний, с чужого голоса, все взывает к нашему патриотизму. Это, вообще, точка зрения, в которой нас осуждают. От нас требуют самоотвержения во имя высших начал. Любопытно, что никто не взывает к патриотизму министра. Видно, там он необязателен.

„Знаешь-ли, кто нам сильно повредил?—Щуровский. Он был здесь передо мною и прикидывался нейтральным. Едва ли он помог опутать графа Строганова.

„Вашим письмом я не совсем доволен. C'est trop diffus, célà a trop l'air d'une récrimination [1]. Лучше бы посжатее, а конец сильнее. Но оно хорошо как краткая история.

„А история все-таки кончится против нас".

Последнее письмо Дмитриева было от 6 марта, накануне его отъезда за границу.

— „Самое главное, что я могу тебе сообщить, следующее: Толстой усердно рассказывает здесь, что он получил от профессоров очень дерзкое письмо, и указывает на тебя, как на автора. Это заставило меня внять совету великой княгини и написать ей по-русски письмо о нашей истории, более короткое, чем твое, и упирающее на главные пункты. Это письмо она передала императрице, которая показала его государю. Государь возвратил его со словами: „La lettre est au fond très moderée. J'ai eu un instant l'idée de l'envoyer Tolstoy; mais j'ai pensé ensuite, que c'était donc leur manière de voir personnelle. Ils prennent l'affaire de leur point de vue" [2]. Логика, как ты видишь, престранная. Я подумал сначала, что письмо не имело никакого успеха. Но великая княгиня уверяет, что именно эти слова свидетельствуют об успехе, или, по крайней мере, о хорошем впечатлении. По ее мнению, если бы письмо было отослано к Толстому, это доказывало бы, что дело предоставляется ему бесконтрольно. Письмо осталось у императрицы.

„Но императрица не за нас, несмотря на ее разговор с тобою в декабре. После моего письма она перестала говорить, que nous exagérons, но повторяет, que Tolstoy est très modéré.

---

1) Слишком расплывчиво, слишком похоже на встречное обвинение.

2) „Письмо в сущности очень умеренное; мне приходило было на ум переслать его к Толстому, но потом я подумал, что это их личный взгляд, они смотрят на дело с своей точки зрения".

Великая княгиня сказала ей на это: „S'il est si modéré, qu'il laisse nommer une commission, avec Issakoff là dedans, pour examiner l'affaire" [1]. Та промолчала. Она, кажется, устраняется, чтобы не действовать против Толстого, который у нее в милости, но не совсем убеждена в его правосудии.

„Другой интересный факт. Князь Василий Андреевич Долгорукий получил от брата письмо, в котором говорится, что студенты волнуются нашей отставкой. Это произвело опасения. Кажется, с этого времени поблек шуваловский проект—удержать всех, кроме нас с тобой, ибо-де, мы рьяные.—Впрочем, мои умеренные речи здесь поколебали и без того нескольких союзников Толстого: Муханова, Вяземского и т. д. Теперешний проект, повидимому, состоит в отправлении весною в Москву графа Строганова. Об этом сильно говорят; но Строганов со мною секретничает, и я не нахожу политичным очень у него расспрашивать. Сегодня вечером я его увижу.

„Надо тебе сказать, что в письме к великой княгине, выставив очень резко незаконность распоряжений Толстого, я особенно упирал на невозможность оставаться в университете без ограждения свободы мнений, и на то, что ее нельзя оградить иначе, как признав неправильность советского постановления. Упомянул вскользь и о сценах в Совете, сказав, что не смею утруждать рассказом об этих возмутительных происшествиях. Пусть Толстого спросят, что́ было.

„Толстого все более и более тревожит мое пребывание здесь, особенно с тех пор, как в ответ на его уверения, что мы с тобой поджигаем других, ему говорят о моем умеренном тоне. Я думаю ехать завтра. Полагаю, что здесь нечего более делать".

Дмитриев несколько, впрочем, обманывал себя насчет впечатления, произведенного его умеренностью. Победоносцев говорил мне, что императрица отзывалась о нем: „C'est un vil intrigant" [2]. Граф Толстой представлялся ангелом чистоты, а Дмитриев, который стоял за самые элементарные требования

---

1) Что мы преувеличиваем, но повторяет, что Толстой очень умеренный человек—„Если он такой умеренный, пусть назначит комиссию с участием Исакова для расследования дела".

2 „Это гнусный интриган!"

справедливости, обзывался гнусным интриганом. Таков непроходимый туман, господствующий в высших сферах, что все в нем чудится навыворот. Всех нас представляли красными революционерами, и этому верили. На этот счет я имел сведения от баронессы Раден. Она писала мне от 2 апреля.

„У меня перед глазами Ваши оба письма, и я не могу удержаться от чувства грусти. Итак, судьба университета решена по всем правилам, и его разрушение с точки зрения науки подписано и запротоколено. Подумал ли хоть один из тех, кто способствовал этому плачевному результату, о том моральном зле, какое он делал. Но что́ значит совесть для некоторых характеров. Разве она не подчиняется неизбежному ослеплению, по мере того, как личное самолюбие все сильнее овладевает человеком. Граф Толстой даже похудел, но добился-таки того, что все вы, выдающиеся консерваторы, люди, что́ там ни говори, государственного ума, каждый из которых мог бы сыграть убежденно роль Руэ, вы все запятнаны мятежным либерализмом; на вас глядят, как на жирондинцев в зародыше (Girondins en herbe), как на красных, бедные мои друзья. Мне это было бы совершенно безразлично, и я принимала бы с одинаковым хладнокровием медово-сладкие и уклончивые суждения князя Урусова и умеренную брань (invectives moderées) графа Толстого (императрица восхищается его умеренностью) и краткие и, с Вашего позволения, холопские сентенции графа Строганова, если бы такой образ мыслей в высших сферах не доказывал вавилонского смешения понятий. Я не могу не волноваться. Ведь это не просто опыты вивисекции; оперируют над живым человеческим мясом, режут нервы, от которых зависит будущность России[1]“.

Враги правительства, разумеется, потирали себе руки, видя как консерваторы попались впросак и на своих боках почувствовали всю прелесть той власти, которую они защищали. Казалось бы, при скудости наших умственных сил, при расшатанности общества, при том хаосе понятий, который в нем водворился,—надобно было, как зеницей ока, дорожить тем маленьким ядром мыслящих и крепких в своих охранительных

[1] В подлиннике—письмо приведено на французском языке.

убеждениях людей, которое случайно образовалось в Московском университете; а, между тем, правительство само, без зазрения совести, разбивало это ядро и рассеивало его по ветру отдавая бренные плоды русского просвещения на жертву грязной сделке между министром и журналистом. Результат был тот, что всякий разумный консерватизм исчез, нигде не находя опоры. На место его выдвигалась наглая реакция, журнальная в лице Каткова и чисто бюрократическая в лице графа Толстого. Оба на развалинах Московского университета заключили между собою союз.

Не доверяя одностороннему изложению дела, государь старался однако разведать о нем у людей беспристрастных; но, как обыкновенно бывает у царей, не одаренных высшим чутьем, делал это совершенно невпопад. Лет десять спустя, легонький член Государственного совета Борис Павлович Мансуров, который при Головнине был директором Департамента народного просвещения, а с назначением Толстого оставил свое место и проживал в Москве, сам рассказывал мне, что, приехавши в это время в Петербург, он отправился представляться во дворец. Государь спросил его, как приезжего из Москвы, что́ он знает об этом деле и каково его мнение? Тот, не обинуясь, отвечал, что мы, разумеется, виноваты, ибо мы восстаем против большинства: если большинство решило, то надобно повиноваться. Сей государственный муж, прошедший всю бюрократическую лествицу и достигший высших почестей, повидимому, не подозревал, что большинству не все дозволено, что свобода мнений меньшинства везде ограждается, и что на это существуют положительные законы Русской империи, в пределах которых каждый обязан действовать. Мы, конечно, сделали промах, тем, что не заботились о распространении истинных понятий об университетских событиях в московском обществе; но кому могло притти в голову, что государь будет допрашивать Бориса Павловича Мансурова, и что Мансуров, с невероятным легкомыслием, выскажет ему мнение о деле, о котором он не имел ни малейшего понятия?

Со стороны Толстого не последовало никакого ответа на наше письмо; это было слишком опасно. Но была сделана попытка к примирению, кажется, впрочем, только для вида.

Однажды, на еженедельный вечерний прием к Соловьеву явился Калачов, и объявил, что Толстой поручил ему познакомиться с делом и постараться его уладить. Мы спросили: известна ли ему бумага министра, которая была причиною нашей отставки? Он отвечал, что нет. Ему прочли бумагу. Калачов, который был юрист, тут же воскликнул: „Да это нелепость!" Ему отвечали, что это не только нелепость, но вдобавок и ложь. Чтобы повернуть дело против нас, надо было что-нибудь сочинить; но умные головы Министерства народного просвещения не умели ничего придумать, кроме такого элементарного вздора, который мало мальски опытному юристу кидался в глаза. И на основании этого чистейшего вздора нас осуждали, правительственные лица смотрели на нас, как на революционеров, и даже люди, подвизавшиеся на государственном поприще и занимавшие важные места, видели в нас бунтовщиков, ополчающихся против большинства! Таков был хаос понятий, среди которого приходилось жить и действовать. Посредничество Калачова не имело дальнейшего хода. Если бы он высказался против нас, то это бы, разумеется, раздули; но так как он понимал настоящее дело, то его просто устранили.

Окончательно вопрос должен был решиться с приездом государя в Москву по случаю бракосочетания наследника. В Москве пошли толки, что единственный выход из этой несчастной истории состоял в том, чтоб государь просил нас остаться. Попечитель жадно ухватился за эту мысль. Мне она была очень не по нутру. Отмена оскорбительных постановлений Совета была для меня вопросом чести, и я не думал, чтобы просьба государя могла служить достаточным удовлетворением. Благороднее было бы даже пожертвовать личным делом общественному благу и пользе университета, не дожидаясь монаршего слова. Но я был не один. Другие мои товарищи не были в таком положении, как я; им подобный исход мог быть желателен. Поэтому я молчал, не предъявляя никаких требований и предоставив все ведение дела Соловьеву.

Со стен Кремля смотрел я на въезд, который был весьма неторжественный. Погода была мрачная и холодная; шел мокрый снег. Я видел в этом изображение наступившей для

России поры реакции. Цесаревич созвал к себе всех бывших преподавателей своего покойного брата и своих. Это был знак сочувствия. О нашем деле не было сказано ни слова, но он старался быть по возможности любезен.

Во дворе был бал, на который приглашались по чинам. Поэтому я там не был, ибо чина не имел никакого. В университет я поступил исправляющим должность экстраординарного профессора, а по закону исправляющие должность не переименовывались в чин, соответствующий ученой степени. В таком бесчинном положении я остался и доселе, ибо, хотя, сделавшись ординарным, я был представлен, но вышел в отставку прежде, нежели я был утвержден.

На следующее утро, только что я проснулся, я получил радостную записку от Щербатова, который первый хотел известить меня о случившемся. Он писал, что на бале заявлена была просьба государя, чтобы мы остались в университете, что бывшие там профессора изъявили свое согласие, и что, таким образом, наше дело благополучно кончено. Меня, признаюсь, это покоробило. Вслед за тем я получил записку от попечителя с приглашением явиться к нему. Левшин рассказал мне, что он приступил к государю со словами: „Государь, спасите университет!“ Государь сначала колебался, но затем спросил Левшина: уверен ли он, что мы не откажемся взять отставку назад? Левшин отвечал, что он не обратился бы к государю, если бы не был в том уверен. Тогда государь поручил ему сказать нам, что, хотя мы в этом деле виноваты, но, так как некоторые из нас преподавали покойному наследнику, то он, в уважение к этим заслугам, просит нас оставаться в университете.

Итак, я не только не получил удовлетворения, но осуждался с высоты престола, подвергаясь при этом нравственному унижению, ибо я должен был вопросом чести жертвовать нехотя выраженному желанию осуждавшего меня государя. Мои товарищи могли изъявить согласие, ибо они находились совсем в другом положении; но я в собственных глазах считал бы себя виновным в раболепстве, если бы пошел на такую сделку. Но отказываться и тем самым выдавать товарищей не было возможности. Я тут же решил оказать уважение воле государя

и взять свое прошение назад, чем самым совокупное дело кончалось, и уничтожалась всякая солидарность; но затем я уже мог действовать один и через полгода выйти в отставку. Так я и сделал. Но любопытно, что эти, повидимому, столь простые и естественные рассуждения даже в самых близких мне людях не нашли поддержки и одобрения. Посторонние же видели в исходе этого дела какую-то одержанную нами великую победу. На Сокольничьем празднике, который дан был на второй или на третий день после бала, все с радостными лицами поздравляли меня, до такой степени в русском обществе слово государя считалось чем то сверхестественным, все покрывающим. Исаков даже рассердился, когда я сказал ему, что мы не только осуждены, но унижены, и что в этом положении я остаться не могу. В течении следующего полугодия меня со всех сторон уговаривали не покидать университета. Но я стоял на своем, могу сказать, один против всех, будучи убежден, что, жертвуя личным своим достоинством, я подал бы безнравственный пример молодым поколениям, которых я призван был руководить. Этого никто не в праве делать, и никакое преподавание не может вознаградить за такой недостаток нравственного чувства. Впоследствии мои друзья признали, что я был прав. Сам Соловьев сказал мне, что он жалел о том, что его сбили с толку, и он согласился остаться по просьбе государя: было бы гораздо лучше, если бы мы вышли все вместе. Действительно, подобные сделки дают только более силы торжествующей неправде. От этого у нас в России так мелки взгляды и так редки характеры.

Лично для меня это был наилучший исход. Никого не увлекая за собою, я выходил из среды, которая внушала мне омерзение и возвращался к независимой жизни и к любимым занятиям. Профессуру я покидал без сожаления. В сущности, я никогда не чувствовал к ней ни малейшего призвания. Я принял ее вследствие сердечных воспоминаний о проведенных в университете блаженных днях молодости и о тех людях, которые составляли его красу; я считал ее временно полезною для утверждения в науке, которую лучше всего изучаешь, когда ее приходится преподавать; но к самому преподаванию я не чувствовал никакой наклонности. Я рожден писателем, а

не профессором. Постоянный монолог был мне всегда противен. Мне случалось иногда говорить с увлечением в общественных собраниях, где вопросы обсуждаются с разных сторон, и есть противники, которые смотрят на дело иначе. Но вечно говорить одному в виде поучения было для меня делом насилия над собою. Это не было свободное излияние мысли, а плод трудного приготовления. К этому присоединялось и то, что профессору приходится всякий год читать одно и то же, а повторение было мне всего ненавистнее. Не знаю, как делают другие, но я всегда чувствовал себя в самом неприятном положении. Обязанность заставляет читать студентам целую науку; но всю ее разом осилить нельзя: надобно обрабатывать ее по частям. Поэтому приходится читать частью то, чего еще основательно не знаешь. К тому же читать по тетради каждый год одно и то же и самому неприятно и на слушателей производит нехорошее впечатление; а изменять изложение, единственно для того, чтобы не читать одно и то же, как то глупо: это значит бросать время на совершенно бесполезный труд. Из этих затруднений я никогда не мог выпутаться и постоянно говорил своим друзьям, что я напишу руководство для студентов и затем выйду из университета; читать же двадцать лет одну и ту же науку я решительно не в силах. Судьба сократила этот срок и возвратила мне свободу, на что я вовсе не сетовал. „Vous voilà arrivé d'un bond à cet avenir que vous desiriez si fort, — писала мне баронесса Раден, —la solitude à Karaoul et le travail litteraire“ [1].

Но если я для себя лично не имел причин жалеть об исходе дела, то я не мог скорбеть о нем глубоко с общественной точки зрения. Я видел разложение любимого университета. Он, а с ним и судьба воспитывающихся в нем молодых поколений предавались на жертву господствующей грязи. Еще грустнее было думать о том положении общества, в котором возможны подобные явления. Это было уже не царствование Николая, когда невыносимый гнет подавлял всякий независимый голос. После освобождения крестьян, после всех совершенных

[1] „Вот Вы сразу достигли того будущего, о котором так мечтали — уединения в Карауле и литературного труда“.

реформ, обновивших всю русскую землю, при допущенной в ней широкой гласности, приходилось повторять стихи, писанные в самую темную пору прошлого царствования:

В одной лишь подлости есть сила,
В ней радость, слава, торжество[1].

Самая свобода печати, к которой мы взывали, как к якорю спасения, служила орудием неправды. С целью приобрести поддержку влиятельного журнала, министр утверждал беззаконие и гнал честных людей. На что же было надеяться, когда и высшие сферы, и бюрократия, и журналистика, и первое ученое сословие в государстве все соединились, чтобы попирать ногами самые элементарные начала справедливости, закона и даже приличия? Я увидел, что России придется еще пройти через долгий путь, прежде нежели выработается что-нибудь порядочное из этого мутного потока, в котором могла найти обильную пищу только самая беззастенчивая ложь. Удалиться из этой смрадной атмосферы в тишину частной жизни и там, на досуге, заняться трудом, который мог бы служить материалом для будущего здания русского просвещения, такова была отныне моя цель.

Осенью 1867 года я вернулся в Москву и возобновил свой курс, не посещая заседаний Совета. Но я не скрывал, что это полугодие будет последним. Я хотел, кончая курс, сказать несколько прощальных слов студентам; но университетское начальство приняло против этого свои меры. Накануне последней лекции, за несколько дней перед Рождеством, я получил неожиданное извещение, что все курсы закрыты, и чтения прекращены. Мне оставалось обратиться к своим слушателям письменно и проститься с ними заочно. Это я и сделал в следующем прощальном письме, которое я передал некоторым студентам для сообщения остальным.

ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО МОИМ СЛУШАТЕЛЯМ.

Распоряжение университетского начальства, неожиданно прекратившее лекции ранее установленного срока, не позво-

[1] Из пародии на стихотворение Шевырева, написанной самим Б. Н. Чичериным.

лило мне завершить свои чтения и проститься с вами, как преподавателю. Мы, надеюсь, встретимся еще на пути жизни, и встретимся добрыми друзьями, но на кафедре вы меня более не увидите. Жалею, что должен с вами расстаться, жалею, что не могу кончить начатого курса, но есть обстоятельства, когда требования чести говорят громче всяких других соображений. Честь и совесть не дозволяют мне долее оставаться в университете. Вы, мои друзья, еще молоды, вы не разучились ставить нравственные побуждения выше всего на свете. Поэтому, надеюсь, вы не будете сетовать на меня за то, что я прерываю свой курс. Я считаю себя обязанным не только действовать на Ваш ум, но и подать вам нравственный пример, явиться перед вами и человеком, и гражданином. Нравственные отношения между преподавателем и слушателями составляют лучший плод университетской жизни. Наука дает человеку не один запас сведений; она возвышает и облагораживает душу. Человек, воспитанный на любви к науке, не продаст истины ни за какие блага в мире. Таков драгоценный завет, который мы получили от своих предшественников на университетской кафедре. На ней всегда встречались люди, которые всегда высоко держали нравственное знамя. Теперь, покидая университет, я утешаю себя сознанием, что мы с товарищами остались верны этому знамени, что мы честно, по совести исполнили свой долг и не унизили своего высокого призвания. Желаю и вам крепко держаться этих начал и разнести доброе семя по всем концам Русской земли, твердо помня свой гражданский долг, не повинуясь минутному ветру общественных увлечений, не унижаясь перед властью и не преклоняя главы своей перед неправдой. Россия нуждается в людях с крепкими и самостоятельными убеждениями; они составляют для нее лучший залог будущего. Но крепкие убеждения не обретаются на площади; они добываются серьезным и упорным умственным трудом. Направить вас на этот путь, представить вам образец науки строгой и спокойной, независимой от внешних партий, стремлений и страстей, науки, способной возвести человека в высшую область, где силы духа мужают и приобретают новый полет, таков был для меня идеал преподавания. Насколько я успел достигнуть своей цели, вы сами тому

лучшие судьи! Во всяком случае, расставаясь с вами, я питаю в себе уверенность, что оставляю среди вас добрую память и честное имя. Это будет мне служить вознаграждением за все остальное.

Москва, 19 декабря 1867 г.".

С студентами я вообще был в самых лучших отношениях. Моя аудитория была всегда полна; многие ходили ко мне на дом за книгами и советами. Все толки об университетской истории и весть о нашей отставке они горячо принимали к сердцу. Еще в 1866 году, при самом начале пререканий, некоторые из выходящих юристов пожелали дать прощальный обед своим любимым профессорам: Бабсту, Капустину, Дмитриеву и мне. Это была дружеская беседа в тесном кругу. На следующий день мы все общей группой сняли свои фотографии. Теперь студенты всех курсов юридического факультета задумали дать мне прощальный обед. К ним присоединились и профессора, мне сочувствовавшие. Примкнули и мои старые университетские товарищи и друзья. Обед вышел многолюдный и сердечный. Помещаю здесь его описание, напечатанное в то время в „Русских Ведомостях" за подписью студента". Это будет последний из документов по этой печальной истории, единственный, который доставил мне некоторую отраду.

ПРОЩАЛЬНЫЙ ОБЕД Б. Н. ЧИЧЕРИНУ[1].

В пятницу, 26 января, мы давали прощальный обед нашему бывшему профессору—Борису Николаевичу Чичерину. Еще задолго до этого дня в университете разнесся слух о том, что наш многоуважаемый профессор, успевший в короткое время приобрести заслуженное уважение своей полезной деятельностью на кафедре и в литературе, — выходит по каким то обстоятельствам в отставку, не успев даже дочитать полного курса своим слушателям. Слух этот скоро был подтвержден печатно и мы не знали, чему приписать такое неожиданное удаление Бориса Николаевича из университета, которому он с усердием человека, понимающего всю важность взятой им на себя обязанности, честно посвящал в течении нескольких

[1] NB. 28 Января 1868 года. „Рус. Вед.". 4 февраля, № 29. Прим. Б. Н. Чичерина.

лет все свои силы и способности. Мы надеялись, что на последней лекции, которую Борис Николаевич должен был читать 19 декабря (последний день первого академического полугодия), по обычаю нашего университета, он скажет нам несколько прощальных слов и уяснит ими хотя отчасти причины своей отставки. Но обстоятельства сложились так несчастливо, что нам не удалось послушать эту прощальную лекцию. Между студентами начали ходить всевозможные толки и, наконец, некоторые из нас решили отправиться к Борису Николаевичу за объяснением. Он счел долгом успокоить нас письмом, обращенным к студентам, в котором объяснил, что это не от него зависело. Убедившись в этом, мы решили заявить ему, по крайней мере, общее наше сочувствие, собравшись вместе на прощальном обеде.

Многие из прежних университетских товарищей Бориса Николаевича пожелали также принять участие в этом печальном пиршестве, и тотчас же около 180 человек послали ему приглашение на обед. Распорядителем мы выбрали профессора Федора Михайловича Дмитриева, так как нам известно было, что он находится в самых дружеских отношениях к Борису Николаевичу и примет, следовательно, живое участие в нашем намерении. Другим распорядителем обеда был П. Ф. Самарин, товарищ по студенчеству профессора Чичерина.

26 января мы все собрались в гостинице Лабади, где был назначен обед. Кроме студентов, в нем принимали участие следующие профессора: С. М. Соловьев, уважаемый нами профессор и историк, на глазах и под руководством которого воспитывалось не одно поколение в университете и в том числе Борис Николаевич, М. Н. Капустин, Ф. И. Буслаев, С. А. Рачинский, Ф. А. Слудский, В. И. Герье, Н. А. Попов, А. А. Дювернуа, Ф. Е. Корш. Из посторонних лиц участвовали в обеде многие бывшие товарищи Бориса Николаевича по университету, его друзья и знакомые. Из литераторов здесь находились: Ю. Ф. Самарин, Е. Ф. Корш, Н. Х. Кетчер, И. Е. Забелин, А. В. Станкевич и В. И. Сергеевич, недавно защищавший диссертацию на магистра государственного права, и одним из самых сильных оппонентов которого был Борис Николаевич.

Обед приготовлен был в зале артистического кружка. Около 5 часов приехал виновник пиршества и, только что он вошел, зал огласился аплодисментами и криками приветствия, которые провожали Бориса Николаевича до самого места, назначенного для него. Начался обед, вовсе не похожий на официальные обеды. Непринужденность, с которой держали себя обедавшие, живые разговоры, раздававшиеся непрерывным гулом по залу,—даже простой выбор кушаньев,—все это показывало, что дело не в обеде, а в том чувстве, которое одушевляло собравшихся и свело их в этот день, как старых друзей, несмотря на то, что большая часть из них не были даже знакомы между собою. Студент не стеснялся присутствием профессора и смотрел на него не как на начальника, а как на человека, пришедшего вместе с ним изъявить сочувствие их общему другу. Когда были налиты бокалы, С. М. Соловьев обратился к профессору Чичерину с таким приветствием: „Борис Николаевич! Ваше профессорское поприще было кратко; но люди, которых вы видите здесь, пришли сказать вам, что в это короткое время Вы сделали много, и сделанное Вами забыто не будет. С горестью расставаясь с Вами, как с профессором, мы имеем утешительное убеждение, что не расстаемся с Вами, как с ученым; Вы не можете покинуть ученое поприще; Вы не имеете на это права; Вы не имеете для этого способности. Мы остаемся с Вами товарищами в стремлении к истине в науке и к правде в деле гражданском. Мы отпускаем Вас не на преждевременный отдых: от этих преждевременных отдыхов потеряно уже много сил, которые очень пригодились бы нашей России; отпускаем Вас с единодушным желанием, да поможет Вам бог продолжать Вашу сильную и многоплодную деятельность!“. Первые слова С. М. Соловьев говорил твердым голосом; но мало-по-малу голос стал дрожать, и он окончил свою речь со слезами на глазах. Глубоко тронуты были слушавшие, видя, как этот заслуженный профессор, столько лет поддерживавший славу Московского университета, не мог скрыть своего чувства, прощаясь с одним из бывших учеников своих и товарищей по деятельности. Затем П. Ф. Самарин прочел следующее письмо кн. А. А. Щербатова: „Любезный друг Чичерин! Обстоятельства потребовали

моего внезапного отъезда в Петербург. Грустно мне думать, что я не буду с тобой в тот день, когда твои друзья, товарищи и слушатели собираются вокруг тебя, чтобы выразить тебе свою любовь и уважение. Если бы я участвовал в сегодняшнем обеде, высоко я поднял бы бокал за твое здоровье, и от избытка сердца уста бы заговорили. Я бы сказал тебе многое и многое, и отвечаю, что не сказал бы ничего лишнего, ничего не сказал бы такого, что не исходило бы от чистого сердца, из убеждения. Я лишен этой возможности, но хотя отчасти хочу вознаградить себя, написавши эти строки, которые прошу кого-нибудь из присутствующих прочесть. Пусть мое слово, хоть к сожалению не живое, но искреннее и так и льющееся из под моего пера, будет услышано на твоем празднике. Мы оба с тобой не стары, но мы старые друзья: без малого 25 лет тому назад мы впервые сошлись с тобою на университетской скамье. От юношеских до теперешних наших лет много происходило с нами перемен; одно не изменилось: это наша взаимная дружба, основанная на взаимном доверии. И в радости, и в горе мы сочувственно протягивали друг другу руку и ободряли себя на житейском поприще. Искренно и долго любить можно только того человека, которого искренно уважаешь. Уважение — вот тот камень, на котором зиждутся самые прочные отношения между людьми, и это-то чувство, при 25-летнем испытании наших взаимнмх отношений, вполне и, можно сказать, навеки в нас выработалось. Наши поприща деятельности были совсем различны. Не дано мне судить и оценивать твои заслуги науке; это я предоставляю другим; но я знаю одно, что при разрешении всех тех вопросов, которые жизнь задает человеку, ты являлся вполне честным человеком, а быть всегда и во всем честным человеком — это и есть задача человека. Честный человек будет и честным гражданином, на каком бы поприще судьба его не поставила — и ты был таковым. Если мне будет позволено заочно провозгласить твой тост, я желаю его выразить так: за здоровье честного гражданина Бориса Чичерина!" По прочтении письма П. Ф. Самарин, много помогавший студентам в устройстве обеда, сказал от себя несколько дружеских слов: „Борис Николаевич, мы все, твои товарищи, присоединяемся

к этому теплому привету. Собравшись на настоящем празднике, мы дорожим случаем, чтобы заявить тебе публично, что мы, твои товарищи, считаем всю твою деятельность, во всех ее проявлениях, безукоризненно честною". В это время вошел профессор Н. А. Попов, который был в этот день присяжным заседателем в Окружном суде и потому опоздал на обед. Он прочел письмо от профессора А. Ю. Давыдова, не присутствовавшего на обеде по той же причине. Вот его содержание: „Находясь в настоящее время в Окружном суде присяжным заседателем, я, к сожалению, не могу принять участия в прощальном обеде, который дают Вам Ваши товарищи и ученики. Но я не могу не присоединиться к ним с выражением моей искренней печали о том, что несчастное для нас стечение обстоятельств вырывает Вас из среды нашей. Университет лишается одного из своих лучших деятелей, ученики Ваши—своего любимого наставника и, глубоко скорбя, прощаются с Вами Ваши товарищи, умевшие ценить Вас. Когда наставники, посвятившие лучшие годы своей жизни служению университету, оставляют его, нас утешает надежда, что они заменятся новыми, свежими силами; но когда удаляются молодые деятели, блистательно начавшие свое поприще, они уносят с собою наши лучшие надежды".

Затем начались прощальные речи студентов. Вот эти речи в том порядке, как они были сказаны. Первая речь была следующая: „Мы, студенты второго курса, еще недавно оставили школьную скамью и вступили в тот возраст, когда начинается сознательная жизнь, кладется фундамент будущих понятий и убеждений. Мы шли в университетские аудитории с затаенным чувством радости, с надеждами и ожиданиями всего нового и хорошего. Мы думали встретить здесь представителей мысли и правды, почтительные дружеские отношения к которым должны были на нас благотворно подействовать, и наши представления о семье университетской осуществились, и мы нашли таких людей. Само собою разумеется, что мы привязались к ним всем сердцем, что нам дорого было каждое их слово. Как же должно быть грустно и тяжело нам, Борис Николаевич, в лице Вашем расставаться с одним из своих лучших, дорогих преподавателей! Мы только что

успели понять и оценить Вас, и уже должны прощаться с Вами, и это тем более горько нам, что в Вас мы лишаемся и незаменимого профессора, и человека всегда готового протянуть нам опытную руку для нравственной помощи. Не в наших силах удержать Вас, хотя для этого можно многим пожертвовать. Нам остается выразить Вам горячую благодарность, пожелать Вам всего, всего лучшего и смело сказать, что то короткое время, когда Вы были с нами, навсегда останется в нашей памяти“.

За этой речью следовала другая, столько же прочувствованная: „Вы нас оставляете! Юридический факультет теряет в Вас одного из лучших своих представителей; но бесспорно, что второй курс, к которому принадлежу и я, живее всех чувствует эту потерю, так как на нашу долю выпало лишиться любимого и уважаемого профессора, пройдя с ним только половину курса. Но не только профессора—мы лишаемся в Вас и друга, готового всегда и словом и делом помочь нам. Несмотря на это, Борис Николаевич, между нами нет никого, кто бы по совести решился упрекнуть Вас за Ваш выход, так как мы убеждены, что без особенно важных причин Вы не оставили бы нас на полдороге. Ваше преподавание, спокойное и беспристрастное, останется всегда в нашей памяти, и Ваше пребыванне в университете составит одно из лучших наших воспоминаний о нем“.

Затем следовали речи студентов старших курсов, несколько лет слушавших профессора Чичерина: „Борис Николаевич, было время, когда в университете преобладали патриархальные отношения. Они выражались в тесной связи слушателей с преподавателями и в духе единства между студентами. Это доброе, старое время имело, конечно, свои недостатки. Так, патриархальные отношения к профессорам и университетскому начальству доходили иногда до крайности, до смешного. Случались разные школьнические проделки с начальством, а дух единства между студентами принял, особенно в последнее время его существования, одностороннее и ложное направление, которое привело, наконец, к несчастной катастрофе 1861 года. Всякому известно, какое влияние имело это событие на университет. Прежний дух единства между

студентами исчез, и вместе с тем явились новые отношения студентов к университету: отношения чисто формальные. Разъединившись между собою, студенты стали и к преподавателям своим в самые натянутые отношения. Профессора утратили возможность влиять нравственно на студентов и, следовательно, не могли выполнять всецело свое назначение. Винить, конечно, за такой порядок некого: виноваты обстоятельства, сложившиеся неблагоприятно; но во всяком случае студенты лишились громадной доли пользы, которую они могли бы вынести из университетского образования при других отношениях. Потребность сблизиться опять чувствуется обеими сторонами. Вы, Борис Николаевич, принадлежали к числу тех уважаемых профессоров, которые деятельно стремятся восстановить прежние благотворные отношения. Для этого Вы не прибегали ни к каким искусственным мерам, а честным исполнением своих обязанностей внушили к себе полное доверие студентов. Слушая Ваши лекции, мы не только в содержании их находили себе руководство для самостоятельных занятий, но и по внешней отделке видим, что Вы положили не мало труда на исполнение своей обязанности. Отправляясь к Вам на экзамен, студент мог, соображаясь со своими познаниями, вперед безошибочно сказать, какую отметку Вы ему поставите. По сочинениям, поданным Вам и полученным от Вас обратно, видно, что и к этому нововведению Вы отнеслись не как к формальности, а как к мере действительно полезной. Нуждаясь в Ваших советах, всякий смело, без задней мысли, шел к Вам на квартиру. Наконец, если в Совете профессоров обсуждался какой-нибудь вопрос, живо затрагивающий наши интересы, мы были уверены, что Вы подадите голос за правое дело, не руководствуясь никакими посторонними соображениями. Одним словом, Вы не только Вашими знаниями приносили нам пользу в занятиях, но и оказывали вместе с тем благотворное нравственное влияние своею безупречною личностью и честною деятельностью. Прискорбно видеть, что обстоятельства заставляют подобных людей преждевременно покидать свое полезное дело; остается нам утешать себя тою уверенностью, что Вы можете влиять на нас благотворно и вне стен университета, посвятив себя деятельности более обширной".

Четвертая речь была такого содержания: „Выражать свои чувства к Вам в эту минуту было бы плеоназмом; факт, что мы собрались здесь за одним столом, как нельзя лучше доказывает глубокое уважение слушателей к своему любимому профессору, и если я прошу слова, то потому, что не могу, в последний раз прощаясь с Вами, не высказать беспредельной благодарности за лекции, которые всегда оставляли в слушателях истинное желание работать и трудиться. Да, Вы своим нравственным влиянием умели заставить нас забыть о пустых развлечениях и серьезно относиться к нашим занятиям. Но, к несчастью, кафедра опустела, и неизвестно кому быть Вашим преемником. А между тем, следующие за нами товарищи лишены того благотворного влияния, которым пользовались мы. Им не суждено воодушевляться тем живым, сильным словом, которое воодушевляло нас. Но хорошее семя посеяно. Нужно позаботиться о процветании благого дела, и я уверен, Борис Николаевич, что Вы не откажетесь поддержать дух трудолюбия, Вами в нас посеянный, не откажетесь дать московским студентам руководительную нить к занятиям по своему предмету. Этим Вы удовлетворите искреннему желанию нашему, настоятельной нашей потребности и впредь быть руководимыми Вами и засвидетельствуете пред потомством о любви профессора к своим студентам. Благодарная же молодежь, будьте уверены, навсегда в стенах университета сумеет оставить твердую память о своих к Вам чувствах“.

Пятая речь отличалась подробною оценкою университетской деятельности выходящего профессора: „Многоуважаемый наставник! Не всегда найдутся люди, способные вполне оценить те блага, которыми пользуются. Так и мы. Не один раз мы старались высказать Вам свои чувства, и, несмотря на это, замечание, которое я только что сделал, вполне верно. Только теперь каждый серьезно задумался над тем, что̀ теряет он в Вас, и понял, чем Вы были для него. Сознавая перемену, происшедшую в его развитии и убеждениях, теперь каждый ясно, отчетливо видит, что эта перемена, результат Ваших чтений, глубока и плодотворна. Вот почему все мы и не только мы, будущие юристы, но и студенты других факультетов, не раз слушавшие Вас, так живо чувствуем

свою утрату. Мы понимаем, как это отразится на наших менее счастливых преемниках. В самом деле, молодой человек, выходя из гимназии, разом освобождается от всякого контроля. В гимназии он занимается только потому, что его постоянно спрашивают, над ним тяготеет внешнее принуждение. В университете же все предоставляется его собственной воле. Я не говорю, чтобы такая свобода для студента была лишняя, но хочу только сказать, что поэтому самому здесь нужна другая сила, умеющая покорить себе молодые умы, покорить и направить их на лучшую дорогу. О том, что четыре года, проведенные в университете, самая важная эпоха в жизни человека—нечего и говорить. Можно наверное сказать, что тот, кто выйдет отсюда, не имея твердых и честных убеждений, не приобретет их во всю жизнь. Это ясно для всякого; это период, в котором развивается и крепнет умственная сторона человека, та благородная и возвышенная сторона, в силу которой мы уважаем и ставим человека выше всего, что есть на земле. Понятно, как необходим в этом периоде высокий руководитель. Россия нуждается в людях с твердыми и честными убеждениями; но такие люди вырабатываются не всякими наставниками. Конечно, никакой наставник не даст ума, если у слушателя его нет; но опытный руководитель сумеет пробудить и направить умственные силы питомцев. В отношении нас Вы были таким руководителем, до настоящего времени непосредственным, а далее, быть может, останетесь им при посредстве литературы. Вы сказали нам (в прощальном письме), что идеалом Вашего преподавания было представить образец науки строгой и спокойной, независимой от всяких партий, стремлений и страстей, науки, способной возвести человека в высшую область, где силы духа мужают и приобретают новый полет. Вы хотели направить нас на этот путь. Без лести, ради одной истины, можно сказать, что Вы были к этому способны. Я не могу достаточно выразить той глубокой признательности, того глубокого уважения, которым мы проникнуты, произнося Ваше имя. Да, студенты могут сказать без лести: „Никто лучше его не умел внушить нам любви к истине, знанию и труду. В его широком воззрении на жизнь и историю мы находили смягчение односторонних

и резких направлений, встречающихся в жизни“. Вы убедили нас, что нет наук, более способных дать широкое и верное понимание прошедшего и настоящего, как юриспруденция и история. Вы и словом и примером показали, что верные и прочные воззрения добываются только упорным умственным трудом. Стоит взять любое из Ваших сочинений, и всякий, имеяй очи видети, увидит, как справедливы эти слова. И едва ли есть наука, изучение которой в такой степени смягчало эгоистические наклонности человека и поднимало его на высшую степень нравственности, как право и история, эти в высшей степени гуманные науки. Воздавая должное Вашему благотворному влиянию на нас, я не могу не обратиться мысленно к лику того высокого и благородного наставника, который приготовил и оставил нам такого руководителя. Пусть все, любяшие истину, верно хранят в сердце своем память о Т. Н. Грановском!“

Последнее приветствие заключилось тостами. Вот оно: „От лица студентов третьего курса, представителем которых имею честь быть в настоящую минуту, изъявляю Вам нашу искреннюю признательность за согласие Ваше на этот прощальный обед. Он дает нам возможность хотя отчасти выразить то, что мы испытываем, что чувствуем, расставаясь с Вами. В последний раз собрались мы вокруг Вас, в последний раз имеем счастье видеть Вас в нашей студенческой среде. Вы, который с таким достоинством, с таким истинно-национальным духом в течение многих лет занимали кафедру государственного права,—Вы навсегда ее покинули; мы, Ваши слушатели, Ваши ученики, навсегда лишились талантливого профессора. Отныне 26 января 1868 года будет днем печальным для студентов нашего факультета. С этим днем будет соединено воспоминание, грустное воспоминание о бывшем профессоре Борисе Николаевиче Чичерине. Вы не ошибаетесь, Вы оставили среди нас добрую память и честное, незапятнанное имя. С этим согласятся и те, которые не сочувствуют Вашему направлению и Вашим идеям. Мы же, почитатели Вашего ума, таланта и красноречия, пьем за Ваше здоровье и желаем Вам жить долго, жить счастливо, на пользу русского просвещения, на славу русской науки“.

„Борис Николаевич, глубоко тронутый всеми этими искренними приветствиями, сказал в ответ следуюшую, полную чувства речь:

„Господа! Стану ли я говорить Вам, что я до глубины души тронут Вашим сочувствием и Вашим приветом?! Здесь, на прощальном пире, собрались люди близкие сердцу, и друзья моей молодости, и товарищи на общественном поприще, и то юношество, которому довелось мне посвящать свою деятельность. Здесь сошлись и старый университет и новый, и прошедшее и будущее.

„Благодарю прежде всего за те теплые слова, которыми встретили меня товарищи моих студенческих лет. Слушая их, я переношусь в былое время, я вспоминаю наш старый университет, где мы все вместе воспитывались. Воздадим ему честь и хвалу на этом собрании людей, которые связаны университетской жизнью. В нем соединялось многое, что благотворно действовало на молодые умы; в нем были люди нерядовые. У нас был попечитель просвещенный, благородный, который всю душу свою положил на любимое дело, которому университет обязан всем, что сохранилось в нем хорошего до сих пор [1]. У нас был профессор, который представлялся нам идеалом нравственной чистоты и возвышенности мыслей. Для меня в особенности это имя заветное и дорогое; благодарю студентов за то, что они о нем вспомнили. Я был к нему близок и обязан ему большею половиною своего духовного рвзвития. Когда я говорю об университете, для меня с ним неразлучна память о Грановском. Но были и другие, которых нельзя не помянуть добрым словом. И теперь, рядом со мною, сидит один из них, которого я в то время уважал, как своего профессора, и которого с тех пор, как товарища, я научился глубоко любить и почитать [2]. Вспомним и нашего старого инспектора, имя которого было синонимом доброты [3]. Да, действительно, в то время между университетским начальством и студентами господствовали патриархальные отношения: благодушное попечение с одной стороны, веселое и беззаботное

---

[1] С. Г. Строганов.

[2] С. М. Соловьев

[3] И. Н. Красовский

доверие с другой. В то время и в обществе интересы науки были гораздо живее, нежели теперь. Практическая жизнь, политические стремления не отвлекали еще сил и внимания от умственных вопросов. Мы воспитывались в этой среде, не зная тех волнений, которые впоследствии внесли разлад в университетскую жизнь. И до сих пор мы храним, как драгоценное духовное достояние, благодарность тому учреждению, которое осеняло наши молодые годы. Если я вступил на кафедру, то главным моим побуждением было отслужить службу университету, отблагодарить его за то, что я провел в нем лучшую пору своей жизни.

„Переносясь в эти годы, я не могу не вспомнить того тесного, доброго товарищества, которое соединяло нас, бывших студентов. До какой степени оно было искренно и прочно, об этом свидетельствуют те старые друзья, которые собрались здесь в настоящую минуту. Нет связей более крепких, более заветных как те, которые образуются в молодые лета, в стенах университета, в ту пору жизни, когда сердце человека настежь открыто для другого, когда чувство не успело еще очерстветь от житейских забот и разочарований, когда и настоящее и будущее представляются каким-то светлым праздником. Воспоминание о прожитых вместе годах юности навсегда соединяет людей; товарищеские отношения светлою струею тянутся через всю человеческую жизнь. И когда я здесь благодарю своих старых товарищей за их память и за их дружбу, я не могу не выразить сердечной, глубокой скорби о неожиданном отсутствии одного из них, человека, которого высокую честность, чье горячее участие к общественному делу Москва привыкла ценить. Вы слышали его письмо; мы с ним четыре года сидели на одной скамье, и с тех пор, втечение двадцатилетних самых близких сношений, я всегда находил в нем сердечное участие и добрый совет.

„Господа! Я увлекаюсь воспоминанием о прошлом, которое воскресает передо мною, когда я вижу вокруг себя давно знакомые и дружеские лица. С тех пор многое изменилось. Для университета настали тяжелые годы. Военная дисциплина заменила просвещенное попечение об умственных интересах молодых поколений. Затем, после морозов, настала

весенняя оттепель. Строгая дисциплина в свою очередь уступила место полной распущенности. Общественные страсти вторглись в университет, отвлекая молодых людей от терпеливого труда, от строгой науки.

„В эту пору я имел честь вступить на кафедру, и с первого же раза счел долгом высказаться против увлечений молодежи. Мы вместе с сидящими здесь товарищами и в университете, и в литературе выступили в защиту старых университетских, порядков. Нам казалось почти святотатством это легкомысленное посягательство на учреждение, которое заключало в себе столько добра, которому все мы обязаны лучшим цветом нашей умственной жизни. Перед нами носился идеал университета, как святилища науки, где хранятся чистые ее предания, где вопросы обсуждаются не в тревоге общественной жизни, не в пылу ежедневных полемик, а спокойно и беспристрастно, насколько беспристрастие дано человеку. Мы с восторгом встретили в России новую зарю свободы, но мы хотели свободы, сдержанной законом, свободы не разрушительной, а созидающей. Я не могу без грусти вспомнить об этом времени, когда, казалось, единодушие во имя добра соединяло всех членов университета. От этой поры остались крепкие связи. Пока я жив, я сохраню глубокую привязанность к тем товарищам, с которыми мы до конца шли рука об руку, одушевленные общим чувством долга и претерпевая вместе все испытания.

„А испытаний было не мало. Вы помните, каким нареканиям подвергались мы в то время. Нас обвиняли в отсталых убеждениях, в раболепной покорности власти. Нам говорили: „Университет более не существует, и Вы его разрушили. Есть профессора и есть студенты; но нет между ними нравственной связи. Духовное целое исчезло, остались одни разорванные члены". Господа, настоящее наше собрание служит самым красноречивым ответом на эти возгласы. Нравственная связь между профессорами и студентами существует, и существует не во имя передовых идей или популярных стремлений, а во имя честного отношения преподавателя к своему предмету и к своим слушателям. В этом состоит единственная наша заслуга, и это скоро было понято молодежью, с ее

верным чутьем нравственных отношений. Преподаватель, который успел установить подобную связь, может считать себя счастливым. Поэтому, господа, для меня ничего не могло быть отраднее, как те речи, которые я слышал, как те заявления, столь искренние и трогательные, которые делаются мне студентами. В Вас, мои бывшие слушатели, с которыми я теперь расстаюсь, но с которыми никогда не расстанусь сердцем, в Вашем сочувствии я нахожу лучшую награду за свою деятельность на кафедре, награду, перед которой, поверьте, бледнеют все жизненные невзгоды. Положение профессора иногда невольно наводит на раздумье. Он готовится в своем кабинете, он читает в аудитории; но каковы результаты его работы,—этого он часто не знает. Может быть, они невидимо зреют в душах многих из слушателей; может быть, со временем труд его принесет свои плоды, но все это для него скрыто в неизвестности, и он нередко усумнится в приносимой им пользе. Но когда он видит, что искра загорелась в молодых умах, когда брошенное семя возвращается к нему, как дань благодарности—о! тогда он переживает хорошие минуты; тогда сердце его исполняется радостью и некоторой гордостью. Он чувствует, что он не даром прошел по земле, если он принес хоть малую пользу зреющим поколениям, если ему удалось зажечь в них священный огонь, передать им то чистое сокровище истины, которое он получил от своих предшественников. В этом живом и сочувственном соприкосновении между преподавателем и слушателями состоит лучшая сторона университетской жизни. Здесь почерпаются силы для деятельности; здесь возгорается и надежда на будущее, надежда, основанная не на жизни одного человека, которого нежданно сражает смерть, а на целых поколениях, непрерывно обновляющихся и передающих друг другу светоч просвещения. В них заключается главная сила земли. Эта сила не оскудеет в России, пока в молодых сердцах горит любовь к истине и к добру, и пока наука остается в обществе не мертвым кладом и не орудием страстей, а живым источником, к которому стекаются толпы юношей, чтобы утолить в нем свою духовную жажду.

„Вы, господа, призваны осуществить эти надежды. А потому, поблагодарив Вас от души за Ваш прощальный привет, я, с

своей стороны, поднимаю бокал за студентов Московского университета!"

За этой речью последовали громкие рукоплескания; когда они смолкли—Борис Николаевич снова поднял бокал и сказал: „Господа, я предлагал тост за студентов; теперь я предлагаю молодежи тосты за людей, большею частью им неизвестных, но которые сегодня соединились с ними в общем чувстве. Господа, за моих старых, добрых товарищей!" Тост этот был встречен так же шумно, как и первый. Затем Борис Николаевич еще раз встал и произнес: „Господа, мы провозглашали несколько тостов; позвольте же мне теперь провозгласить последний и самый главный. Я расстаюсь с университетом, но не становлюсь ему чуждым. Для меня университет остается тем же, чем он был прежде. И для всех нас Московский университет является знаменем русского просвещения. Господа, за процветание Московского университета!"

Затем студенты пили за здоровье Ф. М. Дмитриева и М. Н. Капустина, и как за профессора, и как за деятельного члена попечительства о бедных студентах. После профессоров своего факультета студенты предложили тост за С. М. Соловьева. Тогда М. Н. Капустин подошел к С. М. Соловьеву, приветствовал его и от имени его прежних учеников, между которыми многие теперь сами занимают кафедру: „Студенты, —сказал он,—предупредили нас, предложив тост за дорогое нам здоровье. Мои товарищи по курсу, первые слушатели С. М. Соловьева, поручили мне выразить ему свою благодарность и уважение. Он был постоянно живым представителем того доброго времени, о котором вспоминал сегодня мой однокурсник Чичерин. Его слова и его пример возбуждали в нас любовь к науке и чувство нравственного долга. Сергей Михайлович остался верным себе, и я могу засвидетельствовать с искреннею признательностью, что в нем находим мы ободрение и совет: его слова всегда за честное дело, своим примером он учит честному труду".

Студенты вспомнили и отсутствующего своего профессора Н. К. Бабста; потом ими были предложены тосты за С. А. Рачинского, Ф. И. Буслаева, всех присутствующих профессоров и наконец бывшего инспектора студентов И. Н. Красовского,

который оставил между нами добрую память своею заботливостью о их нуждах и честным направлением.

После всех этих тостов, произнесенных и принятых с общим одушевлением, профессор Чичерин простился со студентами; но едва хотел он выйти из залы, его подхватили на руки и пронесли через остальные комнаты и по лестнице вплоть до выхода среди громких рукоплесканий.

Так кончился этот прощальный праздник. Память о нем сохранится между студентами. Несмотря на грустный повод торжества, в нем была и утешительная сторона. Он доказал, какая живая связь может образоваться между профессорами и студентами, когда их сближает общее уважение к нравственным интересам.

Остается пожелать, чтобы поводов к подобным пиршествам было поменьше.Пробел, оставляемый в университете удалением такого профессора и без того велик!

Уже после обеда Борис Николаевич получил от профессора Захарьина привет следующего содержания:

„Лишенный возможности, за нетерпевшими отлагательства делами, принять участие в прощальном обеде, который был предложен Вам, спешу обратиться к Вам с выражением моего глубокого сожаления о потере нашим университетом такого высокодаровитого, зрелого и так блестяще проходившего свое поприще деятеля, как Вы.

Студент“.

Этот обед был одною из хороших минут моей жизни. Оставляя кафедру, я мог убедиться, что я не прошел по ней даром. Не имея призвания к профессуре, я восполнял этот недостаток добросовестным отношением к делу, любовью к науке и сердечным расположением к молодым людям. Выражение их чувств было мне всего дороже: я видел в нем награду за прошлое и семена будущего. И эта связь не порвалась с моим выходом из университета. Впоследствии, когда мне приходилось встречаться с бывшими слушателями, иногда на самых дальних концах России, я всегда находил в них тот же теплый привет и выражение радости при виде своего старого профессора. Получал я и заочные заявления, из которых одно в особенности тронуло меня до глубины души. Оно было

передано мне занимавшим в то время должность прокурора Окружного суда в Петербурге, Кони, тоже моим бывшим слушателем. Не могу не привести его здесь.

В то время, как я вступил на кафедру, на втором курсе юридического факультета были два брата Крамер, смирные, робкие, недалекие, но добросовестные работники. Они иногда ко мне ходили, брали книги, и я старался их приласкать. Когда Черкасский отправился в Польшу в качестве министра внутренних дел, он просил меня прислать ему несколько кончивших курс студентов. Я сделал вызов, и старший Крамер изъявил готовность ехать. Случилось так, что пришлось отправить его первого. В то время студенты могли разделять свои экзамены между маем и сентябрем, и Крамер один выдержал экзамен в мае. Мне не совсем было приятно начать с посылки весьма небойкого экземпляра нашего студенчества, но я все-таки его отправил. Он прослужил в Варшаве несколько лет и затем перешел в Петербург. В это время брат его сошел с ума, и он остался один, угрюмый, одинокий, тяготясь жизнью. Наконец, он покончил самоубийством. На столе его нашли бумагу, писанную им перед самою смертью; она была передана прокуратуре. В ней прочли следующее: „И вот через несколько минут меня не станет, и нет человека на земле, которому бы мне хотелось протянуть руку на прощание. Нет, есть один,— мой бывший профессор Б. Н. Чичерин. Прошу того, кто прочтет эти строки, передать ему мой сердечный привет и сказать ему, что я вспомнил о нем перед смертью и его благодарю“. Такие заявления вознаграждают за многое.

Вскоре после обеда я уехал в Париж навестить брата Василия и вернулся в апреле. Проезжая через Петербург, я нашел там Соловьева, и от него узнал подробности газетной полемики, которая возгорелась в моем отсутствии. Первый поднял вопрос в печати Погодин. Сей древний муж, представлявший странную смесь ума и нелепости, таланта и безобразного неряшества, высоких стремлений и гнусной скаредности, еще не раз во время истории приглашал нас с Дмитриевым обедать к себе на Девичье Поле, изъявляя нам сочувствие и убеждая не покидать университета. Когда мы ему возражали, что для нас это вопрос чести, он простодушно отвечал, что

честь вовсе не русское начало, и что дорожить ею нечего. Теперь он с некоторым сожалением и укором коснулся нашего дела в своем журнале. Дмитриев отвечал краткой заметкой, указывая на обстоятельства. Тогда „Московские Ведомости“ решились прервать молчание. В них появилась большая статья, в которой самым бессовестным образом история рассказывалась в совершенно превратном виде. Дмитриев отвечал и напечатал наши мнения. „Московские Ведомости“ возразили с прежним бесстыдством. Дмитриев отвечал снова. Но тут, как выразился Соловьев, „черт ногу подставил“. В числе приложенных Дмитриевым документов были два мнения Капустина, поданные им при обсуждении бумаг попечителя, в отпор неслыханным притязаниям, которые предъявлялись Советом. Эти мнения были подписаны и некоторыми другими профессорами. В том числе по ошибке значилась подпись Захарьина. Капустин поставил ее на своей черновой, предполагая, что он подпишет, но потому ли, что не встретил Захарьина, или по какой другой причине, только бумага была внесена в Совет без его подписи. Захарьин, который с одной стороны выказывал нам сочувствие, но с другой стороны находился в дружеских отношениях с редакторами „Московских Ведомостей“, уважая в них патриотов, вдруг заявил печатно, что он этой бумаги не подписывал. Тогда „Московские Ведомости“, обрадовавшись случаю, яростно накинулись на противников, упрекая их в том, что они, для искажения дела, прибегают даже к подлогам. Полемика была перенесена на чисто личную почву и превратилась в брань, в которой Катков был первый мастер. Конечно, здравомыслящему человеку, желающему вникать в вопрос, не трудно было в нем разобраться, но кому было дело до этих пререканий между разъярившимися учеными? Катков и Леонтьев знали очень хорошо, что публику можно уверить в чем угодно, и что в газетной перебранке прав остается всегда тот, кто кричит громче других и менее стесняется совестью и приличием. Они на своем знамени поставили девиз: „нахальство всё превозмогает“. Кто еще верил в пользу гласности, тот мог воочию убедиться, к чему она ведет в мало образованной среде.

В следующем году я опять затронул дело в печати по поводу последовавшего со стороны министерства решения

насчет возбужденных мною вопросов. Как сказано, они были разосланы для обсуждения по всем университетам, и все, кроме Московского, единогласно высказались в нашу пользу. Только Новороссийский признал почему то полезным предварительное представление особых мнений ректору. Согласно с мнением университетов последовало и министерское решение; при русских законах нельзя было давать другого толкования. По существу дела мы были оправданы; за что̀ же нас было осуждать? Я высказал это в заметке, напечатанной в „Русских Ведомостях". Ожидали новой полемики, но на этот раз „Московские Ведомости" сочли более благоразумным отмолчаться. Они понимали очень хорошо, когда неприятный вопрос нужно заглушить криком и когда лучше задушить его молчанием.

Торжество их было повидимому полное. Дмитриев вышел вслед за мною, по истечении второго полугодия. Рачинский подал в отставку еще прежде. Хотя он вовсе не был замешан в истории, но все, что происходило в университете, было до такой степени противно его тонкой и чуткой натуре, что оставаться в нем долее он не мог. Он уехал в деревню, где сперва, как ботаник, занялся цветами, а затем всецело погрузился в народную школу, отдавши ей всю свою душу и проявляя в этой новой деятельности свои чистые, возвышенные, хотя несколько витающие в облаках стремления. Бабст тоже вышел вскоре, дослужив 25 летний срок службы. Он был председателем правления Купеческого банка, и для него профессура стала уже делом сторонним. Капустин сделался директором Ярославского лицея. Из протестующих профессоров в университете остался один Соловьев; но он-то и сделался знаменем, вокруг которого собрались новые вошедшие в Совет элементы. Победа редакции была непродолжительна. Тяжелая ее рука стала, наконец, невыносима, и Совет взбунтовался. При новых выборах, вместо Баршева, ректором был выбран Соловьев. Это означало полный переворот. Леонтьев, которому истекал 25-летний срок, видел, что при законе о двух третях он не пройдет. Вследствие этого редакция стала напирать на министерство, чтобы этот закон был отменен, и послушный министр действительно внес в Государственный совет и провел отмену означенной статьи Устава. Однако, и это

не помогло. Леонтьев был забаллотирован простым большинством. Тогда он явился в Совет и сказал громогласно в заседании: „Вы лизнули моей крови, но я отмщу". Начался самый бесстыдный поход против университетского самоуправления, из за которого редакция так недавно еще ратовала против нас, выставляя волю большинства неприкосновенною святынею, на которую нельзя было посягать. Теперь все мелкие дрязги и сплетни по всем университетам злобно выводились наружу; факты, по обыкновению, извращались самым бесцеремонным образом. Во всем обвинялся либеральный Устав 1863 года, как будто он внес в университеты какие-то новые начала, между тем как он узаконял только самоуправление, которое было введено в них с самого их основания и которое составляет необходимое условие самой их жизни. Редакция требовала отмены всех выборных прав, тогда как в самую темную эпоху николаевского царствования правительство не решалось итти далее назначения ректора. Предполагалось отнять у университетов и право производить экзамены, которое вверялось назначаемым от правительства комиссиям, что опрокидывало все университетские порядки, все сложившиеся на практике обычаи без малейшего толка. Побуждаемое редакциею, министерство учредило странствующую комиссию для исследования состояния университетов. Председателем назначен был „недогадливый армянин" Делянов, как выражался Дмитриев, а главными деятельными лицами были лакеи редакции, Георгиевский и пресмыкающийся профессор физики Любимов. Последний собирал плохие студенческие записки, выбирал из них всякие нелепости, перевранные названия и т. п. и весь этот букет внес в комиссию, в доказательство крайне низкого уровня преподавания в Московском университете. Этот, на сей раз действительный донос сделался известен в копии московским профессорам, товарищам Любимова. Они возмутились учиненною с ними гадостью. Любимову послано было коллективное письмо с заявлением, что с ним прекращают всякие сношения. И что же? Верный девизу редакции, что нахальство все превозможет, следуя, разумеется, ее совету, негодяй напечатал это письмо в „Московских Ведомостях" с своими комментариями. Возгорелась

полемика, результатом которой было то, что главные противники Любимова, Герье и Усов, получили выговор через жандармского полковника, а Соловьев принужден был оставить не только ректорство, но и самый университет. „Тогда были только цветики, а теперь ягодки“, писал он мне в деревню. Таким образом, Катков и Толстой с их клевретами выжили наконец из университета и этого достойного, всеми уважаемого и крайне умеренного человека. Честность и наука были опасным знаменем, от которого надобно было отделаться всеми средствами. Года два спустя, Соловьев согласился читать лекции в качестве стороннего преподавателя, но вся эта история сильно на него подействовала. Его здоровье было сломлено, и он вскоре скончался, не докончив своего обширного труда, который остался вечным памятником в русской историографии.

Толстой не решился, однако, внести в Государственный совет заготовленный им новый устав. Едва ли бы сам государь согласился на такую безобразную ломку. Зато, когда Толстой пал, „Московские Ведомости“ на него обрушились. Но когда с новым царствованием, при изменившихся обстоятельствах уволенный министр снова был поднят на высоту, а Катков получил больше силы, нежели когда-либо, поссорившиеся друзья снюхались опять, и с помощью недогадливого армянина, который возведен был в сан министра народного просвещения, новый университетский устав был проведен во всей своей нелепости. Университеты были обезглавлены и перевернуты вверх дном. В них водворился хаос, в котором сами зачинщики не могли разобраться. Судьба русской молодежи была отдана на жертву властолюбию и жажде мести откинувшего всякий стыд и совесть журналиста.

Что касается до несчастного юридического факультета, главного приготовителя слуг отечеству на всех общественных поприщах, то после нашего выхода он никогда уже не мог подняться. Разрушать очень легко, но созидать в деле просвещения чрезвычайно трудно. У нас в особенности, при скудности умственных сил, убыль пополняется крайне медленно. Пришлось наскоро набирать неподготовленных молодых людей. Самыми видными оказались легкомысленные социал-

демократы, которых правительство получило взамен вытесненных консерваторов. Впоследствии министерство само их удалило самовластным актом. Рядом с ними, за немногими почетными исключениями, водворилась целая масса отъявленных бездарностей. Преподавание низошло до такого уровня, что студент ничего уже не мог вынести из университета, кроме полного хаоса понятий.

Такова грустная повесть нашего высшего образования. Вместо того, чтобы заботливо оберегать рассадники скудной русской науки и лелеять их, как драгоценный цвет, насажденный на неблагоприятную почву, правительство сыпало на них удар за ударом, поддерживая в них пошлость и невежество, вытесняя честных и преданных науке преподавателей, отдавая университеты на жертву низменным интересам и гнусным интригам, попирая ногами самые элементарные требования права и нравственности, вверяя управление народным просвещением лицам, способным возбудить только ненависть и презрение. Многие поколения молодых людей были этим погублены. Вместо света, приносимого свободою, в незрелом русском обществе водворилась кромешная тьма: понизился как умственный, так и нравственный уровень. И долго еще горькие плоды этой политики будут отзываться на всем нашем общественном быте, на всем строе нашей общественной мысли. Русское просвещение не скоро оправится от ран, нанесенных ему грязным союзом наглого журнализма с беззастенчивою властью. Правдивая история назовет имена Каткова, Леонтьева и графа Толстого, как главных зачинщиков и виновников всех этих печальных событий. Но что скажет она о монархах, которые возвышали и поддерживали подобных людей?

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
И
ПРИМЕЧАНИЯ

Абаза Александр Агеевич (1821 — 1895), министр финансов в м-ве Лорис-Меликова в 1880—1881 гг., каковой пост должен был покинуть в связи с изменением политического курса после смерти Александра II; впоследствии член Государственного совета и председатель департамента экономии—215.

Адлерберг Александр Владимирович, граф (1819 — 1889), министр двора и уделов в 1870 — 1882 гг.; пользовался исключительным доверием Александра II—157.

Аксаков Иван Сергеевич (1823 — 1886), известный славянофил, публицист и поэт. Редактировал ряд сборников и журналов („Московский Сборник“, „Русская Беседа“, „Парус“, „День“, „Москва“ „Русь“), которые очень скоро закрывались правительством. Его публицистические статьи (в 7 тт.), стихотворения (в 2 т.) и часть его переписки изданы после его смерти; был женат на фрейлине А. Ф. Тютчевой—22, 23, 44, 79.

Аксакова Анна Федоровна, ур. Тютчева (1829—1889), дочь поэта Ф. И. Тютчева; в 1853—1858 гг. состояла фрейлиной цесаревны, позже императрицы, Марии Александровны с 1858 г.—воспитательница младших детей Александра II; в 1866 г. вышла замуж за И. С. Аксакова и удалилась от двора. Была видной деятельницей в славянофильских кругах. Выдержки из ее мемуаров и дневников напечатаны в „Записях Прошлого“ под заглавием: „При дворе двух императоров“—85.

Александр Александрович (1845—1894), вел. князь, наследник престола после смерти старшего брата Николая Александровича в 1865 г.; с 1881 г.—император Александр III — 135, 136, 154, 155, 197, 212, 223, 224.

Александр II Николаевич (1818—1881), император (с 1855 г.) — 19, 21, 35, 42, 44, 48, 74, 84, 85, 90, 111, 112, 128, 130, 134, 137, 139, 140, 155, 156, 157, 213, 216, 219, 222, 223, 224, 225.

Александр I Павлович (1777 —1825), император (с 1801 г.)—94, 95, 131, 135.

Александра Федоровна (**Луиза-Шарлотта-Вильгельмина**, 1798—1860), императрица, жена Николая I—83.

испытателем Федченко) в революционном движении участия не принимала. Из сыновей А., младший Николай Александрович (ок. 1856—1879), был тоже революционером и дважды был арестован (1876 и 1879 гг.)—60.

Ахматов Алексей Петрович (1818—1870), обер-прокурор Синода с 1860 г. В 1864 г. получил звание генерал-адъютанта и уехал за границу—194.

Бабст Иван Кондратьевич (1824—1881), выдающийся профессор политической экономии сперва в Казанском ун-те (в 1851—1857 гг.), потом в Московском (1857—1874); в 1864—1868 гг.—директор Лазаревского ин-та в Москве; с 1867 г.—директор Московского Купеч. банка. Ему принадлежат исследования: „Государственные мужи древней Греции в эпоху ее распадения“ (1851), „Джон Ло или финансовый кризис Франции в первые годы регентства“ (1852), и ряд статей по экономическим вопросам в журналах, речь: „О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала“ и т. д. В 1862 г. сопровождал наследника Николая Александровича в путешествии по России; после его смерти состоял при будущем Александре III во время подобных же поездок в 1866 и 1869 гг.—55, 61, 76, 79, 80, 86, 87, 161, 168, 201, 229, 243, 247.

Баратынский (правильнее: Боратынский) Михаил Сергеевич, племянник поэта, врач—11.

Баратынский (правильнее: Боратынский) Сергей Абрамович (1806—1866), брат поэта, врач—11.

Барбье (Barbier) Анри-Огюст (1805—1882), французский сатирик; сборник его стихотворений издан в 1831 г. под заглавием „Les Jambes“, из других его стихотворений известны: „Il Pianto“, „Lazare“ и другие—34.

Баршев Сергей Иванович (1808—1882), профессор уголовных и полицейских законов в Московском ун-те (1834—1876); в 1842—1845 гг.—цензор; в 1845—1850 гг.—директор Московского технического уч-ща; в 1849 г. назначен директором Александринского сиротского ин-та; с 1847—1855 гг. был деканом юридического факультета Московского ун-та, в 1863—1870 гг.—ректором; автор первого русского курса уголовного права („Общие начала теории и законодательств о преступлениях и наказаниях“, 1841 г.) и ряда специальных статей—42, 45, 76, 97, 98, 102, 103, 110, 165, 173, 183, 185, 190, 196, 198, 218, 247.

Барятинская Олимпиада Владимировна (рожд. Каблукова), княгиня—125.

Барятинский Александр Иванович, князь (1814—1879), генерал-фельдмаршал, прославился окончательным покорением Кавказа; в звании наместника кавказского (назначен в 1856 г.) способствовал захвату в плен Шамиля и замирению края; в 1862 г. покинул свой пост, вследствие расстроенного здоровья—125.

Барятинский Анатолий Иванович, князь (1820—1881), генерал-адъютант (с 1866 г.); генерал-лейтенант (с 1867)—125.

Барятинский Владимир Анатольевич, князь, поручик Преображенского полка—122, 125.

Басов Василий Александрович (1812—1880), профессор теоретической хирургии и офтальмиатрии Московского ун-та; в 1834—

1843 гг. состоял помощником прозектора и затем прозектором при Московском ун-те и способствовал развитию анатомического кабинета. Один из первых стал применять в преподавании физиологии опыты над животными. Профессором назначен в 1848 г.—184.

Бахметьев Алексей Николаевич (1801—1861), попечитель Московского учебного округа в 1858—1859 гг.—16, 17.

Безобразов Владимир Павлович (1828—1889), академик, специалист по политической экономии и финансовому праву, каковые предметы преподавал в 1868—1878 гг. в Царскосельском лицее; преподавал также сыновьям Александра II и вел. князю Константину Николаевичу; ему принадлежат многочисленные исследования по вопросам государственного хозяйства—218.

Безобразов Николай Александрович (1816—1867), магистр государственных законов, видный дворянский публицист, защитник дворянских преимуществ—66, 152.

Беляев Иван Дмитриевич (1810—1873), историк русского права, профессор истории русского законодательства в Московском ун-те (1852—1873); большой известностью пользуются его исследование „Крестьяне на Руси" и „Рассказы из русской истории" в 4 т.; ему принадлежит ряд монографий по внутреннему строю Московского государства, по русским летописям и т. д. и многочисленные публикации источников. По своему мировоззрению он примыкал к славянофилам—167, 176.

Берви (псевд. Флеровский) Василий Васильевич (род. 1829), известный публицист, сотрудничавший в 1861—1886 гг. в журналах „Отечеств. Записки", „Дело", „Слово", „Знание", „Русск. Мысль", „Русск. Богатство", „Наблюдатель" и др. Отдельно вышли книги: „Свобода речи, терпимость и наши законы о печати" (1869), „Положение рабочего класса в России" (1869) и др.—44.

Берг Федор Федорович, граф (1793—1874), генерал-фельдмаршал (с 1865 г.); в 1863 г. был назначен наместником Царства Польского; член Госуд. совета—103, 108, 113, 116.

Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792—1870), государственный деятель николаевского времени. В 1837—1892 гг.—губернатор Ю.-Зап. края, в бытность каковым ввел систему „инвентарей", подготовившую освобождение крестьян; в 1852 г.—м-р внутр. дел; уволен от этой должности в 1855 г.—194.

Бирилев Николай Алексеевич (1829—1882), вице-адмирал—158.

Блудов Дмитрий Николаевич, граф (1785—1864), известный государственный деятель николаевского времени; в 1830 г. управлял м-вом внутр. дел; в 1837—1859 гг.—м-вом юстиции, в конце 1839 г. назначен главноуправляющим II отд. „собствен. е. и. в. канцелярии", членом Гос. совета и председателем департамента законов; с 1840 г. присутствовал в департаменте дел Царства Польского; в 1842 г. возведен в графское достоинство; в 1855 г. назначен президентом Академии Наук и в 1862 г.—председателем Госуд. совета—54.

Боголюбов Алексей Петрович (1824—1896), художник-маринист—87.

Богословский Михаил Измайлович (1807—1884), доктор богословия, протопресвитер Московского Успенского собора, член мос-

сравнительной анатомии и физиологии в Московском ун-те—16.

Васильчиков Александр Алексеевич (1832—1890), тайный советник, директор Эрмитажа (1879—1888)—195.

Велёпольский Александр (Wielopolski), маркиз (1803—1877), известный польский государственный деятель; в 1861 г. был назначен членом образованного по его инициативе Совета управления в Царстве Польском; сторонник умеренных реформ, он в качестве м-ра юстиции стал подавлять революционные выступления; однако, очень скоро поссорился с русской администрацией; вызванный в Петербург, он не без успеха влиял на ход дел в пользу своей родины; при назначении вел. князя Константина Николаевича он был сделан начальником гражданской части в Царстве, вице-председателем Госуд. совета и заместителем наместника в его отсутствие. Примирительная политика В. не увенчалась, однако, успехом и не предотвратила революции 1863 г.; когда она вспыхнула, он подал в отставку и уехал за границу—91.

Веневитинов Алексей Владимирович (1846—1885), сенатор, был товарищем министра уделов—135.

Веневитинова (рожд. гр. Виельгорская) Апполинария Михайловна (ум. 1853), жена А. В. Веневитинова—135.

Виельгорский Матвей Юрьевич, граф (1794—1866), виолончелист и меценат—135, 140.

Виельгорский Михаил Юрьевич, граф (1788—1856), известный меценат, любитель музыки и диллетант-композитор—135.

Вильгельм I (Фридрих-Людвиг), (1797—1888), король прусский; с 1857 г. был сперва заместителем своего больного брата, короля Фридриха-Вильгельма IV, с 1858 г.—регентом, в 1861 г. по смерти брата вступил на прусский престол; в 1871 г. провозглашен императором германским—141.

Вильгельм III (Александр-Павел-Фридрих-Людвиг, 1817—1891), король Нидерландский (с 1849 г.)—138.

Вильгельм (Николай-Александр-Фридрих-Карл-Генрих, род. 1840 г.), принц Оранский, сын Вильгельма III и королевы Софии, умер при жизни отца—138.

Вильгельм Оранский „Молчаливый“ (ум. 1584 г.), штатгальтер Нидерландский, прославившийся борьбою за независимость своей родины против испанского владычества—134.

Виктор-Эммануил II (1820—1878), король Сардинский, потом (с 1840 г.) энергично работал к созданию под своей властью единого Итальянского государства, с успехом для этих целей использовав народное движение против австрийцев и папы; в 1861 г. после присоединения южной Италии, принял титул короля Италии; в 1871 г. перенес свою столицу в Рим—146.

Всеволожский Иван Александрович (1835—1909), обер-гофмейстер, почетный член Академии Художеств (с 1869 г.), директор „императорских театров“ (1881—1900 г.), директор Эрмитажа (1900—1909); был хорошим рисовальщиком; по его рисункам поставлено несколько балетов—132.

Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878), поэт, друг Пушкина—101, 158, 220.

Гагарин Павел Павлович, князь (1789—1872), член Госуд. совета, председатель деп-та законов, заместитель председателя Госуд. совета и Гл. комитета об устройстве сельских со

преподавать правоведение наследнику Николаю Александровичу, сыну Александра II, но вскоре был устранен. К. особенно известен в науке своими работами по русской истории; он дал один из первых опытов стройной философской схемы русской истории и является вместе с С. М. Соловьевым основателем так наз. „юридической школы“ в русской историографии. По своим общественно-политическим взглядам, он был либералом и примыкал к „западникам“. В качестве даровитого публициста он принимал деятельное участие в разработке в печати вопросов, связанных с освобождением крестьян. Сочинения К. изданы в 1859 г. в 4 т.т. и переизданы в начале XX в. под ред. проф. Корсакова—20, 47, 52, 59, 60, 64, 65.

Кавур (de Cavour) Камилло Бензо, граф (1810—1861), знаменитый итальянский государственный деятель, много способствовавший объединению Италии вокруг Сардинского королевства—154.

Калачов Николай Васильевич (1819—1855), известный историк права и археограф; в 1848—1852 гг.— профессор истории русского законодательства Московского ун-та; в 1865 г. назначен управляющим Московским архивом м-ва Юстиции, в каковой должности высоко поставил научную работу архива; с 1877 г.—директор основанного по его инициативе Археологического ин-та. Ему принадлежат до сих пор не утратившие значение работы по анализу древних памятников, из которых особенное значение имеет его знаменитое исследование „О Русской Правде“, многочисленные публикации актов („Акты, относящиеся до юридического быта древней России“ в 3 тт., „Доклады и приговоры Сената за 1711 и 1712 гг.“ в 2 тт., „Архив госуд. Совета“ в 3 тт., „Писцовые книги“ в 2 тт. и др.)—223.

Калиновский Яков Николаевич (1814—1903), профессор сельского хозяйства Московского ун-та (в 1853—1871 гг.)—101, 102, 104, 106.

Кант (Kant) Иммануэль (1724—1804), знаменитый немецкий философ—88.

ван-Капеллен И.-Г., адъютант Нидерландского короля, капитан фрегата—132.

Капнист Алексей Васильевич, граф (1796—1869), был женат на Ульяне Дмитриевне Белухе-Кохановской; у него были сыновья: Дмитрий Ал-еевич (род. 1837 г.), служивший директором азиатского департамента м-ва ин. дел; Василий Ал-еевич (род. 1838 г.); Петр Ал-еевич (род. 1839 г.)—посланник в Гааге, позднее—сенатор; Павел Ал-еевич (род. 1842 г.) — попечитель Моск. учебн. округа; дочь Александра Ал-еевна (род. 1845 г.)—152.

Капустин Михаил Николаевич (1828—1899), известный юрист, профессор международного права Московского ун-та (с 1850 г.); с 1870 г.— директор Демидовского лицея в Ярославле; в 1883 г. назначен попечителем Дерптского учебн. округа, а в 1891 г.—Петербургского. Автор ряда статей по международному праву и его истории—79, 80, 168, 196, 198, 201, 229, 230, 243, 246, 247.

Каракозов Дмитрий Владимирович (1842—1866 г.)—192.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), литератор, журналист и „историограф“—135.

Карл (Фридрих-Александр) (1823—1891), король Вюртембергский (с 1864 г.); был женат на дочери Николая I, вел. кн. Ольге Николаевне—140, 141.

Корш Евгений Федорович (1810—1897), журналист, брат предыдущего; служил библиотекарем в Румянцевском Музее; в 1858 - 1859 гг. издавал под своей редакцией „Атеней“; известен своими переводами Фюстель-дю-Куланжа, Кутлера, Карръера и др.—118.

Корш Федор Евгеньевич, (1843—1915), известный филолог, профессор римской словесности в Московском ун-те (с 1883 г.) и в Новороссийском (с 1890 г.); славился своей эрудицией по истории европейских литератур и по языковедению—230.

Костомаров Николай Иванович (1817—1885), известный историк-украинофил; с 1859 г. профессор русской истории Петербургского ун-та. После закрытия ун-та в 1861 г. был одним из инициаторов публичных лекций в Городской думе; 8 марта 1862 г. имел место скандал на его лекции, о котором говорится в тексте, вызванный тем, что К. отказался подписать постановление Комитета думских лекций о прекращении чтений в виде протеста против административной высылки одного из лекторов, проф. Павлова; в 1862 г. он покинул Петербургский ун-т и с тех пор в качестве политически неблагонадежного не допускался к преподаванию в высших учебных заведених, хотя его неоднократно приглашали в Киевский ун-т (в 1863 и 1869 г.г.) и в Харьковский (в 1864 г.). В русской историографии К. известен своей федеративной теорией происхождения древней Руси. Его многочисленные монографии и характеристики главнейших деятелей русской истории сейчас устарели, однако, отдельные из них (напр., „Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII вв.“) до сих пор незаменимы как справочники—52—54, 56.

Кошелев Александр Иванович (1806—1883), известный публицист и общественный деятель, близкий к славянофильству. В качестве члена Губернск. Рязанского комитета по освобождению крестьян принимал деятельное участие в подготовке реформы, выступал горячим сторонником освобождения с землею; в 1859 г. был в числе депутатов, вызванных в Петербург; в 1859—1860 гг. был членом Комиссии для устройства земских банков; в 1861—1863 гг. на него было возложено управление финансами Царства Польского; позднее принимал деятельное участие в земских учреждениях, в Московском о-ве сельского хозяйства (в качестве президента), в Московской городской думе и в О-ве любит. росс. словесности (одно время был председателем); в 1871—1872 гг. издавал журнал „Беседа“, а в 1880—1882 гг.—„Земство“; напечатал много публицистических брошюр, некоторые из которых по цензурным условиям вышли в Берлине—195.

Крамер, братья, слушатели Б. Н. Чичерина по Московскому ун-ту—145.

Красовский Иван Иванович, инспектор студентов Московского ун-та—139, 143.

Кремер Оскар Карлович, флигель-адъютант, капитан 1 ранга—158.

Крылов Никита Иванович (1807—1879), выдающийся профессор римского права Московского ун-та (1835 - 1872). Печатных работ он не оставил, но, как лектор, обладая редкой способностью будить мысль и толкать ее к научной работе, имел исключительное влияние на аудиторию—103, 107.

Кудрявцев Виктор Дмитриевич (1828—1892), профессор истории философии Московской духовной академии; преподавал логику и историю

Орнатский Сергей Николаевич (1806—1884), юрист, профессорствовал в Киеве и в Харькове; в 1848 г. занял кафедру энциклопедии права в Московском ун-те—16.

Павлов Ипполит Николаевич (ум. 1882 г.), журналист, издатель журнала „Кругозор“ (1880 г.); преподавал русский язык в московских учебных заведениях; ему принадлежит перевод „Фауста“ (1875 г.) и ряд работ по литературе и преподаванию языков; вместе с Стоюниным издал в 1873 г. „Русскую хрестоматию для переводов на франц. и нем. языки“ (1873)—120.

Павлов Николай Филиппович (1805—1864), талантливый писатель, автор стихотворений и беллетристических повестей (особенный успех имели „Три повести“, вышедшие в 1835 г., резко направленные против темных сторон Николаевского времени); переводчик Шекспира (в 1838 г. напечатал „Венецианского купца“) и критик; напечатанные им в 1847 г. „Четыре письма к Н. В. Гоголю“ произвели в свое время сильное впечатление; в 1851—1858 гг. был в ссылке за найденные у него „вольнодумные бумаги; в 1860 г. издавал „Наше время“, с 1863 г. переименованное в „Русские Ведомости“—68, 69, 118, 119, 120, 121.

Панин Виктор Никитич (1801—1874), министр юстиции в 1859—1862 гг., член Госуд. совета; председательствовал в редакционных комиссиях при Главном комитете по крестьянскому делу; затем состоял членом Комитета об устройстве сельского состояния и членом чиншевого комитета; при проведении крестьянской реформы держал сторону противников ее—63, 113.

Паткуль Александр Владимирович (1817 — 1877), генерал-адъютант, одно время был петербургским обер-полицеймейстером—46.

Педро V (1837—1861), король португальский (с 1853)—138.

Перуджино (Perugino) Петро (1446—1524), знаменитый итальянский живописец; его лучшие картины „Снятие со креста“ (в галлерее Питти во Флоренции), „Богоматерь на троне“ (в Ватиканском музее), „Воскресение Христово“ (там же), „Мадонна во славе“ (в Болонье), „Вознесение“ (в Лионе) и др.; им расписаны стены Сикстинской капеллы в Риме, Меняльная палата во Флоренции, церковь С.-Мариа-Маддалена-деи-Паццэ (там же, фреска „Распятие“) и т. д.—151.

Петр I Алексеевич (1672—1725), император, вступил на престол в 1682 г.—93.

Пеховский Осип Иванович (род. 1815), профессор греческой словесности Московского ун-та (1854—1869); с 1871 г. назначен ординарным профессором Харьковского ун-та—104, 106.

Пирогов Николай Иванович (1810—1881), знаменитый русский хирург, известен также как передовой педагог; как таковой, в начале царствования Александра II был назначен попечителем Одесского, затем Киевского учебного округа—35, 40, 155.

Платонов Александр Платонович, царскосельский предводитель дворянства (в 60-х и 70-х годах)—89.

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907), известный государственный деятель; с 1868 г.—сенатор; с 1872 г.—член Государствен. совета; в 1880—1905 гг. прокурор Синода; после смерти Александра II негласно руководил первыми шагами мо-

лодого императора и способствовал повороту политики в сторону реакции; инициатор церковно-приходских школ; его труды по юридическим вопросам и по истории права не утратили значения („Московский сборник“, Курс и др.)—82, 86, 87, 161, 216, 220.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875), профессор русской истории Московского ун-та (1826—1844), член Академии Наук (с 1841 г.), секретарь О-ва Истории и древн. российских; его лекции и отдельные статьи по русской истории изданы в 7 тт.; диссертация его о происхождении Руси имела в момент ее появления в 1824 г. большое научное значение; наряду с научной деятельностью выступал в качестве журналиста; им издавались журналы „Московский Вестник“ (1827—1830) и „Москвитянин“ (1841—1856)—218, 245.

Покровский, студент медицинск. факультета Московского ун-та—42.

Полунин Алексей Иванович (род. 1820), профессор патологической анатомии и физиологии Московского ун-та (с 1849 г.)—105.

Понятовский, студент медицинского факультета Московского ун-та—42.

Попов Нил Александрович (1833—1891), профессор русской истории Московского ун-та (с 1860 г.); из его трудов наиболее известны: „Татищев и его время“ (1861) и „Россия и Сербия“ (1869); выдвинулся, как публицист; по взглядам был близок к славянофилам—230, 233.

Поттер Павел (1625—1654), знаменитый голландский живописец, изображавший преимущественно животных; семь его картин имеется в Эрмитаже (особенно выдаются „Ферма“, „Пейзаж“ и „Сцены охоты“)—133.

Протасова, графиня,—вероятно, Наталья Дмитриевна, рожд. Голицына (1805—1880), вдова обер-прокурора Николая Александровича Протасова (1788—1855), статс-дама и гофмейстерина, великосветский салон которой пользовался известностью в 60-х годах в Петербурге—218.

Путятин Евфимий Васильевич (1803—1883), адмирал, генерал-адъютант; участвовал в 1827 г. в Наваринском сражении, и в 1838—39 гг. в морских действиях у кавказских берегов (занятие Туапсе); выдвинулся в качестве дипломата (им заключен в 1855 г. договор с Японией в Симоде и в 1858 г.—трактат с Китаем в Тяньцзане); в 1858—1861 гг. состоял военно-морским агентом при посольстве в Лондоне; в 1861 г. назначен м-ром народного просвещения, каковую должность занимал всего пять месяцев, после чего получил назначение в Государственный совет—16, 19, 35, 40, 47, 48, 51, 53, 55, 60, 63.

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837)—93.

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904), известный историк русской литературы и общественности в 1860—61 г. состоял профессором Петербургского ун-та, но затем вышел в отставку вместе с Кавелиным, Спасовичем, Стасюлевичем и Утиным, в виде протеста против порядков, установившихся в ун-те после беспорядков в 1861 г.; в 1871 г. избран в академики, но не утвержден министром; в состав Академии Наук попал только в 1897 г. Из его многочисленных трудов особенно важны: „История русской литературы“ (в 4 тт.), „История русской этнографии“ (в 4 тт.), „Обзор истории славянских литератур“ (совместно с Спасовичем), „Общественное движение в России при Александре I“, „Характеристика литературных мнений

Салиас де-Турнемир Евгений Андреевич, граф (1840—1908) сын писательницы; писал исторические романы (наиболее известен роман „Пугачевцы", вышедший в 1874 г.); в 1881—82 г. издавал журнал „Полярная Звезда"; в 60-х годах жил за границей и принимал участие в политическом движении среди эмиграции—42, 127.

Самарин Петр Федорович (1830—1901), брат известного славянофила—230, 231, 232.

Самарин Юрий Федорович (1819—1876), известный славянофил и деятель по освобождению крестьян—89, 111, 152, 163, 230.

Сатин Николай Михайлович (1814—1873), поэт-переводчик, из дворян Тамбовской губ., принадлежавший к либеральным литераторским кругам, друг Огарева—60, 119.

Севастьянов Петр Иванович (1811—1867), археолог; в своих путешествиях по Зап. Европе и Востоку собрал большую коллекцию христианских древностей; в 1859 г. под его руководством снаряжена экспедиция на Афон, откуда он вывез несколько тысяч рукописей; он положил начало собранию христианских древностей в б. Румянцевском музее в Москве и при Академии Наук в Петербурге. Ему принадлежит много печатных трудов—84, 85.

Сергеевич Василий Иванович, (1832—1910) выдающийся историк русского права; профессор истории русского права в Петербургском ун-те (с 1872 г.), в 1897—1899 гг. состоял ректором его; из его работ особенно крупное значение имеют „Юридические древности", вышедшие в 1891—1896 гг. (2-е изд. в 1902—1903 г.)—230.

Сиверс Лев Егорович, граф, первый секретарь русского посольства в Гааге, позже генеральный консул в Амстердаме—131, 132.

Сиверс Яков-Иоанн (1731—1808), государственный деятель Екатерининского времени; в 1789 г. был назначен послом в Польшу и много содействовал второму разделу Польши; он вместе с прусским послом Бухгольцем, председательствовал на Гродненском сейме—94.

Скарятин, либо Александр Яковлевич, гофмейстер (с 1869 г.), либо его брат Владимир Яковлевич, гофмаршал наследника Александра Александровича (будущего имп. Александра III)—158.

Скворцов Николай Семенович (ум. 1882 г.), редактор-издатель газеты „Русские Ведомости"—120, 121.

Склопис де-Салерано (Sclopis de Salerano) Федерико, граф (1798—1878), итальянский государственный деятель и ученый; в 1848 г. занимал пост министра юстиции и духовных дел сардинского короля Гумберта в 1849 г.—вступил в сенат, впоследствии был президентом Сената (до 1864 г.). Ему принадлежит несколько трудов по юридическим вопросам и по истории—146.

Слудский Федор Алексеевич (1841—1897), профессор теоретической механики Московского ун-та преподавать начал в 1861 г. и преподавал почти до смерти; в 1892—93 г. был деканом физико-математического ф-тета; с 1890 г. был председателем Московского О-ва испытателей природы—230.

Смирнов Николай Михайлович (1807—1870), губернатор калужский (1845—1851) и петербургский (1855—1861), позже сенатор; был женат на известной Александре Осиповне Россети—89.

ния; основал в 1865 г. журнал „Вестник Европы"; принимал деятельное участие (с 1881 г.) в работах Петербургской городской думы и в этом звании много сделал для народного образования в Петербурге — 20, 47, 52, 86.

Строганов Александр Сергеевич (1818—1864), флигель-адъютант; нумизмат, один из основателей Петербургского археологического о-ва истории и древностей российских— 134, 215.

Строганов Сергей Григорьевич, граф (1794—1882), генерал-от-кавалерии, генерал-адъютант, член Госуд. совета; с 1835—1847 г. был попечителем Московского учебного округа и в качестве такового состоял председателем О-ва истории и древностей российских; конфликт с министром народного просвещения С. С. Уваровым из-за „Чтений", издаваемых этим Об-вом, повлек его отставку; в 1854—1855 гг. участвовал в Севастопольской кампании; в 1859—1860 гг. был московским военным губернатором; в 1863—1865 гг. — председателем комитета железных дорог; до смерти наследника Николая Александровича состоял попечителем его и его братьев Александра, Владимира и Алексея. В качестве попечителя Моск. уч. округа много способствовал успехам просвещения, содействовал печатанию книг по русской истории и истории русского искусства; сам является автором прекрасного исследования „Дмитриевский собор во Владимире на Клязьме" (1849); основал в 1859 г. археологическую комиссию, председателем которой был до конца жизни, и положил начало раскопкам на побережье Черного моря; составил замечательную нумизматическую коллекцию; им создано на его собственные средства т. н. Строгановское училище (ныне Вхутеин). Был женат на Наталье Павловне Строгановой — 19, 63, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 92, 121, 125, 126, 129, 133, 134, 137, 140, 142, 143, 145, 153, 156, 157, 158, 159, 162, 193, 214, 221, 239.

Стюрлер Александр Николаевич (1825—1901), флигель-адъютант (с 1854 г.); с 1865 г. состоял шталмейстером наследника Александра Александровича; позже (1874 г.) генерал-лейтенант при нем же—158.

Тарновский Василий Васильевич (1810 — 1866), помещик Черниговской губ., член от правительства в Черниговском по улучшению быта крестьян комитете; затем член-эксперт редакционных комиссий; деятельный представитель либерального дворянства; позднее работал в земстве—152.

Тереза, старуха итальянка, сиделка при больном Б. Н. Чичерине—147.

Титов Владимир Павлович (1807—1890), дипломат; с 1843 г. русский посланник в Константинополе, потом в Штутгарте; состоял воспитателем при сыновьях Александра II—Николае и Александре; член Государствен. совета—35, 40, 83, 86, 158, 160, 161.

Токвиль (de Tocqueville) Алексис-Шарль-Анри-Клерель (1805—1859), знаменитый французский историк, создавший себе имя замечательным исследованием о французской революции: „L'ancien régime et la révolution" (1856); из других его книг пользуются известностью „Démocratie en Amerique" (1832); полное собрание его сочинений вышло в 9 част. в 1860—1865 гг.—37, 154.

Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823—1889), обер-проку-

Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов, 1783—1867), митрополит московский—119.

Филипсон Григорий Иванович (1809—1883), генерал-от-инфантерии; сенатор, известный деятель по покорению Кавказа; в 1861 г. был назначен попечителем Петербургского учебного округа, но в следующем году подал в отставку из-за студенческих беспорядков—19, 63.

Фишер фон Вальдгейм Александр Григорьевич (1803—1884), ботаник, профессор зоологии Московского ун-та (с 1832 г.); преподавал также в московском отделении Медико-хирургической Академии (с 1830 г.) и заведывал естественно-историческим музеем ун-та (с 1834 г.); с 1853 г.—вице-президент, позже президент О-ва испытателей природы; известен усовершенствованием микроскопа (изобрел панкратический микроскоп)—109.

Фишер, продавец гравюр в Гааге—133.

Франчиа ди Кристофано-Биджо (1482—1525), флорентийский живописец; во Флоренции ему принадлежат фрески „Благовещение" в церкви Санта-Аннунциата-деи-Серви, „Тайная Вечеря" в церкви Сан-Джиованни-дель-Кальца и др.—151.

Фридрих-Вильгельм I (1688—1749), прусский король (с 1713 г.); участвовал в Великой Северной войне в союзе с Петром I; в результате успешных военных действий приобрел часть Померании и о-ва Узедом и Воллин (по мирному договору 1720 г.)—93.

Фукс Виктор Яковлевич (1829—1891), писатель; в 60-х годах чиновник особых поручений при м-ре внутренних дел, член комиссии по пересмотру устава о книгопечатании, член главного управления по делам печати; участвовал в разработке цензурного устава; в 1871 г. — председатель Варшавского цензурного комитета—74.

Хлебников Николай Иванович (1840—1880), историк и юрист; занимал в Варшавском ун-те кафедру государств. права; затем в Киевском ун-те преподавал философию и энциклопедию права. Ему принадлежат следующие сочинения: „О влиянии общества на организацию государства в царский период русской истории" (СПБ. 1869), „Общество и государство в до-монгольский период русской истории" (СПБ. 1872), „Право и государство в их обоюдных отношениях" (Варшава, 1875) и „Исследования и характеристики" (в „Киевск. университ. известиях", 1878; отд. 1879)—45.

Хомяков Алексей Степанович (1804—1850), известный славянофил—52.

Христиан IX (род. 1818 г.), король датский (с 1853 г.)—139, 143.

Хрущов Дмитрий Петрович (1816—1864), товарищ министра государственных имуществ (в 1856 г.); деятельный член комиссии по устройству быта казенных крестьян; в 1860—1862 гг. издал в Берлине „Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в России". Смена на министерском посту Киселева М. Н. Муравьевым, с которым он не сходился во взглядах, заставила его уйти из м-ва; в конце жизни был сенатором. Его сын Константин Дмитриевич (род. 1852 г.), известный ученый, доктор медицины Вюртцбургского университета (1872), доктор геологии и геогнозии Харьковского университета (1894), профессор

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

К главе „Вступление на кафедру“.

Во время печатания настоящей книги вышли в „Трудах Публичной библиотеки им. Ленина“—„Письма Толстого и к Толстому“, среди которых опубликована переписка Б. Н. Чичерина с Л. Н. Толстым, относящаяся к концу 1861 г. и служащая ценным дополнением к „Воспоминаниям“. Переписка снабжена детальными комментариями, принадлежащими Н. М. Мендельсону

К стр. 43.

Вступительную лекцию Б. Н. Чичерина, произнесенную 25 октября 1861 г. см. в собрании статей Б. Н. Чичерина: „Несколько современных вопросов“, изд. Солдатенкова М. 1862. (Первоначально была напечатана в № 238 „Московских Ведомостей“ за 1861 г.). Она заслужила благоприятный отзыв Л. Н. Толстого („Письма Толстого и к Толстому“, стр. 293 и 25). Ответ на критику на его речь Ч. напечатал в „Моск. Вед.“ 1861 № 278.

К стр. 52.

Статьи Б. Н. Чичерина, под заглавием: „Что нужно для русских университетов?“ появившиеся в „Московских Ведомостях“ и „Нашем Времени“—см. в названном выше издании Солдатенкова. Отзыв о них Л. Н Толстого—см. в „Письмах“, стр. 25 – 26. Статьи эти явились ответом на стат Костомарова в „Петербургских Ведомостях“ за 1861 г. (№№ 237 и 268).

К стр. 69—71.

Статьи Б. Н. Чечерина: „Русское дворянство“, „Что такое среднее сословие?“, „Что такое охранительные начала?“, „Разные виды либерализма“, напечатаны в „Нашем Времени“ и перепечатаны в издании Солдатенкова.

К главе „Занятия и путешествие с наследником“.

Рассказ Б. Н. Чичерина о путешествии с наследником любопытно сравнить с рассказом В. П. Мещерского („Мои Воспоминания“, СПБ. 1897, ч. I, гл. XXXIII и XXXVI). Описание смерти наследника, принадлежащее А. Ф. Тютчевой—см. „Рус. Архив“, 1905, № 6.

К стр. 139.

Барон Ник. Павл. Николаи был женат на бар. Софии Егоровне Мейендорф.

К стр. 163—165.

Книга Б. Н. Чичерина «О народном представительстве вышла в 1866 г.; вторым изданием напечатана в 1899 г. („Библиот. Самообразования, т. XIX).